



НЕВА 9

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Валерий ДУДАРЕВ
Стихи • 3

Игорь ШУМЕЙКО
Вещество Веры. *Федеральный роман (журнальный вариант)* • 9

Николай ГОДИНА
Стихи • 125

Юрий КОНЬКОВ
Стихи • 128

ПУБЛИЦИСТИКА

Вячеслав РЫБАКОВ
Утопия и управленцы • 132

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Владислав БАЧИНИН
Tolstoyevsky-trip.
Опыты сравнительной теологии литературы.
Опыт девятый. Настасья Филипповна и
Анна Аркадьевна, или Теология зла • 169

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Правда художественная и историческая. Елена Айзенштейн. «Дорогой подарок царь-Давида...» *Псаломщик Давид в русской поэзии XIX–XX веков.* **Путь к читателю.** Константин Фрумкин. Победа писателей над всемогущим противником. *Божественное всемогущество как проблема литературного сюжета.*

Pro et contra. Ирина Чайковская. Ищу человека. *Заметки постоянного зрителя канала «Культура».* **Забывтая книга.** Лев Войтоловский. Трагедия Глеба Успенского. *Подготовка публикации Маргариты Райциной.* **Пилигрим.** Архимандрит Августин (Никитин). Голландия — страна тюльпанов. **Дом Зингера.** Публикация Елены Зиновьевой • 180–254

Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации
Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена
Электронную распечатку рукописей присылать
на погтовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9)
Рукописи не возвращаются и не рецензируются

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Наталья ЛАМОНТ
(ответственный секретарь,
коммерческий директор)

Александр МЕЛИХОВ
(зам. главного редактора)

Маргарита РАЙЦИНА
(контент-редактор)

Ольга МАЛЫШКИНА
(шеф-редактор молодежных проектов)

Игорь СУХИХ
(шеф-редактор гуманитарных проектов)

Елена ЗИНОВЬЕВА
(редактор-библиограф)

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **М. Райциной, Л. Жуковой**

Валерий ДУДАРЕВ

ВОЗЛЕ ЦЕРКВИ

Памяти Андрея Вознесенского

Не обновить холста!
 Не повторить эскиза!..
Пробилась через век скрижалей пустота.
Спасает лишь одно:
 в России Мона Лиза
Тебя подстережет у всякого куста.
Ни заговор-травой,
 ни музыкой вселенской
Уже не исцелит погибшая верста,
Где тишина жива
 ночной и вознесенской
Загадкой бытия
 Голгофского Креста.
Как колокол упрям —
 стремительно и голо —
Чей голос дозвучать стремится до креста,
Где первая звезда,
 где Лермонтов и Гойя,
А утром
 до дождя
 покой и высота.

ТИФЛИС ВЕЧЕРОМ

Натюрморт

Смеркается?
 Или
В тених кипариса

Валерий Федорович Дударев родился в Москве. Работал сторожем, дворником, каменщиком, бетонщиком, столяром, архивистом, редактором, служил в армии, преподавал в школе и университете, валил лес в Якутии, скитался по стране от Москвы до Магадана. Окончил филологический факультет МПГУ (бывший им. Ленина). Публиковался в журналах «Волга», «Литературная учеба», «Нева», «Наш современник», «Юность», «East-West Review» (Великобритания), «Знаци» (Болгария), «Литературная газета», «Независимая газета», «Литературная Россия», альманахи «День поэзии», «Истоки», «Roesia» (Польша). Стихи переводились на английский, болгарский, польский языки. Валерий Дударев — автор книг стихотворений «На склоне двадцатого века» (1994), «Где растут забытые цветы» (1997), «Ветла» (2001), «Глаголица» (2004). Лауреат литературных премий им. Александра Невского, Сергея Есенина, Бориса Корнилова и др.

Блаженство дарили
Наяды Тифлиса.
Застольные дали —
Вершина свершений.
Виват, Цинандали!
Виват, Ахашени!
Вкус обрыва крутой
В неизбежности рога.
В наготе над Курой
Смята первая роза.

А выше, где бани
За грешной оливой,
Сам Пушкин в тумане —
Хмельной и счастливый!
Улыбка поэта —
 печальная милость —
Забылась,
 запелась —
 и даже приснилась.

Забытое солнце стекает по крыше —
И кажется, ночь зеленее и выше...

* * *

Тобольская бабушка Анна
Квартплату внести не смогла.
В три дня на лекарства нежданно
Горячка рубли извела.
А к ночи надвинулись пени,
И голод,
 и холод,
 и мрак!
Неможется людям без денег
Ни сидя, ни лежа —
 никак!

Все чудится:
 РЭУ погубит!
Но чудо, всем РЭУ назло,
Сухие тобольские губы
Позвали.
 И чудо пришло!
Тобольская бабушка Анна,
Как будто сто лет впереди,
Вдохнула легко, филигранно
И руки свела на груди.
В эпоху резни и упадка
Под лекаря горькую речь

Так тихо,
 так мирно,
 так сладко
Ей выпало вдруг умереть.

К ИИСУСУ

Не прекращай!
 Пусть весело живется
В коротком сумраке
 речного пустыря,
Где дела нет камням,
 как гордо и животно
Взлетает над землей последняя заря!
Ни в маленьких садах,
 ни в речке,
 ни в просторе
Нет колыханья уст,
 нет наблюденья глаз.
Смоковнице нашлось решение простое —
Найдется и для нас сегодня же.
 Сейчас!
Дай время ощутить
 бескрайне и полетно,
Как люди на земле ни разу не смогли!
Но люди ткут холсты.
 Целебные полотна
Омоют города истерзанной земли.
Не равен часу час!
 Неровен воздух ночи!
Где луны сохранят сиянье алтарей,
Покатится валун
 и словно напроорочит
Далекие огни
 великих галерей!
Вот только бы успеть
 в безжалостном потоке
Сквозь ранний камнепад,
 сквозь первое «прости»
Случайно углядеть
 за дымкой
 на востоке
Последний ренессанс
 с Мантенья на груди!

ИЗ ПИСЕМ НЕРИМСКОМУ ДРУГУ

Росказней геройских. между прочим,
Не найдет потомок обо мне.
Коротать безжалостные ночи

Не пришлось в Афгане ли, в Чечне.
Поделюсь безжалостно и сухо:
Жил да был, ничем не рисковал;
Плел стишки и пороху не нюхал;
Не разил пехоту наповал;
Не бомбил селения украдкой.
Счастлив тем, что в этой жизни

краткой

Никого, браток, не убивал!
Сиротой Ахмедку не оставил;
Не оставил беженку вдовой.
Одногодка мой во вражьем стане
Воротился к матери — живой!
Вдруг когда его огнем скосило
И стервятник прыгал на песке —
Вдруг как раз той пули не хватило,
Что в моем покоилась рожке?
Может быть, я в том и виноватый,
Что совсем нигде не воевал,
Что свою смертельную гранату
Я в чужой колодец не бросал,
Что в полях и в звездах над рекою
Мне иные чудились пути!
Что ж...
За счастье мирное такое
Ты, браток, прости меня!

Прости...

ГУННЫ

Если творенья не пахнут степью —
Выброси их в окно!
Новые гунны родятся с целью
Выбросить все равно!
Если в рожденье твоём виноваты
Ливень,
 попынь,
 репье —
Скоро тебя подберут сарматы,
Они же дадут копье!
Ухо — к земле!
 И поверишь силе
Из-за Уральских гор!
Слышно в пургу:
 жеребца Аттиле
Вывели на простор!
Русич!
 О вещем забудь Олеге
И раздави змею!

Счастье найдешь в кочевом ночлеге!
Гибель найдешь в бою!
Зарос,
 зачах
 неба склон —
 задымлен!
Вьют канюки круги!
Нам ли с тобой дожидаться римлян —
Кровью платить долги?!
Встанем без гимна!
 Пойдем без флага!
И затрещат миры!
Наше ученье —
 Орда и Брага!
Наши дары —
 остры!
Диким поверьем, былиной станем,
Древко зажав в горсти!
Чернее кошки
 нежнее лани,
Бег
 изгнанных
 с Шелкового пути!

* * *

Ю. Г.

Мне помнить вечное во мне.
Так бродит оторопь кругами.
Не в этом сне,
 не в этой гамме,
Но в этой белой тишине,
Что хлынет новою водой,
Ликуй, предательская нота!
Душа, достигшая чего-то,
Сладка, как клевер молодой.
О, очертанье глаз Иуды!
Зеленоглазые паскуды,
Вас обвенчают зеркала,
И ветра черные этюды,
И писем тонкая зола.

* * *

Мы, поэты последнего ряда,
Допиваем прокисший абсент.

Мы — ваш Дант в дебрях рая и ада,
Вашей жизни последний момент.

Серебра нам с тобой не досталось,
Да и золото тут не в чести.
Но надеемся, самую малость,
И колосья сжимаем в горсти.

Соберем семена и корни,
И путем продвигаясь зерна —
Мы роняем стихотворенья,
Словно шишки сосна.

Нам и ворон — благая примета,
И княжна — придорожная б...ь
За сто первый лесной километр
Нас положено отселять.

Мы — полынь!

Мы — Путивль!

Мы — Непрядва!

Мы — надгробий чужие цветы —
Самозванцы последнего ряда,
Прощельги последней черты.

Игорь ШУМЕЙКО

ВЕЩЕСТВО ВЕРЫ*

Федеральный роман

1

— Ма! Ты как думаешь, вода в Кане Галилейской в одну секунду, мгновенно в вино превратилась, или была какая-то там... реакция шла?

— Ой, болтаешь, Марин! Вместо чтобы учить. И откуда...

— Болтаю как раз из заданной главы. Смотри сама, вот, у Лопухина.

Марина расколола богословский том на заложенной пальцем странице и, повернувшись, как стрелой крана, протянула на руках матери. Три секунды подождала — тяжелый — и, вернув книгу к себе, зачитала громко-внятно, как на уроке: «Но почему Христос не произвел вина без воды? Это он сделал, по мысли Иоанна Златоуста, чтобы черпавшие воду были свидетелями и чтобы оно, то есть вино, — подняв от строчек глаза, другим тоном пояснила матери, — нисколько не казалось призраком...»

— Ну. И что ж неясного? Видишь, профессор Лопухин объясняет, цитируя Иоанна Злато...

— ...А то и неясно, что если быстро превращать, то оно ведь забурлило бы, да? Как варенье у тебя?

— Н-ну... н-наверно... — провела мысленный опыт мать, совершенно не представляя, куда еще вывернет ее упрямица стежку комментария из «Толковой Библии» Лопухина.

— Вот! И я говорю! А если оно не бурлило, не кипело, значит, оно не быстро, а целых несколько... наверно, десять минут превращалось в «лучшее вино». Так?

Мать чуть склонила голову, словно заглянула в те диковинные библейские каменные чаны, увидав там отражением на поверхности полуводы-полувина напряженный взгляд дочери... подумала и кивнула.

— Так! — торжествовала Марина, — А значит, если десять минут превращалось, то я и спрашиваю: а что там было, если бы кто зачерпнул на пятой?! — Энергичным кивком Марина подводила мать к сути своего странного эксперимента. — Что бы это оказалось? Вино? Но не самое лучшее? А плохое-похуже? Как дядя Витя в канистре привозил? Или все же лучшее, но как бы еще... разбавленное? Точно! — Уважаемые господа, убежденно подвела итог «лабораторной работы». — Мам, я хочу вина. Сейчас!

— Рин! Да что ты? Какого тебе ви...

— Лучшего! Как в Кане! — и снизойдя к испугу матери: — Мне только ложечку. Чайную. На язык.

* Журнальный вариант.

Игорь Николаевич Шумейко — историк, публицист, по образованию кибернетик. Автор стихов, рассказов, очерков, опубликованных в 1980-х годах в журнале «Юность», «Литературной газете». В 1994 году издан роман «Вартимей-очевидец», радиопостановка по которому шла в 1995 году на «Радио России». В XXI веке его рассказы, путевые очерки, эссе опубликованы в «Независимой», «Литературной» и «Новой» газетах, «Комсомольской правде», в журналах «Новая неделя», «Роман-газета», «Моя Москва».

НЕВА 9'2013

С бутылкой муската и чайной ложкой мать вернулась из кухни. Дочь потянулась к ней, с пациентской покорностью протянула язык и даже зажмурила глаза. Мать, воскрешая полузабытую процедуру «причастия» — приема рыбьего жира в пионерском лагере, опрокинула ложку на влажный, подрагивающий кончик — и как в каком-то кукольном механизме, язычок Марины втянулся одновременно с раскрытием глаз. И мать, будто на нее брызнули синевой, в который раз удивилась ясному детскому цвету дочкиных радужных оболочек...

Марина потянулась к вазе. Из букета, как из снопа на государственном гербе, торчали длинные травинки. Марина решительно выдернула какой-то луговой лист, заложила им страницу «Толковой Библии», поставила на полку и начала «беситься», танцуя, подбрасывая и ловя диванные подушки.

— Тьфу ты, коза! Скачешь тут! — Мать, словно отходя от предчихового, так и не разрешившегося порыва, поднялась.

— Ма! А почему папа хотел меня выдать за священника?

— С чего ты взяла?

— Ой, только ты еще не притворяйся! Я ж все слышала и знаю!

— Ну а за кого бы ты хотела?

Теперь пришел черед озадачиться дочери, мысленно перебрать фигурки людей, как их рисуют в познавательной литературе: схематично, с гладкими лицами, в одежде соответствующей специальности: летчик, врач, моряк, шахтер, артист, банкир... Вообще уже непонятно, что рисовать. По колено в монетках?

— Нет, ма, я же не говорю, что я против, только...

— Что, Мариночка?

— Странно как-то. У меня ни одной подруги нет, чтобы хоть у кого сестра или знакомая вышли бы за священника... На дворе — двадцать первый век! — передразнивая не то отца, не то какую-то передачу. — А меня папа — хочет выдать за попа! — вальсируя вокруг матери и переходя на стихотворно-напевный лад.

— Перестань! Риночка, овечка, бяшенька моя! Вот если б кто услышал, что ты тут болтаешь? Еще чуть-чуть подрастешь и тогда поймешь своей кучерявой барашковой головенкой... Господи, в кого ж ты такая у нас кудрявая?!

Уворачиваясь от руки, тянущейся погладить, дочь перешла на торжественную декламацию:

— Марина Вадимовна Сумерова венчается рабу божьему... Марина Вадимовна, несколько слов для прессы, объясните, пожалуйста, почему вы решили стать женой...

2

— Да потому что дурак твой папашка!... Хотя нет, конечно, не дурак. Но хитрый и жадюга — уж точно.

Подполковник Григорий Рейнин ткнул на кнопку, дождался выползания серебряного диска, похожего на чешую гигантской рыбы, аккуратно поставил — диски стояли, из экономии места или коробочек, голыми, с искоса их строй был и правда похож на чешую библейского гиганта Левиафана.

— Нет, — вспомнил Рейнин. — Отставить! Левиафан был кит, у них чешуи нет... Ох, Сумеров! И мизинцем не двинул без расчета. Может, и дочку планирует за какого-нибудь перспективного священника пристроить? Карьерного... Нет — чушь! Попы, которые с попадьями, только в приходах служат. Выше — назначают из этих... игумены, там, монахи... безбрачные. А Сумеров-то хотел что? — свою дочь, типа... архиепископшей? Или даже... митрополитшей?

Подполковник мысленно хохотнул, представив крушение дурацких планов

бывшего коллеги Сумерова, но через секунду заставил себя вернуться к реальности, стер с лица кривую ухмылку. Тяжелый вздох, возвращение к исходному раскладу: отставной генерал Сумеров хитрее многих. И банк себе к увольнению подобрал устойчивый. То и обидно: подполковник Рейнин к нему даже не просился, только проектец один предложил, а Сумеров его... вывел за скобки своего интереса, можно сказать, послал.

— Но мы еще посмотрим... Вишь ты, Кана! — хмыкнул Рейнин. — Галилейская!

Хотя смотрел так подполковник: и подсматривал, и подслушивал, и записывал, наращивая лазерную чешую на полке, уже почти четыре месяца. А докладывать, по сути, нечего. Сумеров — акционер и председатель правления банка. Из бывших коллег взял к себе троих, платит хорошо, но держит на посылках. Плюс какого-то кандидата медицинского, но это еще ладно... а вот бывший его подследственный из старого, развалившегося дела об изнасиловании на кой черт ему сдался?

3

— Геннадий Исидорович, статья готова, даже раньше на полдня... чем назначали. Вот, на флешке, файл: Театр-три. Третья версия, семь страниц. А вы не посмотрите? Нет? Жаль. Только заголовок у меня пока не придумался. Может, вы... в вашем... стиле...

Юная журналистка Альбина начала этот монолог в редакционном коридоре, стараясь догнать, обогнать и «подрезать» шефа, всучить ему флешку, но тот прибавил шагу и обернулся, уже подходя к дверям своего «предбанника», приемной.

— Ну а подзаголовок, Альбиночка, у вас... придумался?

— Да... О современном российском театральном искусстве, — сомневающимся, падающим голосом. — Как-то длинно, да? Может мне...

— Оставьте уж.

— Ну а заголовочек тогда?

Геннадий считывающим взглядом посмотрел на флешку со шнурком, улегшуюся на груди, высокой природно, но еще и вздыбленной черной подпругой бюстгальтера.

— Заголовок будет... Пропиваем наследие Станиславского.

— Блеск-блеск-блеск! Ну почему я сама не придумала-а?! А у меня еще два задания от Софьи Генриховны и колонка ответов на письма. Вы же обещали помочь, помните? И когда?

В общем, популярный коктейль «Редакционный»: восхищение идеей шефа, кокетливые сокрушения по поводу самое себя. Все взболтать, подавать — жеманно, со вздохом. Геннадий Исидорович «пить» не стал, переходя близ кабинета на режим самососредоточения.

Но вдруг, сманеврировав и ускорясь, Альбина первой схватилась за золоченую дверную ручку. За две-три секунды Геннадий так и не расшифровал: то ли она собиралась услужливо открыть элегантную стеклянную дверцу с табличкой «*Российский фокус. Главный редактор*», то ли, наоборот, решила не пускать его. Эта неопределенность и подвигла его на следующий финт.

— Когда? Когда вот здесь, — он указал авторучкой на ее живот, — будет бултыхаться не менее двухсот граммов коньяка. А вот здесь, — он описал вокруг фигуры журналистки окружность, как на леонардодавинчевском чертеже, — здесь из всех одежек-застежек будет только вот эта красная ленточка, с флешкой... тогда я и помогу нашей пери, нашей Тэффи, нашей...

Забегая, подобно коридорному маневру Альбины, чуть вперед, можно выдать

Геннадия Исидоровича: неопределенность, двойственность была его Культом, тайным стилем журнала, чаемым стандартом поведения, к которому он пододвигал своих сотрудников: так же неопределенно, неявно. И тиражи даже в трудные постперестроечные, постчернушные времена порой взбрыкивали, аж до тридцати двух тысяч, под общим негласным девизом: «Разоблачаем общественные пороки, смакуя оные». Дернув плечиком и отвернувшись на пол-оборота, она подождала пару секунд и отправилась по коридору почти победительной походкой.

Но на этот раз Геннадий Исидорович Лодкин отпускал растлительную реплику не в формате легкого редакционного трепа. Провожая удалявшийся маятник тугой джинсовой задницы, главный редактор принимал и принял одно важное для будущей журнальной жизни решение: да, он пойдет с Альбиной.

Назначено на послезавтра, пятнадцать ноль-ноль. Процедура привычная в эти времена (*О времена, о нравы!*): «Смотрины у нового хозяина». Банкир, ментовской экс-генерал, и купил их Издательский дом и почти сразу закрыл газету «Тема». Звезд там, конечно, не хватало, но... два приложения, почти сорок человек, только штатных, все — на улицу. Другим «активом» в Издательском доме был его журнал «Российский фокус». Уж второй раз за шесть лет Геннадию Исидоровичу предстояла эта, немного антично-работорговая, немного библейская процедура. «*Взвешен. Найден огонь легким. Царство твое передано персам*».

Прошлый раз, когда их журнал покупал цветмет-фабрикант и в душе главреда набухал такой же тяжелый комок, ему очень помог коллега Семен из «Русского шелкопера»:

— Берешь папку рекламных контрактов. Журнала много тащить не надо, экземпляров семь-восемь. У тебя номер, где эксклюзивное интервью с Ростроповичем, был неплохой. И обязательно берешь самую разбитную журналистку. Тут прокола не бойся. Ключет — журнал ему отдушиной станет, эдакой лоцией богемной жизни. А не ключет, так ты ведь приводил ее: интервью с ним делать: Новые горизонты, видение проблем, амбициозные планы, главное, чтоб разбитная, веселенькая была. И пьющая. У меня вон для таких целей Луизка Кошелева, автор, между прочим, очень толковых статей по московскому городскому хозяйству, Москомархитектуре...

И теперь надо входить повторно в ту же... бр-бр-бр, холодную воду. Оглядев длинный строй подарочных безделушек на подоконнике кабинета (дни рождения, годовщины журнала), Геннадий Лодкин застыл в позе примерного ученика: не растекаясь на нежных изгибах итальянского кресла, а столбиком, на краешке, руки аккуратно сложены, правая сверху, в готовности поднять: «*Марь Иванн! Я ответу!*» Секретарша, кроме имени-отчества, похожего, как считал Геннадий Исидорович, на позывные его школьной учительницы, имела и другие важные качества: те же пятьдесят с хвостиком, такой же усталый вид, и голос, и очки примерно похожей конструкции. Так что, пройдя по отделам и отпустив положенное число двусмысленностей и сальностей, он возвращался в кабинет и замирал, отдыхая в этой ученической позе: столбиком на краешке кресла, «руки на парте»...

— Марин Петровн! Пусть ко мне зайдет Альбина Терлецкая.

4

Вызванную журналистку Альбину в кабинет ввела секретарша Марина Петровна, словно не доверяя шефу. Вводить, сопровождать было принято только каких-нибудь важных гостей. Сотрудники, получая кивок секретаря, входили сами. Но

уж такова была Альбинына аура, что и сейчас в вошедшей паре его «Марин Петровн», секретная копия мудрой учительницы Марь Ивановны, вдруг показалась Геннадию Исидоровичу похожей на бандершу, «мамку», выводящую на запрос: «А можно еще посмотреть?» — свой живой товар...

«Точно, — подумал главред. — Она! И сколько в ней такого брызжущего... оптимизма!»

Геннадий Исидорович показал гранки статьи «Пропиваем наследие Станиславского», прошедшей обработку завотдела, Альбина мельком глянула, но, не найдя в тексте почти ничего знакомого, особо не расстроилась и с азартом выслушала новое журналистское задание.

— Понятно, Альбиночка?

— Абсолютно!

— Блеск! Ну, полный блеск! — это уже Геннадий Исидорович, но после пятнадцати минут беседы с Альбиной.

К заданию она была готова «абсолютно!» — но вот насчет «брызжущего оптимизма»...

В раннем разводе родителей она считала стопроцентно виновной свою мать. Академические высоты, достижения, широкая и даже общественно известная жизнь отца, конечно, были абсолютно несовместимы с ее ограниченностью, убогой зашоренностью. Отец, хоть и не желал видеться с дочерью (как она понимала, из-за риска увидеть хоть черточку ненавистной женщины), тем не менее сделал в ее жизни три важных дела. Это не считая алиментов, рост которых был единственной «данной им в ощущениях» проекцией его жизненного роста.

Первое дело: звонок — и ее приняли на факультет журналистики. Второй, через пять лет, тоже звонок — и ее взяли на работу в журнал.

Третий отцов знак был, скорее, *непротивление, недеяние*, в духе даосизма. Отец не возразил, когда она твердо решила взять его фамилию — Терлецкая. Мать сразу же после развода вернула себе девичью, под которой и растила наливающуюся здоровьем и ненавистью дочку. Отец, правда (а это был тоже телефонный разговор), сначала выразил сомнение: ведь в его семье сейчас подрастала Алина Терлецкая.

5

Года через три она разузнала школу, класс, где училась Алина Терлецкая. Потом пришла и посмотреть. Точнее, это была хитрая журналистская операция. Она только что закончила институт, пришла (по второму звонку отца) в «Российский фокус» и порадовала завотдельшу Софью Генриховну своей — с порога — инициативой: выдать статью об элитных московских школах.

Выправив журналистское задание, псевдоним взяла: «Альбина Стрелецкая» — чтоб директора школы не наводит на лишние сопоставления фамилий и учениц не смущать в беседе... И в назначенный день, включив диктофон, покорно записав все самоупоенные планы директрисы *одной из самых элитных московских школ*, перешла-таки к *настроениям детей*. Выбрала «наугад» одиннадцатый-а класс и наконец на перемене в группе подруг увидела ее...

Усмехнулась давнему видению: выносимой на руках из горящего дома Алинке. Настроив, как у нивелира, строго горизонтальный взгляд, Альбина сделала засечку на уровне пухлых Алиных губ: девочка была сантиметров на семь выше ее ростом, примерно той благословенной русской комплекции, когда, если надо, скинь

три килограмма — и в мировые модели! А пока эти три, ровным нежным слоем разлитые по телу, и есть: Защита от сухих Мировых Стандартов.

Главное, в чем убедилась Альбина: нежность ее, живая благодарность к сестре абсолютно неизвестно за что не исчезла.

Статья об элитной школе, хоть и с обильной правкой Софьи Генриховны, имела успех («такой добрый и внимательный портрет нашего нового поколения»), но в разряде успешных так и оставалась в одиночестве весь этот год. Далее из-под Альбиного пера выходила лишь дежурная ерунда, но это была уже проблема Софьи Генриховны: насколько она подпортила первую, настолько пришлось вытягивать последующие. Редакционные аналитики сформулировали версию: Альбина почувствовала, что слишком резко взяла, что удобнее быть вечно начинающей, купаться в помощи и снисхождении, сыпать всюду: «Блеск! Блеск!.. Дорогуша», косить под Монро, доказывая, что «и брюнетки могут...». Чему и общая шалавистость ее характера весьма способствовала...

6

Месяц по выходу журнала с элитношкольной статьей Альбина набиралась духу. Она была спокойна за первую часть встречи, легко представляла это шушание страниц на столике кафе, легкие взвизги радости, бурное щебетание... Но в чем Альбина абсолютно была не уверена — это в своей выдержке: ну какой из нее граф Монте-Кристо, полромана холодно несущий свою тайну! Даже представляя все шпионские выгоды сохранения своей псевдонимности, Альбина не надеялась провести выдержанную, отстраненную линию и... была совершенно права. Уже на второй чашечке капучино без сахара быстро во всем создалась, вытащив даже и паспорт с фамилией-отчеством...

Реветь они убежали в туалет и, изведя полдюжины бумажных салфеток из автомата, долго смотрелись в зеркало.

— А ты вообще... красивая такая!

— А ты станешь еще красивей! Поверь старшей сестре!

Сошлись на том, что больше всего похожи глаза, брови, мочки ушей и что об их знакомстве папе лучше пока не говорить...

7. Роман-донос

Я, податель сего, можно сказать, и предатель сего, Эдуард Васильевич Кумихин, психолог, кандидат медицинских наук, уже восемь месяцев «работаю» в полументовском банке.

О самих банковских операциях понятия не имею — с меня сто раз хватит и того, что пришлось узнать в связи с главным поручением, за которое уже девятнадцать месяцев получаю свои пятьдесят восемь тыщ, плюс премии по непонятному графику — бонусы, плюс «фольксваген» и бензин... Я — начальник отдела обеспечения. Да, еще у меня — оплата всего моего мобильного трепа, без ограничений, так что я мог бы и по сотовому рассказать всю эту историю, да некому позвонить.

Не затягивая, скажу: мой единственный объект — Игнат Жданов. Автор всей комбинации, хитро сведшей, сделавшей нас с Игнатом коллегами по отделу и «друзьями», — лично хозяин банка, Вадим Сергеевич. А выпала Игнату честь такая, что возится с ним долларовый миллионер, рублевый, может, и миллиардер, вслед-

ствие ненароком раскрытой его, Игнатовой, странной личной способности. Мы пока не определили, не замерыли: излучает он или испускает то что я здесь для краткости назову: Вещество Веры. Рабочий термин.

Вадим Сергеевич Сумеров поймал Игната на этом, допустим, феномене два года тому назад, когда работал в ГУВД.

На квартире Игната двое его друзей изнасиловали женщину, то есть — девушку, то есть кем/чем она была/являлась до попадания в квартиру, — это и было одним из вопросов следственного дела. Плюс два сопутствующих обстоятельства. Отец девушки Жанны оказался депутатом. Правда, Мособлдумы, но с финансами, связями не слабее, чем — Гос. А один из той пары весельчаков, Павел, оказался — рекламное лицо крупной страховой компании — назвал бы, но — Закон об антирекламе (ха-ха!), скажу только: из первой тройки. Их сорокапятисекундная рекламная сказка со счастливым страховым концом транслировалась на центральных телеканалах уже года полтора, бюджет акции — можно представить. Равно как и возможный эффект, когда конкуренты по первой страховой тройке или кто-то еще, стремящийся в их число, вдруг запустит серию скандальных репортажей. И окажется, что «лицо компании», тот молодежавый красавец, протягивающий с добро-снисходительной улыбкой бедному семейству рулончик спасительного полиса... матерый уголовник, насильник?! Не допустят, конечно, такой ерунды — под него вон даже выправили линию сериала на НТВ. Там у них было, ну все как положено, негоддяй на негодяе, но где-то начиная с триста восемьдесят пятой серии один продажный оперативник, начал (когда игравший его Павлик попал в «рекламные лица») потихоньку сопротивляться диктату всемогущей мафии.

Так что свидетель, журналист (малоизвестный) Игнат Жданов, в юридической битве столь высоких заинтересованных сторон мог оказаться: лжесвидетелем, соучастником, организатором и даже единственным исполнителем, да кем/чем угодно. Подследственным Жданов в итоге стал, месяц в Бутырке. Друзей своих Игнат явно покрывал, но проверка на полиграфе, «детекторе лжи» показала: чист, и все его слова — чистая правда. Ну а «самое-самое» началось, когда ему дали поговорить с потерпевшей Жанной, рекламным другом Павликом и вторым приятелем. Очные ставки проводились без тех предосторожностей, которыми Игната окружили сейчас. Кто бы тогда знал! Да и на сегодня про этот феномен знают, как я предполагаю, три-четыре человека.

То ли в шутку, то ли в качестве «контрольного выстрела» полковник Сумеров сказал ведшему дело капитану: «Ты еще расскажи мне, что это трое марсиан прилетали на тарелочке и трахнули эту... мособлдепутатскую идиотку!»

Уже тогда подозревая кое-что, Сумеров сымитировал обычный начальственный гнев, швырнув папку «Дело № ...», ну, не совсем чтоб в лицо, но близко-близко в сторону капитана. Лично пообщаться с Игнатом Ждановым он не пробовал, точнее, даже избегал этого, ограничиваясь просмотром видеозаписей допросов, экспертиз, очных ставок.

Нельзя сказать, что собеседники Игната сходили с ума или даже просто получали какие-либо психические отклонения. Рекламно-страховое лицо Павлик, его дружок и потерпевшая Жанна прошли полное психическое обследование с самым мажорным диагнозом. И следовательно, капитан Семионов, на следующем докладе был совершенно нормален, хотя и пришел с новыми полиграммами, утверждавшими истинность версии про *«двух гуманоидов розовато-сиреневого цвета, ростом чуть ниже среднего по Центральной России, с немного индонезийскими чертами лица, дружелюбными жестами убеждавших Жанну Рябову пойти на первый межпланетный контакт, но, не добившись согласия потерпевшей, приступили»*.

Психологически весьма достоверным был тон доклада: капитан и сам принял «марсиан» единственно правильной версией, хотя лично ему было стыдно. Как в армии: офицер вроде и уверен в своей невинности, а все равно неприятно перед вышестоящими, что стихийное ЧП имело место именно на территории вверенной ему части. Теперь «марсианская банда» насильников еще много чего натворит, и капитан Семионов искренне переживал, что он их не поймал, что оказался точкой их первого прорыва... эдаким... «Гагариным наоборот», «пассивным космонавтом» (его собственные выражения), на чьем участке ответственности злоумышленные инопланетяне впервые вырвались на оперативный простор... Врачебная экспертиза и по Семионову показала: нормален, абсолютно нормален. Но так же абсолютно: он верит и в марсиан-насильников, про которых ему наплел, с его же полуподачи, свидетель Жданов...

Шила ведь в мешке не утаишь, и семионовские «гуманоиды розовато-сиреневого цвета, ростом ниже среднего по Центральной России... с индонезийскими чертами лица... убеждавших Жанну Рябову...», стали главным анекдотом управления. Еле сдерживая ухмылки, коллеги подходили к Семионову, сочувственно спрашивали: «Слушай! А может, и правда — то индонезийцы были? Гастарбайтеры какие-нибудь? А розовато-сиреневыми стали от портвейна нашего». Так что подверглись капитан повторной экспертизе через полгода — его нормальность уже не была бы такой «аксиомой»

Как бывший научный работник я должен признать, что два первых шага, столкнувшись с этим феноменом, генерал-милиционер Сумеров сделал мгновенно и абсолютно правильно. Вот как представляю лабораторию своего НИИ, допустим, получившую на исследования этот случай устойчивого преодоления детекторов лжи, и тут... должен признать (из-за чего и мой раздраженный тон): наши ниишники лет пять бы ходили вокруг да около, «сердцебиение, потливость, дыхание, адреналин, надпочечники...», замеряли бы то да се, в общем, все замеряли бы всё — на что есть соответствующие приборы замерять... Начертили бы сотню графиков «выброса адреналина в кровяное русло», «снижения амплитуды по каналам верхнего и нижнего дыхания вследствие расширения бронхов, каковое в свою очередь — следствие повышения концентрации адреналина», «увеличения концентрации CO₂ в крови, воздействия на хеморецепторы и последующего нарастания амплитуды при ответе на значимые вопросы...».

Тут и задумаешься: что вообще значат эти наши отдельные лестнички ученых званий, степеней. Ведь этот мент, по сути, гораздо умнее, креативнее член-кора Никодимова, директора НИИ и прочая, прочая... Посмотрел пристально (или как там они смотрят) и рубанул вполне по-архимедовски: Игнат Жданов... просто верит всему, что говорит! В определенный эмоциональный момент речь Игнатова становится — чистой Верой. Наши обиходные словосочетания «убедительный тон», «он говорил убедительно» в случае Игната получили уникальное, буквальное, замеренное полиграфами значение.

И вторая догадка Сумерова была убийственно проста и точна: влияние Игната передается слушающим, практически без потери качества, но далее — Реципиенты, принявшие порцию его Веры, сами быть донорами не могут. Вроде бы. То есть они верят, но далее, как Игнат, передавать Веру — не могут. Как сказали бы физики: «Цепной реакции нет». Или «наши» биологи: «Не заразно».

А сегодня мы спокойно и осторожно замеряем эту «Ауру Жданова». Выдаем вороха таблиц вполне научных, близких к здравому смыслу данных. Оказалось, для

достижения «игнатовского эффекта» требуется: от трех до двадцати минут разговора на близкой, метр-полтора, дистанции. Женщины более восприимчивы (вполне понятно), мужчины менее, мужчины с аналитическим складом ума — еще менее. Вначале рабочей версией было излучение, лучи, но Сумеров мрачно пророчил: «Вещество. Ловите, идентифицируйте газ, или микрокапли какой-то взвеси, или микрочастицы, или... наночастицы — сегодня даже актуальнее». По аналитическим способностям Сумеров выбрал и поставил меня во главе группы, можно сказать — научного кордона вокруг Игната. Уж я судьбу «уверовавшего», подпавшего капитана Семионова не повторю. И не доставлю подобной радости козлине этому, Румянцеву.

«Эффект Мидаса» и некоторые предосторожности

Антично-научное название — моя придумка, но суть эффекта, еще раз признаю, вычислил Сумеров. Получается, сам Игнат не может даже и догадаться о феномене, ведь для этого нужно суметь глянуть на свое «исходящее» — критически, а для этого утратить в них Веру, но для этого суметь глянуть... а для этого...

В общем, Игнату так и суждено купаться в Океане Чистой Правды и Веры. Напомнил он мне царя Мидаса, превращавшего своим прикосновением все — в золото. Но античный испытуемый, как известно, умер от голода, ибо еда, коснувшись его уст, тоже становилась золотом, а Игнат Жданов имеет перспективы более радужные. Не очень пока понятные, но точно нефатальные. Не сомневаюсь, они еще поладят, сойдутся на точке взаимопользности: литератор-«гипнотизер» и мент-банкир. Просто удача, синяя птица в руки бывшему поэту, а может, и просто графоману, перебивавшемуся заказными статейками в журнале «Российский фокус» да еще — щедротами друзей, пользовавшихся его квартирой (трехкомнатная, четыре минуты пешком от «Новослободской») в случаях, подобных тому, с облдепутатской дочкой... плавно, а затем наверняка и... ритмично (видел я эту Жанну Рябову!) перетекшему в уголовное дело...

8

Андрей Румянцев не стал далее тянуть свой комментарий к выкраденному (скачанному без ведома хозяина) дневнику Эдуарда, и файл его пояснения на флешке, которая еще дойдет до Сумерова, был в десять раз короче исходного кумихинского. В этой ситуации и во многих других, о которых будет речь, он был симпатичнее своего визави.

Единственно, что извиняло, объясняло раздраженный тон кандидата наук Эдуарда Васильевича Кумихина — незадолго до этого он убедился: новоназначенный ему сотрудник Румянцев не биолог, не психолог, не имеет вообще опыта научной работы. Бывший компьютерщик из МВД и назначен, понятно, шпионить за ним.

Сумеров успокаивал их, организовал даже некое торжественное, в комфортной обстановке загородного ресторана собрание втроем. Внушил им, что специфика работы требует взаимного (подчеркнул) перекрестного контроля. Ведь случайно подпавший под ждановское излучение сам того заметить не сможет «по определению». Второй из них и должен обнаружить это. И, конечно, сразу сообщить, но какое ж это «стукачество»?! Вон и водолазы работают — только по двое. Какой будет исследователь, если он сам станет рупором, ходячей проекцией объекта нашего изучения?..

9

Исследуемый Игнат Жданов вовсе не сидел в лабораторной клетке, под контролем Кумихина с Румянцевым, где-нибудь в подвалах сумеровского банка или загородного дома. Проживал после Бутырки в своей квартире на Новослободской, работал у Сумерова в банке. Излучающий, (или испускающий) Вещество непобедимой веры, сам Игнат был или стал человеком сильно внушаемым, доверчивым крайне. В его новом мире царил «Спаситель» — Вадим Сергеевич, вытащивший его из узилища, спасший от семи-восьми-десяти (или насколько еще мог «продать» судей разъяренный отец Рябовой) тюремно-лагерных лет. Выправивший его здоровье: месяцы в буйной камере стоили Игнату двух выбитых зубов, сломанных ребра и пальца, психических травм.

Мало того, Вадим Сергеевич взял его к себе в банк, предложил интересную, творческую работу: придумывать, разрабатывать различные рекламные лозунги, образы и исследовать, насколько они удачны, сильно ли влияют на людей. Редкостно великодушный экс-генерал Сумеров взял на себя и защиту бывшего своего подследственного: не нашедший юридического удовлетворения мособлдепутат Рябов вроде бы собирался отомстить приватно, и тут очень кстати оказалась идея поселить пока у Игната на Новослободской крепкого парня, нового коллегу. Андрей Румянцев оказался к тому же коммуникабельным, веселым жильцом. И очень благодарным, его выигрыш был: не мотаться каждый день к себе в Подольск и обратно. Прежние друзья своим поведением во время следствия очень разочаровали Игната, а теперь... «Новый старт, вокруг — все новое. Сыплется как из рога изобилия. Мне давно был нужен новый кусок жизни».

Выбрасывая кусок жизни предыдущей, он будто вычел его и из паспортно-анкетных данных, будто помолодел, и двадцативосьмилетний Андрей казался ему почти ровесником. А уж другом, собутыльником — без всяких «почти».

Под статью была и новая работа. Иногда, правда, Игнат опасался, что этих рекламных исследований, нейролингвистических стратегий, слишком много для их Инвесткредо... и вообще для любого банка и эта лавочка может закрыться. Но Вадим Сергеевич объяснял, что он будет продавать рекламные продукты другим банкам, торговым, страховым, девелоперским компаниям, политикам и вообще поставит это дело на поток. И уже полностью раскрепощая Игнатов творческий полет, шеф объяснил ему, что эти вкладываемые в мозги образы, лозунги необязательно должны быть благостными, в духе той сорокапятисекундной сказки, где рекламным лицом подвизался его друг Павлик.

— Нет, Игнат, фонтанируй, диктуй что угодно, в конце концов, ведь и антирекламу можно продать. Допустим, конкурентам. А где реклама, там рядом и сопутствующий товар: PR, пиар. Те ж байки, но не шампуни-йогурты, а про людей. Позиционировать какого-либо персонажа — опорой страны или, наоборот, полным подонком... В общем, Игнат, как говорил твой коллега-поэт из эпохи социалистического реализма: «Твори, выдумывай, пробуй!» А вот плановой выработки, норм, в отличие от социализма, никаких. Разрабатывай любой «контент». Пересказывать каждую новую придумку начальству? Не надо, не надо!.. Зачем?! — достаточно фиксировать идеи на компьютере, а потом рассказывать испытуемым, представителям «целевой аудитории» и смотри: нравится ли? верят ли они? Можно пройтись и по каким-то общим проблемам народного менталитета. Ты же был известным поэтом почвеннического или даже патриотического направления, Игнат Жданов! Ну и как тебе сегодня... допустим, это засилье импортной всякой рекламной липучки, брен-

дов этих самых?! Разве не вызывает желания шмякнуть по ним? Пробуй. Стреляй вообще «по всем азимутам»!

Неожиданным продолжением, возможно, этих самых планов стала покупка Сумеровым Издательского дома с журналом «Российский фокус», где до этого дела как раз и работал Игнат.

Дивясь такому совпадению и порядочно опасаясь встреч со старыми знакомыми и воспоминаний, Игнат катался на удобном офисном стуле по громадному залу их отдела, уклончиво названном — «Отделом обеспечения», где под руководством Эдуарда Васильевича Кумихина и проходила работа по созданию и опробованию рекламных образов и лозунгов.

По полям многих страниц, накрывая и аккуратные рядки распечатанных текстов, тянулась ручная синефломастерная вязь:

- Носишь «Рибок» — получишь грибок.
- «Кнор» вкусен и скор, но — вызывает запор.

10

— Надолго, Андрюш?

— Минут тридцать мне надо, Вадим Сергеевич. Вообще-то я и распечатал кое-что, но без комментариев это будет не совсем ясно... Я вычислил его. Со всей достоверностью.

«Его» означало, конечно, Кумихина. Антагонисты работают, как угольный комбинат, «выдают на-гора». Сумеров мельком оценил папку в руках Румянцева: страниц пятьдесят.

— Ладно, в дороге расскажешь, мне надо к другу одному в гарнизон съездить, под Солнечногорском. — Сумеров проследил скошенный взгляд. — Андрей, да какие тут конфиденциальности, секреты!.. Ну ладно... Василий, — подходившему водителю, — я сегодня сам поведу. Свободен.

Вывернув на третье транспортное кольцо у Беговой и пристроившись в относительно спокойный ряд, Сумеров выдохнул:

— Ну, Андрюш, выкладывай тайны своего мадрит-едрит-ского двора!

Но сразу включиться, окунуться в поток «разоблачений» он был не готов.

— Вот секреты твои! Отпустил Василия, а я ж, между прочим, после всех дел в гарнизоне очень рассчитывал опрокинуть пару рюмочек со своим другом Колей, сто лет не виделись! Думаешь, какой пустяк! — но я-то Колины рюмочки знаю, многие их называют — стаканчиками. И я уже не рискую, нет.

— Вадим Сергеевич! А обратно я могу повести. И махнете свои рюмочки. Но дело сейчас важное. Я вычислил его... и распечатал.

— И припечатал. Ну, давай.

Андрей зачитал основные пункты «Роман-доноса» Эдуарда Кумихина. Но Сумеров не «загорелся», его почему-то больше заинтересовал способ получения Румянцквым этого «компромата», и пришлось погружаться в сугубо компьютерные подробности, как программа-жучок, впрыснутая через флешку на домашний кумихинский ноутбук, срисовала все текстовые файлы и тем же путем вернулась в отдел, тяжелой трудовой пчелой, с медосбора. Эта сугубая виртуальность, отсутствие физических взломов совершенно успокоила Сумерова, а к собственно содержанию «Роман-доноса» он особых претензий не выразил.

— Это ж я ему и советовал. Вести типа дневника. Понимаешь, Андрюш, на его

месте, встречаясь, разговаривая каждый день с нашим феноменальным Игнатушкой, совершенно необходима такая мера отстраненности, итоговый взгляд со стороны. По нему ты и сам можешь распознать, сравнивая, например, со страницами двухмесячной давности, подпал ли ты под Игнатушкино облако, заговорил ли ты его речами.

— Вы...

— Да, сказал ему, пусть хоть роман об этом напишет. В свое время, говорю, можешь хоть опубликовать. Прославиться! В свое время... сейчас-то это — чистая фантастика, все равно никто не поверит. Как же — вся Вера у нас. Под замком! — Сумеров хохотнул, как бы цитируя свой хохот в разговоре с Кумихиным и одновременно расцветывая текущий разговор с постепенно прозревающим Андреем Румянцевым.

— Сейчас не поверит никто, а потом какая уж разница... — когда все будут верить всему! И тебе, Андрюша, посоветую: пиши тоже, фиксируй, формируй свой взгляд на эти наши... приключения, со своей стороны. Вот ты сейчас мне изложил, но пойми, у меня ведь нет времени каждый, допустим, день так вас заслушивать. А ты веди свой дневник, фиксируй, можешь там и комментировать кумихинские перлы. Пиши, пиши, Андрюш, бумага терпит...

— Кремний.

— Что?

— Вы только, Вадим Сергеевич, не думайте, что мне тут надо было подсидеть Кумихина. Да мне, честно скажу, сто раз насрать на его должностишку. Просто мы... просто Игнат — мой друг, настоящий. И даже не в этом дело! Ему столько пришлось вынести! Сами же знаете, что на него свалилось. И он при этом остался таким доверчивым. Я ведь долго уже наблюдаю: это ваше искомое Вещество Веры, он ведь его не производит, чтобы нам доить его как корову, а он...

— Что — а он?

— Он будто его ретранслирует, фокусирует. Вы и сами-то видите, как он вам, например, верит. Если эти ваши молекулы, Вещество Веры и есть, то они, по-моему...

— Ну-ну. — Сумеров и не считал нужным скрывать заинтересованность. — И они...

— Они — всюду. А Игнат их... как бы фокусирует, как линзой.

— Вот и прекрасно. Вот тебе и задание на ближайшие... — задумался, воображая объем, — на три недели. Возьмешь у Кумихина три тома: «Заратустра», «Рональд Хаббард» и «Григорий Грабовой». Там самое полное досье, какое может быть. А Хаббард, это американец такой, саентологию придумал. Изучи и сопоставь: как они говорили? Перед какой аудиторией: число, социальный, половой, возрастной состав? На каком расстоянии люди сидели? Под каким углом смотрели? То ведь, похоже, тоже были мощные... фокусировщики. А Хаббард еще и через прессу ухитрялся, как ты говоришь, фокусировать. Фокусничать. А с Грабовым, если что, можно даже и личную встречу организовать, он, кажется, в мордовских сейчас лагерях.

— Служу России! — Андрей, подражая строевому приему, вытянулся в кресле, задрал подбородок.

— Встать в строй! — принял шутку Сумеров. — А Кумихину я правда не приказывал оформлять свои записки именно как «Донос», это уж его собственные, личностные... оттенки.

— Ага. Значит, и все его комплименты в ваш адрес: «креативный» и «умнее директора НИИ членкора Никодимова», это все — в расчете...

— Ну, наверно, не без расчета...

— А ваш, Вадим Сергеич, расчет? Я же никогда не спрашивал дальше текущих заданий. Но вы ведь и сами предполагаете, что ваш сотрудник что-то же сам думает, прикидывает. Размышляет, так сказать, факультативно. Невозможно же поверить, что такой феномен, какой... сейчас в вашей власти, — против желания Румянцева несколько выделенным оказалось слово «сейчас», — и будет запряжен в какую-то фирмочку — по предоставлению услуг: тренинг по обману каких-то детекторов лжи. Ведь тут же дело... почти... религиозное!

— Во-первых, зря ты так пренебрежительно о какой-то фирмочке. По-моему, так — сломать детекторы лжи, свалить всю эту индустрию, всю отрасль — вполне «религиозное», даже богоугодное дело. Медали с тобой получим от Патриарха и Папы Римского. — Он замолк, словно воображая процедуру награждения. — Да, и от Папы. А от других-прочих... вряд ли. Им, сектантам, детекторы лжи как раз и нужны...

11

Часа через четыре, когда они возвращались домой и шереметьевские ориентиры, взлетающие и планирующие самолеты поменялись местами слева направо, разговор продолжился, правда, не совсем в духе, на возможность которого намекал Сумеров: «туда». «обратный». Сумеров если от Колиных рюмочек и размяк, то где-то очень глубоко внутри.

— Так что, Андрей, можешь мне пока на Кумихина не жаловаться. Выцыганивай, скачивай его дневники, складируй у себя — все правильно. Мне неси — если только что-то интересное, так сказать, выбранные места. А вот что может быть понастоящему интересным — в этом, надеюсь, я тебя сегодня немного продвинул? — Андрей, не отрываясь от дороги, кивнул.

— Я ведь наблюдаю, Андрей, ваше с Кумихиным «кто кого?». И Игнат канатом между вами. Кандидат наук, психолог, девять лет работал по тематике отечественных полиграфов, нейролингвистике. А Эдик, кстати, — второе поколение научных сотрудников, отец его кто-то там... И ты — старлей милицейский, отставной, отец — шофер, мать — парикмахер. Но — более душевный, интуитивный психолог, да? И, по-моему, твои шансы — чуть выше. Игнат Жданов, он, ты что думаешь — абсолютно не осознает своей особенности? Что он теперь, как его Кумихин обозначил, стопроцентный царь Мидас и все, что он говорит, его Чистая Вера? А может, он это как-нибудь и возгоняет в себе? Входит в раж? Тигр, часто показывают, бьет себя хвостом, доходит, и потом уже — чистая ярость... Но это я так, Андрюша, тебе к размышлению...

Звонок мобильного, и Сумеров после нескольких напряженных, выжидательных «да» погрузился в долгое слушание, дав Румянцеву время для обработки сегодняшних впечатлений и «вводных». Поездка в гарнизон и, главное, этот их — «Генетический страж», Альберт Григорьевич Нартов, конечно, дали пишу размышлениям. Андрей будто снова «прокрутил пленку», пытаясь вспоминать «замедленно», раскладывая впечатления по полочкам...

Еще по дороге туда, скосив взгляд на вгрызающийся в атмосферу шереметьевский лайнер, Сумеров, предупреждая возможные удивления Румянцева, уделил остаток пути до гарнизона развернутому предисловию, объяснению, включая даже и автобиографические моменты.

— Едем мы в гарнизон к Коле Василенко. Их пвшное вооружение давно сняли, распилили, переплавили, нового пока нет, но военный городок как боевую единицу

сохранили до лучших, — усмехнулся, — времен. Там сейчас склады, коммерсантские, а полигон сдают киношникам, для съемок батальных сцен, вместе, кстати, с личным составом для массовок. В общем, выживают, как могут. А сегодня к Коле заедет и Алик Нартов. Компания у нас давняя была, с Суворовского училища, новочеркасского. Нас тогда с Володькой Маникеевым во внутренние войска сагитировали, а Колю с Альбертом — вот в войска ПВО. Нартов уже лет семь как в отставке, он самый у нас — пассионарий, живчик. Я тебя так и так собирался с ним знакомить. Для важного проекта одного, очень нужного. Только ты не удивляйся сразу тому, что он будет тебе рассказывать... поверь, из нас четверых, считая и генерала Маникеева, Альберт самый мощный, у него связи... в общем, его и на самом-самом верху, — Сумеров кивнул, но «верхний» кивок получился на зеркальце заднего вида, — Нартова очень хорошо знают и к идеям его — внимательны. А проект очень важный, что я хочу тебе поручить, он касаться будет... президентской администрации, да-да. Так что сегодня не пугайся, послушай его. Душа у него — неумная, но светлая...

Зайдя в кабинет командира гарнизона и застав у него, как планировалось, Нартова, Сумеров представил своего сотрудника, ткнул и громко объявил: «А не наливать сегодня — ему!» Это звучало еще и как приглашение поскорее налить всем остальным, что и было проделано. В какой-то момент Сумеров вышел с командиром поговорить, «натравив» Нартова на своего сотрудника... Если в страдательном восприятии нынешней жизни он не особенно отличался от однокашников и сослуживцев, то по набору «болевых точек» Нартов был исключительно оригинален. И все, что он говорил уже, наверно, сотню раз, в том числе и в самых высоких кабинетах, Нартов «вывалил» и на Румянцева...

Подурнение нации — вот главное, что его занимало, заботило, бесило, порою просто убивало. И не только как проблема дня сегодняшнего, но, главное, в измерении — «Нация, Генофонд, История, Будущее». Он придвинулся к Андрею и начал:

— Меня еще в восемьдесят, не помню каком, году, еще при Меченом, просто как обожгло. Тогда показали первые конкурсы красоты, и девушки наши по миру побежали... Тогда меня и ударило: «Гены, геномы!» Ведь издавна признавалось: мы же красивая нация. И женщины наши это несут. У меня полное историческое досье. А ведь красота нации... если подойти арифметически, даже... среднеарифметически — что получится?! Если все красавицы вот так полетят, то скажи, кем мы станем через поколение-два? А там и ученые поехали, и хоккеисты. И ведь тоже — не только физическая статья, но и «все красавцы удалые»! Да мы же не просто дурнушным — мы чахлым и уродливым народцем станем! Лес новый вырастет, нефть, газ поищут — еще найдут! Это все — тьфу!! — Часто бывало, особенно если Альберт Нартов доходил до этого места своего плана в состоянии подпития, — в стену летели пепельница или стакан. — А они, с... Они же... вот так нашу красоту в генах к себе всю вывезут... Как я мечтал стать диктатором! Железным диктатором — но только по одному пункту, о чем тебе и рассказываю. А экономика эта... вывоз бабок, Совместные Предприятия — да хоть подавитесь!! Тут хозяйский инстинкт раньше проснется. Раньше, чем все разворуют. И все потоки финансовые, и прочего дерьма потоки — все выправится, все здесь заработает. Вот только для чего?! Нам-то что тут останется делать?! А там будет... ты представь: сидят эти юные америкашечки, лопочут по-своему — и зыркают по сторонам — своими красивыми серыми, синими и карими! — своими... НАШИМИ глазами! Селекция... У-ф. Вон Петр Первый за янтарную комнату подарил королю прусскому три роты солдат-великанов. По два метра с лишком. Тот прусак тащился с них просто. Ну и где теперь та янтарная, хрен ее в душу... комната? А мы все, ВСЕ мы — стали чуточку ниже...

12

Отец Мефодий, выслушав рассказ Галины Антоновны, жены банкира Сумерова, был на этот раз порядочно сбит с толку. Знакомы они уже лет двенадцать, после гибели на Кавказе их старшего сына, лейтенанта внутренних войск Сергея Сумерова.

Сегодняшний рассказ Галины Антоновны не был собственно исповедью, она, стесняясь и борясь с собой, попросила просто зайти, поговорить, но по мере искренности это стоило любой исповеди выслушиваемой отцом Мефодием в храме.

Обрывки своих сведений Галина Антоновна передавала словами, еще ей самой малопонятными, так что отец Мефодий почувствовал сначала, что кто-то из этой тройцы: действующее лицо Сумеров, или рассказчица-жена, или даже слушатель, то есть он, грешный, что кто-то из них быстро сходит с ума.

«Настоящая революция», «Вещество Веры», порошок. Все будут верить во все — такое могучее средство теперь в руках ее мужа, Вадима Сергеевича.

Нет, он не хочет повредить церкви, может, даже наоборот, планирует этим помочь или, во всяком случае, не дать это оружие в руки различных сектантов... Но в том и был страх Галины Антоновны, что супруг даже и с лучшими, добрыми планами, вдруг может стать похожим на какого-нибудь исторического злодея, инквизитора и его «военная операция», самоуверенный «десант Веры», громко провалится, навлечет проклятия.

Диск с записью этой беседы — «Сумеров. 4 августа, 14 часов 10 минут. Дома. Жена и священник» — Григорий Рейнин ставил на полку в большом раздражении. Исповедовалась жена Сумерова очень быстро, сбивчиво.

13

Но немногим больше понял из этого разговора и сам отец Мефодий. Еще в Суриковском училище он однажды понял, что его картины ему самому не понравятся никогда. Друзья пристроили его в иконописную мастерскую, тогда много храмов восстанавливалось, строилось, работы было — на годы вперед. И нельзя было сказать в духе документальных фильмов, рисующих быстрыми штрихами «пути прихода современного человека в церковь», что, в отличие от прежних картин, его иконы ему нравились, были лучше...

К следующему шагу подтолкнул Аркадий, с которым они работали вместе больше полугода. Тот много рассказывал о Феофане Греке, водил показать иконы Благовещенского собора, а потом уговорил съездить на день в Новгород, увидеть Феофановы росписи храма Спаса Преображения.

Картина мира, мировой истории, ниспадающая фресками Феофана с купола, с верхнего светового барабана, со сводов и люнетов, конечно, поразит любого внимательного зрителя, но... с самого центра купола, из картины Христа Вседержителя — прямо на Мишу Гусева — строительным отвесом упал взгляд, самый строгий из всех когда-либо встречавшихся с его взглядом. Самый неотвратимый, стоящий совершенно вне длинного ряда когда-либо запечатлевшихся на холстах, бумаге, досках или камне, взглядов.

И в довершение впечатлений того дня Михаил краем глаза увидел подошедшую справа сзади тихую парочку. Девушка в белом платочке, устав от долгого задиранья головы, потрясенным шепотом полуспросила: «Да ведь Феофан Грек — он лучше даже Микеланджело! Сильнее потрясает, да?» Именно в тот момент он решил стать священником и уже через полгода был рукоположен во диакона. А незадолго

до получения священнического сана совершил странный маневр: пошел в загс, подал заявление и вполне официально поменял имя Михаил на — Мефодий. Пошли и размножились слухи, что он принял тайный постриг.

В Сумерове отец Мефодий давно чувствовал какую-то неудержимо накапливаемую энергию, сжимавшуюся пружину непонятого замысла. Случай, их познакомивший — гибель на Кавказе лейтенанта Сергея Сумерова, уже двенадцать лет лежал густой аморфной массой, так и не улегшейся в усиленно вырабатываемые сегодня формы, «подходы к изучению недавней истории страны».

Их бригада внутренних войск медленно выдвигалась из Моздока на Ведено. Почти все руководство, вплоть до ротных офицеров, вызвали на какое-то совещание в Ставрополь, а потом отправили догонять своих на вертолетах. И вроде на Сергеевой вертушке было пять полковников из Москвы, которых надо было прокатить по касательной этой всероссийской «горячей точки». Копия записи в журнале командира борта ложилась одним из листков в папку представления к наградам — «Участие в боевых действиях». И после этого поступление продовольственно-вещевого, денежного довольствия бригады, прямо зависевшее от московских полковников, становилось почти удовлетворительным. Среди мотивов к устранению пятерых штабистов могли быть и вполне коммерческие причины, ведь, по сути, они являлись крупными бизнесменами, а даже и в штабах «конкуренцию никто не отменял»... Одно было известно точно: ни одного выстрела из какого-либо оружия перед взрывом и крушением вертолета произведено не было. На том же борту был и зять генерала Маникеева: старшие когда-то давно пришли в ГУВД из внутренних войск, и второе поколение их «династий» начинало службу в одной бригаде. Всем бывшим на борту дали одним списком «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, но... Сумеров получать в торжественной обстановке награду сына не явился, а потом подал и рапорт: «...состоять в одном списке с... считаю для себя недопустимым...»

На общих поминках Маникеев признался: «Задал ты мне, Вадим, задачку!» — но так и не пришел к определенному мнению.

— Конечно, у твоего Сереги был уже третьей степени, и эти козлы просто поленились заглянуть в формуляр. Но у моего-то — нет... А Гришка был же мне как сын. И я считаю — достоин, коли жизнь уже отдал. А смотреть в эти списки — это можно совсем потерять веру и в награды Отечества, и... вообще.

Сумеров тогда только пил да кивал: «Да, можно». «Да, потерять». «Да, веру. Да, вообще...»

При всей своей внутренней энергии Сумеров как тип, как «один из...» периодически вызывал у отца Мефодия еще и определенный поток тяжелых, грустных и горьких мыслей, и сегодняшнее признание Галины Антоновны усиленно напомнило о них. Сумеров представлялся ему — где-то в первых рядах того «железного потока» (забытый роман Серафимовича не вспомнился при этом и отцу Мефодию, но и так было понятно), в рядах железного потока людей, марширующих отсюда, может, даже из сердцевины девятнадцатого века, и потрясающего простых людей (отец Мефодий видел себя в их толпе — простых, потрясенных зрителей на обочине этого железного парада).

И какой же мощный дар силы, энергии! (а в том, что дар этот — часть какого-то божеского плана, он, «правильный» христианин, сомневаться не мог). Но и какая же при этом попасть безверия!

Вот «они» (тут мысль отца Мефодия воспаряла от Сумерова ко всем сегодняшним персонажам) признали «важность православия», стоят рядом в храмах, ува-

жительно беседуют, «искренне признают огромную позитивную роль в истории страны», строят часовни, но сколько же при этом глубинного, изначального фундаментального материализма... дохристианства, словно сейчас не 2011-й, а 33-й год от Рождества, и все надо начинать...

И встретил Сумеров сейчас какого-то юношу (Галина Антоновна неверно представляла себе возраст Игната Жданова) с гипнотическим или каким-то иным даром и решил свою материалистическую картину мира довести до конца, до итога. Что и Вера — поток лучей или молекул. Маркса с Дарвином ублажить...

И вот Сумеров сейчас найдет всему объяснение... И как же характерно, что там, в своей лаборатории, когда у его сотрудников была «рабочая гипотеза» о неких лучах, Излучении Веры, Сумеров был уверен, что все же это — поток молекул. Молекула — лучше луча, волны. Чего нельзя взвесить — того просто нет! И они там у себя, кажется, сконденсировали это «Вещество Веры» — порошок, порох, прах... Всё ведь «однокоренные слова» (русский язык в Духовной академии преподавался достойно).

Такие уж они. Такой уж ныне пошел «патриарх Ной»: сто лет работать будет, ковчег срубит, зверей соберет, загонит, семейство погрузит, но... люк за собой — закроет сам! *«Все под контролем!»* (Тысячи лет всех комментаторов библейских текстов потрясала и умиляла деталь: Господь собственноручно закрыл люк Ковчега за Ноем.) И поплывет, на досуге прикидывая удобную версию про Глобальное Потепление, растаявшие льды, уровень воды и этот точный... «прогноз погоды на столетие», выданный ему...

Так что и от кого услышал Вадим Сумеров? И как тут подступиться? — отец Мефодий тяжело вздыхал над своим торопливым обещанием Галине Антоновне.

14

В день «важного задания», совместного похода с главредом к банкиру, Альбина проснулась около семи утра в малознакомой квартире своего тоже не очень хорошо знакомого Александра. С чувством глубокой ответственности это раннее пробуждение связано не было. Хотя одной из первых мыслей ее «загрузившегося компьютера» и была: «Да! Сегодня же в три часа мы с главным идем к новому хозяину», но пробудила ее голая физиология.

А почему вчера из клуба она поехала именно с Александром — это можно будет вспомнить потом, это еще всплывет. Важнее было другое: ...так-так-так, какие-то крики за соседним столиком, потом какая-то неразбериха в их компании, визги, все поднимаются, взмахи рук и... бзынь! — в унисон с воспоминанием что-то потянуло, как присоской, на левой скуле, под глазом, потом это тянущее обернулось покалыванием, легкой болью и вспышкой: «Боже! Синяк!»

Она подскочила к зеркалу — темно, дернула шторы. Синяк, возможно, будет. А может, и нет, разъезжались из клуба они после трех, сейчас почти семь, еще не поздно приложить компресс. Она метнулась в кухню. Батарейки ее полностью перезарядились, готовность ко всему — Номер Один, за исключением, ах да... В холодильнике — стерильная пустота, единственная пачка дрожжей в дверце — тема разве что для будущей шутки: «Так ты, Саша, готовишь или гонишь?» В морозильнике — две упаковкипельменей и все. Даже ванночки для льда сухи, как в пустыне. Она потянулась к крану, и... вот это уж настоящая подлянка: шипение вместо воды.

Полотенце на пустой кухне, однако, нашлось, и Альбина, совсем не думая, что проявляет какую-то гениальную изобретательность, совершенно машинально под-

вязала под левый глаз три ледяных пельменя и потом проверила кухню повнимательней. Нетрудно это было, из всего имеющего хоть какое-то отношение к еде или питью была только пластиковая бутылка кока-колы, двухлитровая. Нет, этикетка уверяла, что там еще ноль двадцать пять литра — бесплатно. Но на этом действительно все. Деньги?! Да, деньги! Альбина бросилась в прихожую. Совершенно непонятно для чего, вспомнилось, что Александр ее называл холлом. Нет — паршивая прихожая! Запасная связка ключей от Александровой квартиры лежала под зеркалом. Спасибо, хоть это не забыл.

А вот и настоящая подлянка, в кошельке — только проездная карта. Из сумочки натряслось семьдесят копеек. И Альбина, как была — а было на ней только кухонное полотенце с подвязанным пельменным компрессом, — села на пол и горестно задумалась. Тысяч семь-восемь у нее вчера было точно. В клуб ее — зазвали (расходы исключались), ну, может, за такси платила она... это еще надо припомнить, но именно этот момент, полезный для восстановления всей цепочки упорно ускользал, не натыкался на вилы ее пронзительных усилий. В общем — одна, совершенно без денег, а к сильной жажде вдруг резким всплеском добавился и голод. Хоть это понятно: следствие вчерашних Андрюхиных самокруток с дурью. «Пробивает на жрачку».

Третий раз освежая свой компресс, меняя пельмени, она теперь подумала о них как о еде. Кастрюля-то была, но ни капли воды! Еще один круг по Александровому логовищу, и на кухню она вернулась с видом Архимеда, которому за важностью открытия было недосуг даже вспоминать свое кодовое «Эврика!». Быстро набулькала в кастрюльку кока-колы, включила плиту. Через две минуты, подняв крышку, она, ничтоже сумняшеся, бросила в кипящую багровую лаву щепотку соли и затем посыпала пельмени.

15

Не сразу, но... — разговор-то был долгий — Геннадий Исидорович понял, что использование молодых красивых журналисток в «формате Луизы из „Русского Щелкопера“» — в ближайший круг интересов их нового хозяина не входит. Но все ж, надо признать, план коллеги, главреда Семена, был полезен и к тому ж имел в своей блок-схеме ответвление и на случай неоявления секс-интереса.

— Альбина Терлецкая подготовит интервью с вами, Вадим Сергеевич, включая по возможности некоторые ваши программные заявления, ваше видение современной ситуации... Где ситуации? В обществе, в банковской, наверно, системе... в политике, в СМИ. Конечно, подключатся и лучшие силы всей редакции, и мы обязательно завизируем у вас все, вплоть до буквы и запятой. Поверьте, мы постараемся.

— Благодарю, — взял протянутый журнал. — Интересно-интересно. А вы... конечно же, в курсе, что... — несколько опережающий кивок Геннадия Исидоровича, — что с этого года в школах проводится проверка на полиграфах. «Принимали ли вы наркотики?» Пока учащиеся направляются на пэ-эф-э, психофизиологическую экспертизу, только по желанию, но как сами понимаете...

— ...Непожелавших — в пионеры не примут! — вдруг вступила Терлецкая. Неожиданно для редактора и в регистре юмора, совсем не свойственного «Российскому фокусу».

— Да-да, Вадим Сергеевич! — Главред сокрушенно скривил лицо. — Это, конечно же, важная проблема... репортажи... шприцы в школьных туалетах... это все ужасно.

— А вы хорошо представляете процедуру прохождения ПФЭ на полиграфах?
— Полиграфах? — опять подхватила шарик Терлецкая. Геннадий Исидорович почувствовал себя сеткой на пинг-понговом столе. — Это, как их, детекторы лжи? Да, было у нас журналистское расследование Машкино, Марии Кондратенко то есть. Она попросила и меня сходить за компанию. Боялась?! Да вы что? Наоборот, это ж такая скукотища, страшная! Там у них, в сеть парфюмерных бутиков «Ордынка-мезальянс», набирали новых сотрудниц, девчонок тридцать примерно, и закидывали их этими тестами. «Случалось ли вам когда-либо воровать?» «Пробовали ли вы выносить продукты из супермаркетов, не оплатив их?» «Употребляли ли вы когда-нибудь наркотики?» «Среди ваших знакомых или родственников есть люди, привлекавшиеся к уголовной ответственности?»

И мы с Машкой, представившись кандидатками, должны были со всеми проходить эти детекторы, чтоб потом расписать, очень ли это неприятно, когда тебя шерстят, очень ли унижительно или, наоборот, способствует лучшему самопознанию? Обвешали нас датчиками, липучками... Так вы представьте, Машку поймали на наркотиках — нормально, да?! А она ведь в жизни их не пробовала. Ни сном ни духом!

Геннадий Исидорович под этим потоком чепухи несколько раз в ужасе вжимал голову в плечи, но, взглядывая на Сумерова и с удивлением убеждаясь в его полнейшем и доброжелательном интересе, принимался кивать.

— Так, наверное, твоя Маша мучилась совестью, помнила ту затяжку, в клубе?.. — протянул Сумеров с пародией на назидательность.

— Да там и ползатяжки не... Да там в тот же день была и полная ржачка! На детекторной экспертизе ее еще спросили, — наверно, уже по приколу, или там есть типа отвлекающие вопросы: «Вы натуральная блондинка?» И она, представьте, бормочет: «Натуральная!» И тут детектор написал: «Правда!» Машка — природная брюнетка, стопроцентная, ну примерно как я, только у нее не выются, совсем. Она до этого красилась под блондинку, но как раз к тому моменту... тогда еще Игната арестовали, — Вадим Сумеров и здесь сохранил полную благожелательную безмятежность, словно сегодня впервые слышал это имя, — и она немного бросила за собой следить, ее черные отросли уже сантиметра на три от корней. Заметно — не то слово! С десяти шагов видать. Как шлагбаум.

Сквозь свой вроде бы и натуральный, но какой-то размеренный, дозируемый смех Вадим Сергеевич выкрикнул: «Три зеленых!» — и в тот же миг распахнулась дверь кабинета, секретарша внесла три чашки, похожие на перевернутые колокола с тянущимися веревками от «языков» — чайных пакетиков. Видно, селектор у Сумерова чувствительный, и можно говорить, не поворачиваясь к микрофону.

Альбине было, возможно, и наплевать на субординацию, но о минимальной вежливости в отношении главного редактора вспомнил — наконец! — сам Вадим Сергеевич.

— А о вашем, Геннадий Исидорович, бывшем сотруднике Игнате... м-м-м, Жданове, — да-да. Что бы вы о нем могли рассказать?

— Игнат Иванович Жданов в нашей редакции работал с... 1998 года, по... да, по март прошлого года. Ранее был известен как поэт. Ну, не очень известен... в общем, публиковался как поэт, эссеист, переводчик.

— Переводчик?! А он что, каким-то языком иностранным владеет?

— Не скажу точно. Но переводчик в этом случае, боюсь, не означает знания языка. Поэзию, знаете ли, была м-м-м, традиция... переводили с подстрочников.

Зачитывая эту «справку» как заведенный, Геннадий Исидорович тревожно прислушивался к растущему внутри, как опухоль, ощущению абсурда. Обычная ведь

процедура (в нашу эпоху) смены хозяина журнала! Вон Семен с Луизой, как серфингисты, перепархивают с волны на волну. Но почему же у него все не так? Какой тайный его, Геннадия Лодкина, изъясн превращает все вокруг в чистое сумасшествие? Пояснить? И зачем вообще он и я сидим здесь? Что ему до какого-то... Жданова?

— Ну, а непосредственно в вашем журнале чем еще проявился Игнат, кроме влюбления в себя журналистки Марии Кондратенко?

И опять подачу приняла Альбина, и втягивающий голову редактор снова почувствовал себя сеткой на пинг-понговом столе.

— ...Он был прямо настоящий... м-м-м... он был настоящее короткое замыкание!

— ???

— И он сам всем верил, и ему все верили... все, кому интересно было с ним по душам поговорить, и все это так быстро всегда замыкалось... ну вы понимаете...

Обида и недоумение Геннадия Исидоровича росли, соревнуясь. «Все, кому интересно было с ним по душам поговорить» — она это произнесла, сделав четверть оборота в его сторону. Будто и вправду главный редактор должен был говорить по душам с каждым... их полтора десятка в редакции и еще две сотни под дверьми — кандидатов, мечтающих. И зачем он потащил сюда эту шалаву? Эх, легко Семену с его вечной легковесной болтливостью.

— Вы говорите, Альбина, все верили ему. А вы сами?

— Я сказала, все верили, кто слушал, вслушивался.

— А...

— А я особо не вслушивалась. Зачем? Я его у Машки Кондратенко отбивать не собиралась!

«Бред! Ну, полный же бред! Если бы кто сейчас подслушал, о чем в России говорят председатели правления банков, покупающие солидные журналы!!» — Геннадий Исидорович часто чувствовал некую собирательную «Европу», как бы наблюдающую за ним.

— Уважаемый Геннадий Исидорович. Скажите честно, в генезисе названия журнала, ну, «российский» — вроде понятно... а «фокус» — имеет оптическое... или, может... цирковое значение?

Покраснев, как от пощечины, и поперхнувшись чаем, главный редактор отвечал несколько прерывисто:

— Ну, если вы, Вадим Сергеевич, так ставите вопрос... при таком выборе... то... скорее... да, оптическое.

— А вы напрасно обижаетесь, ведь во... втором значении «Фокуса» есть, согласитесь, какая-то внезапность, взрывчик, неожиданность, в общем. Вот и Станиславский, о наследии которого ваш журнал так позаботился в прошлом номере, он ведь, кажется, спрашивал своих: «Чем удивлять будем?» Я вот подумал-подумал и ваших смежников, газету «Тема», закрыл. Как раз поэтому. Неожиданности нет никакой. Точнее, она у них была, но... заемная. Или даже краденая. Вы уж извините, я ведь, знаете, служил по ведомству внутренних дел, поэтому поясню по-простому, не по-ученому, не по словам из вашей профессии.

— ...Одни говорят, что вы купили Издательский дом просто ради недвижимости, но другие уже не верят, ищут более дальние умыслы. Ведь вы, Вадим Сергеевич, могли взять здание, но саму газету не закрывать, подыскав новых инвесторов, даже продать ее. Коллектив там, конечно, разношерстный, но есть и здоровое ядро, газета печатается с 1989 года...

— Вот я... это ядро... и задулил в мировое пространство...

Увидев такой мстительный проблеск в глазах хозяина, Геннадий Исидорович

даже испугался, испытал тянущее книзу ощущение, подобно тому, когда однажды близ его застрявшего в пробке «мерседеса» началась жестокая драка: распахнутые зверские глаза, потные лбы, летающие кулаки и кровь...

— Я желаю, Геннадий Исидорович, чтобы буквально со следующего номера наш журнал занял другую позицию. Он должен наполниться материалами, пробуждающую у читателя Веру.

— Но у нас и так как раз с этого года публиковалось много материалов православной тематики. О храмах, о священниках, открывающих приюты... вот еще — епархия помогает наркозависимым, вот: «Современная молодежь и церковь». — Главный редактор начал, набирая уверенность, раскрывать журналы из принесенной пачки и раскладывать веер вокруг сумеровской чашки зеленого чая.

— Хорошо-хорошо, Геннадий Исидорович. Только я имел в виду Веру не в узко-конфессиональном смысле.

— Вы про четыре российских исторических религии? Так вот же у нас беседа с муллой Абдубакиром, а здесь, гляньте, о Далай-ламе большая подборка.

— А если посмотреть шире? Ведь у нас сейчас такое неверие и уныние идут об руку — тотальные. Люди не верят правительству, банкам, судьям, партиям, телеканалам, госкомпаниям, даже любимым киноартистам (вон перестали циркониевые браслеты покупать!), нацпроектам, депутатам, друг другу, даже себе самим. И задумайтесь, — если это такие разные, порой противостоящие друг другу организации, понятия, а люди не верят им — Всем, тогда, может, в другом, в нехватке Веры — вообще? Вы как думаете Геннадий Исидорович?

— Как-то странно вы ставите вопрос. Веры «вообще» не бывает. К перечисленным вами организациям, социальным объектам и персоналиям веры нет... порозненно. Партии, нацпроекты и банки утрачивали веру каждый сам по себе. — Тут Геннадий Исидорович почувствовал, что ступает на зыбкую почву.

— Ой ли! А как же известная заразительность чувств? Человек полюбил или поверил кому-то, чему-то и — на радостях готов полюбить, поверить всему окружающему, всему миру... Или, наоборот, возненавидел кого-то и весь мир заодно.

Решив, что с ним просто играют в какую-то чепуху, главред переложил курс к знакомой гавани:

— Вадим Сергеевич, но вы же наверняка хотите, чтобы «Российский фокус» был... — тут он поправился, — оставался еще и читаемым, популярным журналом, так? Значит, он должен отражать некие общественные реалии. И если, например, население не верит партии... ну какой-то из партий, — торопливо уточнил Геннадий Исидорович, — а мы начнем пропагандировать, утверждать, что эта, допустим, партия достойна только всяческой веры, — мы и свою популярность потеряем, да и той... партии вряд ли особо поможем.

Закрывая и передавая журналы, Сумеров чуть склонился в сторону Альбины и картинно потянул носом воздух:

— М-м-м, Альбина, ваша аура... это «Живанши», я угадал?

— Почти, — она потянула затекшим плечом, поправила бретельку, — это «Хьюго Босс».

— А кому это вы перед этим отвечали на эсэмэски?

— Сестре, — гордо выпрямилась Альбина и даже протянула телефон в сторону Сумерова...

— А кстати, еще о запахах. Некоторые журналы, насколько мне известно, вкладывают ароматные полоски духов...

— Ну да. «Космополитен» так часто делает и «Караван». А мы, по-моему, только один раз, когда с «Лореалем».

— И как же вы это все проделали? Вставили эти пакетики.

— Так это же еще на этапе типографии делается. Нам на отдел рекламы пришли от фирмы коробки с пакетиками, мы их полиграфистам переправили, и все. А нет!.. Еще Курдюмов туда выезжал, просто присмотреть, чтобы не растащили и чтоб вкладывали поаккуратнее, это же ручная операция.

— А вы, Альбиночка, эти пахучие пакетики, — почти вкрадчиво, — в каждый экземпляр, в весь тираж вкладывали?

Альбина снова удивилась, но теперь более конструктивно, пояснив Сумерову:

— Так в весь тираж вкладывать и не нужно! У нас же, как положено, есть своя ВИП-рассылка и целевая рассылка!

— ВИП?

— Ну да. У каждого нормального журнала есть такая картотека: адреса, телефоны всяких ВИПов, организаций начиная с Администрации президента, министерств, Госдумы, «Лукойлов» всяких. Туда, конечно, бесплатно и рассылают.

Сумеров и не скрывал своего запредельного интереса, радостно и как-то даже ошеломленно повторяя: «И действительно, зачем в каждый?! Есть же ВИП-рассылка!» Пару раз он глянул на Геннадия Исидоровича, — тот вежливо кивал, чувствуя необходимость подтвердить информацию, неожиданно оказавшуюся для хозяина столь важной.

— Альбиночка, завтра же занесите мне вашу ВИП-картотеку. Почитаем, может, — поправим, может, — пополним.

— Ладно. Только я считаю, зря мы это с «Лореалем» тогда затевали. Да, в общем, так ведь и вышло, что зря, да, Геннадий Исидорович? Надо было бы с «Живанши».

— А ты, Альбиночка, значит, у нас специалист по парфюмам? — игриво вильнул Сумеров.

— А вы, Вадим Сергеич, не похожи что-то на милиционера, даже бывшего.

— А чем же, Альбиночка, я не похож? — играя, изображая обиду, как с детьми, протянул Сумеров. Поднявшись, отошел, почти бросился к одному из шкафов, вытащил милицейскую генеральскую фуражку, надел, вернулся за стол и теперь, так же утрированно играя в позирование, повернулся к ней левым, потом правым профилем и еще раз... анфас. И Альбина мгновенно поняла эту игру, поддержала, на каждый сумеровский поворот делаая своим фотоаппаратом в мобильнике снимки, как в папках уголовных дел.

— Ну... я это про ваши слова сегодня: «генезис», цитату из Станиславского...

— Так за то и уволили, Альбиночка, что не похож, что книжки читал. Возможно, для обозначенных перемен в тематике журнала потребуются и определенные кадровые перестановки. И начать я попробую со следующего. Вам, Альбина Терлецкая, я предлагаю занять должность заместителя главного редактора.

Даже и после всех сегодняшних зигзагов, пощечин Геннадию Исидоровичу сначала показалось, что он просто ослышался.

— Надеюсь, я не очень вас поразил этим кадровым решением? Да ведь вы и сами сегодня охарактеризовали Альбину Викторовну как самого лучшего вашего журналиста.

«Я?! Что, я сам и завязал этот узел?!» — бил в голову главного редактора тяжелый колокол.

— Ой, да не надо меня замглавредом! — Искренность стога Альбины сомнений не вызывала.

Геннадий Исидорович мысленно поблагодарил ее за лояльность, но Альбина в тот момент просто ярко, до судороги омерзения представила себя сидящей в ре-

дакции до одиннадцати каждый вечер! Над этими исчерканными журнальными гранками... она сидит, головой склоняясь до самого тына... рядом с лысиной Геннадия Исидоровича, старушечьим пучком Софьи Генриховны... б-р-р!

<...>

18

Подполковник Григорий Рейнин любил, ценил люфты самостоятельности, периоды между докладами начальству. Да, оно, начальство, верит в серьезность и перспективность идеи прошупать Сумерова, но пока у него нет своего точного мнения, ведь оно — это не кто-нибудь, а самолично генерал Маникеев. Можно представить его занятость! Так что пока — мнение по этому вопросу генерала Маникеева, всего управления, можно сказать — всего МВД, это его, Рейнина мнение. Как, собственно, и должно: дежурный по полку, ночью — командир полка. Рейнин, как и многие у них, прошел этап службы во внутренних войсках.

Маникеев давал добро на вполне, в общем, культурную операцию, на две микрокамеры: в гостиной и в кабинете Сумерова. Спальню, кухню, детскую комнату их дочери — не трогать.

— Товарищ генерал. Он учредил услугу: перевод денежных средств. Вроде обычное сегодня дело, за процент, а где за полтора гоняют деньги: Украина, Казахстан, Прибалтика. Но... Сумеров назначил, там преysкурant длинный, за один вид операций — четырнадцать процентов! Бред полнейший! Ладно, это могла быть такая личная, домашняя шутка типа: я своей жене назначил бы ежедневный пропуск на кухню — тысяча долларов. Такой услугой с таким процентом никто, конечно, пользоваться не будет, не должен. Но у Сумерова нарисовался какой-то новый финансовый советник...

— Фамилия!

— Жданов Игнат Иванович. Он с ним на переговорах бывает постоянно, весь май–июль. И нашли же они таких клиентов, товарищ генерал, и не в желтом доме, а вполне солидные фирмы. Вот: фирма «Гастингс» — это девять гостиниц, еще один маргаритиновый холдинг, четверо застройщиков московских и один питерский, несколько страховых компаний, две крупные, включая «Декаданс-страхование». Но вот этот случай особенно хорош, посмотрите.

Маникеев несколько брезгливо разглядывал выписку с колоннами цифр:

— Ну и?.. ты давай поясняй, не тяни, что ты вечно!

И недонасладившийся паузой подполковник Рейнин добрал свою законную долю внимания, удивления, медленно, со старательной артикуляцией и по возможности без эмоций расписал генералу Маникееву сюжет поистине безумный.

Два бизнесмена, некто Мохов и Гальперин, оба — классический случай! — обретавшиеся в Москве, вдруг начали перебрасывать друг другу через сумеровский Инвесткредобанк некую сумму, практически это были одни и те же деньги, но таявшие с каждой транзакцией на четырнадцать процентов. Вначале это было двести тридцать восемь миллионов рублей. И так вот идиотически упорно, словно Сумеров со своим Ждановым в какой-то момент убедили их, что Инвесткредобанк — вообще единственный банк на территории всей России и СНГ, эти господа играли в свой странный пинг-понг. Три недели назад, 29 июля, Гальперин последний раз послал Мохову сорок семь тысяч сто шестьдесят пять рублей... — законная пауза...

— А может, это обналичка у них? Просто схему такую они придумали.

Это генерал Маникеев упомянул один хорошо известный всероссийский вид спорта. Бег в мешках от налогов. Переводишь на специальную фирму-однодневку безналичный платеж, с назначением... да хоть «Закупка замороженной свинины для Саудовской Аравии», и обратно тебе полный кейс денежных пачек. Нет, чаще — сумка, а кейсы, «дипломаты» — это больше в фильмах.

— Именно эту версию я... мы и проверяли три месяца. Помните, вы давали добро на задействование отдела Мартынова? Так вот — ничего не обнаружено. И по Мохову-Гальперину, и по другим эпизодам. Не обналичка... Но знаете, почему это их финансовое сообщество не всполошилось? Такого объема операции по Москве заметны. И фирмы не последние, так что на двух свихнувшихся внимание обратили. Но... все же решили, что — обналичка, что Мохов с Гальпериним...

— Так! Твоя версия.

— Я предполагаю... он собирает пул.

В понимании беседовавших «пул» означало, что Сумеров предъявил определенной группе состоятельных и потенциально заинтересованных людей какой-то канал наверх или человека оттуда, в общем, реальную возможность «выхода на...», и сейчас собирает взносы и запросы... Но термины «шапка по кругу», «пустить шапку» тоже оказались давно потесненными, так что и в описании самого процесса, действия нужно, принято ограничиться: «собирает пул».

Да и сам генерал Маникеев сейчас слушал, отвечал, размышлял ведь не от себя же лично, а от... пула работников органов, где, как известно «бывших не бывает» и «делиться надо».

— Ладно, Григорий. Теперь можешь подключать не только отдел Мартынова, но и... ребят Витюкова. На постоянной основе, можешь сослаться, сказать генерал Маникеев дал добро. Да... и Геласова тоже пока замкнем на тебя. Ты у нас вишь какой аналитик! И знаешь, материалы прослушки из его банка и что там в его квартире снимали занеси-ка послезавтра мне в кабинет. Сейчас на чем это у тебя?

— На дисках... лазерных.

<...>

20

— Галя! Что ты еще наболтала отцу Мефодию? Мы сегодня встречались с ним. Так что свое обещание поговорить он сдержал... в отличие от...

Точным, за последние полгода-год сформировавшимся признаком крайней усталости, раздражения Сумерова было то, что он начал это, не дожидаясь ухода из-за стола дочери.

— Вадим, у меня есть все основания опасаться за тебя и за нас всех.

— Боишься стать женой... «Великого инквизитора»? Или вдовой?..

Сумеров внутренне усмехнулся самому сочетанию слов «жена инквизитора», а Галина Антоновна, оглянувшись на дочь, вдруг вспомнила, что примерно на этом же возрасте Сергея, старшего, муж сменил домашнюю тактику: к нежности, всеобщей заботе стал добавлять вот это самое... «Пусть начинают готовиться, узнавать жизнь, со всеми ее...» Мелькнула какой-то пролетевшей страховидной птицей мысль, что вот и второй светлый период ее жизни заканчивается.

— Пока Володя Маникеев там на своем посту, я могу не опасаться даже бывших своих коллег.

— Пап, а я позавчера вино пила!

— С кем? Где? — Сумеров спросил механически, еще будто и не выхватив из дочкиной фразы главного: вино.

— Одна. Вот здесь... В-о-он там, — махнула на кресло за спиной, но, быстро сжалившись над отцом, пояснила: — Одну чайную ложечку.

Теплая волна нежности качнула Вадима Сергеевича. Он разгадал этот маневр птахи, уводящей опасность от птенцов, и мысленно хмыкнул: тут, наоборот, птенец уводил от матери.

— Мне это для опыта было нужно, как в школе. У нас был урок: «Брак в Кане Галилейской». — Подскачив, метнулась к шкафу и положила, отодвинув отцовскую тарелку, тяжелый том. Раскрыла на заложенной каким-то зеленым стеблем главе и, вовлекая отца в диспут, не оконченный позавчера, зачитала тот же параграф и точно с той же внятной интонацией школьного диктанта: — Но почему Христос не произвел вина без воды? Это он сделал, по мысли Иоанна Златоуста... чтобы черпавшие воду были свидетелями и чтобы оно... нисколько не казалось призраком. — Захлопнула и, приглашая класс «к обсуждению», вызвала: — Ну и что ты думаешь, папочка? Ты согласен со Златоустом?

— Я думаю, доча... ой, извиняюсь, Марина Вадимовна, что они там пили чистой галилейскую водицу, но при этом верили, что пьют «лучшее вино».

— И-и у них что, и голова кружилась, точно как от... спиртного, да?

— А ты знаешь, раньше считалось, что вино — это вода плюс дух?

— Дух? — недоверчиво сморщила носик Марина.

— Он самый. Спиритус вини... Ну-ка, Рин, подбери однокоренные к слову «спирт».

— Спирт, спиртное... М-м-м, еще... спирт, спиртыга! — с разгону вспомнила, наверно, из какого-нибудь сериала.

— А «спиритизм»?

— Эт-то когда за столом сидят и духов вызывают? — с прежней недоверчивостью, осторожно ступала Марина.

— Вот-вот-вот! Спирт, спиритус вини, в переводе — «дух вина». В соединении с водой превращает ее в вино.

— А-а. Это как в рекламе соков из порошка: «Просто добавь воды!»

— Да! Только тут наоборот: сначала все же вода, а потом — добавь дух!

И Сумерова просто не могла не поразить какая-то неожиданная схожесть темы дочкиных штудий и той головоломки, что он пытался запустить как «проект»... Вещество Веры.

— Знаешь, Гал, теперь отец Мефодий будет часто, надеюсь, очень часто бывать у нас, в банке. Ты помнишь, у нас рядом, сразу через Большой Версиковский переулок здание, там еще торгашей куча сидела, «нокий», «самсунгов» всяких? Так вот, выкупил я его, дал два дня этой дистрибьюторской шушере на выметание, а дизайнеры с прорабами придут уже завтра. И здание это, оно торцом к нам выходит, а дальше снесено еще в тридцатые годы, представляешь, это в девятнадцатом веке — казармы были Вышнеградского пехотного полка. Там и полковая церква стояла, ее объединили такой пристроечкой с кухней, а в пятидесятые отдали под склад институту. Все. Отец Мефодий определил место, где алтарь был. Камень алтарный эти дундуки, красные энтузиасты, надеюсь, не вытаскивали, но он все равно завтра проверит, и тогда хоть сразу начинай реставрацию. Справок, конечно, надо будет море собрать...

21

Пять месяцев, «испытательный срок» заместителя главного редактора «Российского фокуса» Альбины Терлецкой, протянулись как вечность — так показалось многим, и причин этому было тоже много. Переезд редакции под бок к хозяи-

ну, в какие-то бывшие казармы, был похож не просто на переезд, а на казнь египетскую, тест на выживание. И главное, не было ни малейшей логики: срочно поднять, «как у них там батальон по тревоге поднимают», с привычного места, которое после этого стояло еще три месяца абсолютно пустым! И перебросить, как крепостных, в помещение, где в то время еще проходил ремонт, — вот что было абсолютно непонятно. Готовить выпуски журнала среди электриков, связистов, тянущих провода, это было действительно чистое издевательство. Но все эти пересуды, горькие резюме: «Нет, он просто ломает нас через колено!» — не могли заглушить один неуклонно нарастающий звон — золотого дождя.

Оклады росли неуклонно, хотя тоже — без намека хоть на малейшую логику. То всем подряд, и сразу — на сорок процентов. То сразу же, вслед — одной трети сотрудников еще на пятнадцать процентов вверх: и каких-то закономерностей в том списке, в выделенной трети можно было искать сто лет! Остряки предлагали даже сложную алфавитную версию-алгоритм, но полной подгонки не получалось. А через месяц новый прикол — всем плюс семь тысяч рублей к окладу. То есть уже не проценты, а так, чохом, от главного редактора до корректора: «Всем по семь!» Может, да, звучание фразы ему понравилось, и он, запершись в своем кабинете, напевая, может, даже и пританцовывая... втайне презирая всех их — скромные строчки в штатном расписании, пропел в селектор: «Всем по семь».

— Сейчас же не крепостное время, и большинство из нас, Семен, хоть и имеют хозяина, но это же для нас не какие-то там заоблачные фараоны. Нам, в общем, вполне представимы их цели, образ жизни, — заметив умную, циничную усмешку коллеги, редактора «Русского шелкопера», Геннадий Исидорович внес поправку: — Да, пусть не всегда доступен пониманию уровень комфорта, эти яхты, закрытые клубы на Сардинии, коктейли в Давосе, но... их здешние интересы бизнеса, политики мы, сотрудники, должны же понимать! Если хотим служить осмысленно, а не как древние рабы! Вот. А наш, — кивок наверх, — будто находит какой-то кайф в том, чтобы нас игнорировать, но при этом... осыпать подачками. Оклады в среднем уже в два с половиной раза выросли, два БМВ на нужды редакции, водителей, бензин все оплачивает не глядя. Хозяйственная сторона — грех бы жаловаться, но...

Вот вчера Алишер Курдюмов ему поясняет: вы так резко поменяли дизайн обложки, да еще и новый адрес редакции, номера телефонов сменились, поэтому, извините, рекламный поток в следующем квартале может уменьшиться процентов на тридцать... А он эдак рассеянно: «А-а, рекламодатели? Теряете контакты, контракты?» — и повернулся, пошел, даже не ответив, только метров с пятнадцати, полуобернувшись, бросил ему: «Будет еще вам реклама!»

А новое помещение редакции... И Геннадий Исидорович широким экскурсоводским жестом махнул по кабинету. Раза в три больше прежнего, столь знакомого Семену. Панели не разглядеть, какого дерева, но стол определенно — полированная карельская береза. Кожа кресел... недавно в каком-то олигархическом репортаже Семен видел похожую. В общем — Уровень.

Приглядываясь к новому костюму Геннадия Исидоровича, слушая рассказы об их приключениях, Семен прикидывал: все-таки его сюда Лодкин зазвал, чтобы пожаловаться? Или как следует, от пуза похвастаться своими новыми обстоятельствами?

— Марин Петровна! Два «Мохито»! — И как-то невероятно быстро в дверях показалась секретарша с подносом. Сто лет знакомая Семену Марина Петровна одна оставалась неизменна посередине этого Златого Вавилона.

— Семен, ты и не представляешь, какие деньги сейчас идут, летят, и в руки... — и

кому?! Да я бы и на треть этих, — очертил рукой полкабинета, имея в виду все эти расходы, — запустил бы два еженедельных полноцветных приложения, листов по шестнадцать и, может, еще газету, офсет, тридцать тысяч тиража! И ведь он даже не понимает, кто ему обеспечил все это, его Бизнес. Что если бы мы не построили тогда рынок... демократию, — последнее он произнес с немного падающей интонацией, — сидел бы сейчас он, милицейский пенсионер, на даче, яблоки собирал, варенье с женой крутил.

Возможность ругать шефа, не озираясь и не приглушая голоса — еще один верный признак прочности положения, психологического комфорта.

— Ну а эта?! Как, Ген, мой совет — оправдался? М-м-м, Альбина?

— Ты думаешь, это она нам выбила из Сумерова все эти блага?

— Да про нее уже вся Москва говорит. Такая секс-бомба и заместитель главного редактора в неполные двадцать четыре года. Рекорд, наверное.

— Быть может. По двум пунктам мы, — Семен зафиксировал это «мы», не снабдив ни иронической, ни завистливой пометкой, — действительно дали немалую пищу для всемосковских пересуд. Инвесткредобанк сейчас бурно растет, двадцать семь фирм перевели к нам расчетные счета только за прошлый месяц. И поэтому «Российский фокус» с удвоившимся тиражом и этой... Терлецкой...

— Ну и Сумеров с ней... Да ладно тебе темнить, все уже знают!

— Сема, — почти торжественно, — поверь ты мне! Один его, — кивнул наверх, — хитрый тактический прием я уже разгадал. Его расчет примерно такой: зачем оправдываться, опровергать какую-то версию, надо просто вбросить их еще десятка полтора и... «Пусть говорят». Сейчас ведь и здесь демократия: все версии равны! Думали, допустим: ну, Сумеров журнал поднял, чтобы к выборам стать площадкой для партии. — Точно? — Точно-точно! Сто пудов!.. Но окончательно точно-го ведь ничего не бывает? Да? — Да! И что он это затеял для этого (в смысле журнал для партии) — это лишь наша версия. Вероятность ее, ну, допустим, девяносто процентов!.. А потом — бац! — вброс еще девяти версий, которые, как упоминалось, все меж собой равны. И той исходной остается уже только девять процентов! А девять — это тьфу: шум, блажь, звуковой фон, вонь. «Пусть их».

А для чего он казармы, склады выкупил, редакцию к себе на Большой Версиловский с такими сказочными затратами перебросил? Для чего Терлецкую замом сделал? И для чего из банка в редакцию галерею провел? Глянь, из того окна видно, вон на уровне вторых этажей идет. Тоже чтоб к Альбине бегать? Или ей к нему? Как переход стеклянный над МКАДом, убожество такое! Да ведь одно разрешение префектуры на такое уродство потянет не меньше чем сто восемьдесят тысяч долларов наличными! Я-то цены знаю. А для чего, — тут Геннадий Исидорович перешел на яростный шепот, — а для чего в этом стеклянном переходике все стекла — пуленепробиваемые? И для чего он моего бывшего журналиста Жданова у себя практически под арестом держит? Статьи его передает нам через Альбину, возит его на переговоры. А для чего «Стройгазкомплект», известная организация, имевшая в ВТБ кредитную линию на восемьдесят пять миллионов евро, вдруг за один день, как на пожаре, перебежала в Инвесткредобанк? А пусть себе говорят!..

У Семена давно уже от зависти свело скулы, и он только горестно, сочувствующе кивал.

— Я, Сема, признаться, и сам часто отпускал в редакции разные шуточки для нагнетания, для поддержания общего сатирического тонуса, ну, ты понимаешь!

— Понимаю, помню хорошо, Гена. Отпускал, да?

В хвосте вопроса Семен акцентировал именно прошедшее время, подразумевая: «Ну, а теперь? Отпускаешь?»

— Теперь, веришь ли, просто не выходит из меня ничего подобного. Задавлен как-то. И главное — нагнетать сейчас ничего не нужно! Мы теперь все ходим, как некие сатирические персонажи.

Разговор кончался, и Геннадий Исидорович уже собирался подняться и проводить старого друга Семена до приемной, может, выйти с ним и в коридор, когда в его кабинет без всяких секретарских предупреждений заглянул какой-то охламон с гаечным ключом: «Сидорыч, пощупай, у тебя батареи теплые?!» Главный редактор довольно резво подошел к окну, раздернул занавеси и, как ко лбу ребенка, приложил руку к радиатору: «Да-а... Вроде. Теплые?» Заглянувший подумал немного, крякнул досадливо, подошел и проверил сам.

22

Хоть и хвастался Геннадий Исидорович час тому назад, что «хозяйственная сторона безупречна», на один ее пункт он мог бы пожаловаться.

Своего сослуживца, капитана Семионова, первого следователя по делу Игната Жданова и, соответственно, первую жертву, Сумеров, придя в банк, поставил было начальником хозяйственного отдела, но вскоре понизил. Экс-капитан Семионов не сумел поставить себя с подчиненными, он вообще потерял вкус к любым жизненным соревнованиям.

Семионова безжалостно плюшил комплекс вины. Именно он, «пассивный космонавт», «Гагарин наоборот», первый из официальных и силовых органов столкнулся, авангардом инопланетного вторжения и непростительно упустил их, имея на руках все показания, приметы...

И ведь какого-то запредельного суперлазерного оружия у них не было точно, вся реконструкция их первого преступления говорила: это не какие-то марсианские треножники Герберта Уэллса. Все оказалось проще, но и страшнее, тут и этот Герберт уелся бы. Они просто разведали наши главные слабые места, наши грехи и действуют через них. Они спаивают мужиков, насилуют или даже соблазняют женщин... тоже спаивая. И через двадцать-тридцать лет половина землян окажется их агентурой, полудетьми, полумарсианами. Впрочем, именно на Марсе как источнике угрозы он не настаивал. Семионов в астрономии был не силен, возражения, что поверхность четвертой планеты Солнечной системы сфотографирована вдоль и поперек, ставили его в тупик, охотнее он удовлетворялся формулой «инопланетяне».

Став абсолютным трезвенником, приглашаемых в офисы банка традиционно полупьяных сантехников он приводил в свободную переговорную комнату и, не допуская к фронту работ, сколько удавалось (рекорд — тридцать пять минут), заставлял их выслушивать свою «лекцию о международном (межпланетном) положении». Убеждал бросить пить, тщательно следить за женами и дочерьми. Были вдохновляющие моменты: рабочие, попавшие в этот офис впервые, иногда слушали, даже выкрикивали что-либо солидарное. Но потом все равно разбегались, крутя пальцами у виска, и крутить гаечными ключами Семионову приходилось самому...

Проводив коллегу, Геннадий Исидорович заглянул в бар, где Семионов горячо убеждал в чем-то бармена Рустама. Геннадий Исидорович в костюме «от Бриони» (по прикидке коллеги Семена) попросил третий «Мохито» и стал рассеянно слушать лекцию бывшего следователя и «пассивного космонавта» о сложном межпланетном положении.

Выслушав положенную порцию про «розовато-сиреневых насильников», Геннадий Исидорович немного оживился, лишь когда у Семионова промелькнула пара

фраз непосредственно о Сумерове. Все-таки они служили вместе лет двенадцать. И благодаря крайней наивности этого «Гагарина наоборот» Геннадию Исидоровичу удалось получить некоторое представление о еще одном персонаже из пестрого сумеровского окружения Альберте Нартове и его странном проекте «Красоту спасем мы!». В следующем номере хозяин приказал дать развернутый рассказ-репортаж про то, как этот Нартов, сберегая национальные гены красоты, пытается удерживать в России всяко разных региональных «мисс» и «вице-мисс». Пробует подыскивать им здесь какие-то аналогичные места работы, рекламные агентства, а по сути, просто платит им «пособия за неуезжание», выдает замуж. При всей фантазмагоричности проекта как редактор Геннадий Исидорович признавал, что статья может получиться неплохой, особенно благодаря фотографиям — девицы, надо полагать, первостатейные.

Одну из точных привязок дат воцарения этой «пламенной страсти» мог бы дать и сам Вадим Сумеров. Шестнадцать лет назад, когда их с женой Галиной отношения развалились окончательно, и прежние «Вад» и «Гал» перестали звучать даже в качестве напоминания, эмоционального допинга, и развод наметили на осень, чтобы не портить анкету и не травмировать сына, лучшего в числе трех курсантов военного училища... — тогда и налетел на них ураган по имени Нартов, оказавшийся спасительным. Не только самый давнишний лучший друг Вадима и друг семьи, но и прирожденный философ, дипломат и вместе с тем настоящий библейский пророк по темпераменту, он донес до них почти первозданное понимание счастья, встающего за простым словосочетанием: «Дать жизнь» (кому-то). И с другой стороны, весь первобытный, панический ужас проклятия: «умереть бездетным», оборвать на себе со своей неизбежной... эту чудную мерцающую жемчужную нить, жизнь. Тут и один ребенок в семье — самообман, да еще и обман своей страны — чтоб она только перестала взимать «налог за бездетность». Ваш же сын, Серега — будущий офицер, а конфорки под «горячими точками» страны уже разведены и еще не погашены, и ваш Сергей (Нартов хорошо его знал) прятаться не будет, и случиться может все что угодно. Получается — напророчил, хотя Сумеровы отлично знали, что Нартов любил Сергея как сына и сам ему был вторым после отца.

Давно приговоренный врачами, когда-то объяснившими супругам Нартовым, что их первый ребенок будет и последним и доживет ли он до пятнадцати лет — еще большой вопрос, Альберт, возможно, тогда и получил эту энергию и дар убеждения, определившие его судьбу надолго, скорее всего, до конца (его жизни).

Все дни рождения дочки Марины Вадим и Галина Сумеровы праздновали как второй собственный день рождения. И надо понять, какой оттенок приобрели эти даты, начиная с третьего Маринино дня рождения, когда после гибели Сергея их рыжекудрая «овечка, бяшенька» стала единственным их посланием — будущей Жизни. Чрезвычайный и Полномочный и Единственный Посланник. Такой поворот линии жизни Сумеровых, отчасти напророченный им, все же не сломил Нартова, хотя на тех общих поминках, где Вадим Сергеевич так тяжело поспорил с генералом Маникеевым, он, Альберт Нартов, был едва ли не самым потерянными. Но, добавив горечи, тот кризис не отнял у «генетического стража» энергии, и через некоторое время с той же самой убежденностью, однажды отвечая на полувопрос (полуламентацию) Сумерова о дальнейшем, о Смысле Жизни, он сказал — почти что врезал: «Как, Вадик, тебе дальше жить?! А не выделяваться! — сказано было грубее. — Не эгоистничать! Вырастить потихоньку Марину и выдать ее замуж за священника! Почему за священника? Потому что они как раз не выделяются и не эгоистничают и у каждого по восемь-девять детей! О Боге — отдельный долгий

разговор, но уж Жизни они учат верить — дай Боже как! Служить — Жизни. И тебе, Вадик, не выделываться, вопросов дурацких не задавать, а растить Маринку, учить и воспитывать — еще ведь не всякая сгодится „в матушки“. И если повезет, выдать ее за батюшку — жить дальше, приезжать нянчить внуков, тупо считать: первый, второй третий, четвертый... Чай пить да с зятем разговаривать. О починке крыши, ценах на обувь, о рецептах варенья — обязательно... о засолке огурцов, ну и... „о божественном“ тоже. Можно и о „смысле жизни“... Когда она, жизнь, есть, можно и о ее смысле».

23

Примерно в одно время с лодкинскими признаниями другу-коллеге Семену за бокалом «Мохито» с горестными уподоблениями себя и окружения персонажам сатирической пьесы Игнат Жданов, полулежа на диване и тренькая на гитаре, подошел к сравнению отчасти схожему, но все-таки лежащему совсем в другом жанре.

— Знаешь, Андрюха, мне кажется, если бы о нашей теперешней истории вдруг стали бы снимать голливудский кинофильм, то Сумерова точно играл бы Брюс Уиллис — парик с седоватым ежиком ему бы натянуть, и вперед!

Игнат покосился на стол. В одной поллитровке оставалось грамм сто пятьдесят, другая сверкала пустая. «Убрать бы ее под стол. Пустая бутылка на столе — к покойнику», — подумал он и, сменив аккорд, затянул песню о двух бутылках водки.

— Игнат, а ты эту, Жанну Рябову, тогда — как? Было тогда у вас?

— Честно говоря, не помню.

Забавно само это словосочетание звучало в устах Игната. «Честно говоря», могли он сказать — НЕчестно, когда вот: сказал — и поверил, и — действительно: не помнит. Похоже, энергия необыкновенного дара Жданова подпитывалась откуда-то снизу еще и даром забвения. Наверно, ежечасно извергать фонтан веры, истины, а значит — бесконечно добавлять новые и новые версии картины мира, уподобляясь неким образом Богу, творящему миры из ничего... было б и невозможно Игнату без этого дара забвения. Фонтан, завораживая своей силой, вздымает тугую мощную струю, ставит, подобно строителю, эту колонну воды, возвышающуюся над общим средним «уровнем воды в...», но... высокая колонна сия все же не упирается в космос, создавая там новые солнечные системы, галактики... Вода и запас ее, увы, не бесконечен, падая, возвращается в бассейн, чтобы при случае вновь попасть во входную воронку насоса. Творить и забывать. Вот почему в сказках для всяких чудесных задач, выполняемых героями, равно нужны были Живая и Мертвая вода...

Но внутренняя механика Игната — половина загадки, вторая — судьба принявших дозу его веры. И дочка мособлдепутата Рябова Жанна до сих пор думает, что ее изнасиловали инопланетяне. Тут ведь есть две тонкости: верит, что изнасиловали; верит, что инопланетяне.

И ведь часто бывает (см. гору скандальных и уголовных дел), что первого уровня многие «пострадавшие» дамочки достигают совершенно самостоятельно. Были, положим, какие-то минуты полового сумбура, потом — бац — ссора, отказ жениться... И вот уже, как случается, следователи, судьи верят тому, во что верит «пострадавшая».

Но в случае Рябовой она, как и следователь Семионов, поверила — еще и в пункт два — в инопланетян.

Врачи, осмотрев Жанну, определили, что в ее конкретном случае искусственное прерывание беременности повлечет с вероятностью девяносто пять процентов — бесплодие. Рябов решил: будет рожать. Что делать с ребенком, он решит потом. И пять месяцев тому назад Жанна родила мальчика. Врачи осторожно, но и определенно указывали Рябову на неадекватность дочери. Иногда ей казалось, что те розовато-сиреневые марсиане были добрые спасители человечества от ядерной войны, терроризма, истощения планеты, парникового эффекта и т. д... И спасительная миссия осуществится через дарованного ей ребенка, который вырастет в меньшем случае — просто суперменом, а так, возможно, и самим... В другие периоды, ровно наоборот: марсиане — губители, «их» ребенка она откровенно боялась, убегала, пряталась. В ином случае ей мог бы грозить и психоневрологический стационар, но... отец «решил все вопросы с врачами»: дочь не покинет отцовского загородного поместья. А двое самых уклончивых из тех Айболитов, кто вежливее других держался на консилиумах, получили хорошую работенку на постоянной основе, стали приходить по очереди, наблюдать (слово «больную» запрещалось), беседовать с Жанной. И консультировать ее могущественного отца, по сути, только увеличивая, наращивая его ношу ответственности.

«Светлые периоды» Жанны доставляли проблем, вообще говоря, не меньше. Например — понятно ведь, куда в условиях наших, российских языковых, религиозных и культурных традиций могло привести желание назвать и зарегистрировать ее вскорости спасущего всю планету ребенка — Иисусом, или Христом, или даже двойным именем... — боязно все и произносить-то.

А попытки отговорить, надавить на дочь только ускоряли ее перескок в «темный период».

Эрудированный и «быстрый разумом» Андрей Румянцев, подключившийся к этой ситуации, нашел два компромисса. Выдать загсу и всем прочим версию: «Отец ребенка — испанский бизнесмен (чилийский эмигрант, кубинский студент)», и тогда имя Хесус (Иисус) никого не шокировало бы. Или же отец — болгарин, и тогда Христо (Христос) выглядело бы еще естественней. Допустим, папа — ярый фанат футболиста Христо Стоичкова. Жанна согласилась на Христо...

Андрей Румянцев вникал по заданию Сумерова в «дело №...» особенно тщательно: первый яркий, хорошо зафиксированный пример проявления «феномена Жданова». С Жанной, с «подпавшим влиянию» капитаном Семионовым, а потом и с грозным депутатом Рябовым он беседовал на вполне легальных основаниях, имея мандат от генерала Сумерова — как бы реанимировать «разваленное кем-то дело №...».

Хотя и познакомился он с Жанной по приказу Сумерова, но... влюбился... да-да, наша история подошла и к этому рубежу, — по инициативе и сердечной предрасположенности — целиком собственным.

У Румянцева теперь были возможности и поводы — наблюдать и убеждаться. И в «светлые» периоды, играя со своим Христо, она была просто живая иллюстрация по теме «Наивная гордость, наивная радость». А в «темные» — апофеоз столь же наивных страхов.

Фактически, да и документально, если проследить по датам очных ставок с Игнатом, показаний капитану Семионову и этих ПФЭ — экспертиз на детекторах лжи «Барьер» и «Крис», Жанна и была «первая жертва» игнатовского феномена. И как же потрясающе все теперь сложилось: сейчас в квартире, где все произошло, живет он, Румянцев! Стараясь особо не беречь воспоминания Жданова, в несколько приемов он практически реконструировал ход того кошмарного вечера.

Хотя на Жанну, кроме внушения Игната Жданова, возможно, повлияло и гомерическое количество просмотренных ею с детства фильмов про все эти космические вторженческие дела...

И когда Андрей видел ее, он разрывался — не мог решить: найти все же с помощью Жданова контрсредство. А в том, что яд и противоядие всегда лежат рядом, он не сомневался: химия, алхимия, медицина, пословицы «клин клином», «лечи подобное подобным»... — все говорило об этом. Жданов, наверное, мог «перевнушить», «перемагнитить» ее... или оставить в счастливом, «светлом» периоде (добрые инопланетяне, мадонна, играющая с Христом). Тем более что полное разоблачение фантастической инопланетной версии вплотную придвигало бы вопрос реального изнасилования, определения отцовства Христо — с этим и отец ее не хотел спешить.

24

— Альба! Альба, это я, Лина! Плохо слышно? Это музыка у них в клубе орет, я и в туалетную комнату ушла, и все равно. Номер незнакомый? Да они ж мой телефон забрали, это я тут попросила позвонить. Альба, они говорят, чтобы сегодня я с ними поехала. Я не хочу, Альба. Я боюсь. Какой клуб? Этот, «Броненосец». «Броненосец „Потемкин“», клуб так называется.

— Адрес! Адрес! — выдохнула Альбина.

— А, ага, вот... на салфетках у них написано. Ленинский проспект, дом... Альба, я боюсь!

Имена, выбранные по диковинной фонетической причуде отца, они давно уже переименовали друг для друга: Лин и Альба. Альбине очень понравилось сестренкина придумка, на ее «Альба!» она отзывалась радостно, подписывала эсэмэски: «Твоя Альба». Свой собственный ответ «Лин», из Алины, она искренне считала менее креативным. Но обе клички как-то прижились, и когда редакционная подруга Мария Кондратенко, услышав случайно, засомневалась, что, дескать, похоже на собачью, именно на служебно-овчарочью кличку, Альбина гордо хмыкнула: «Еще журналистка! И не знаешь, что была знаменитая герцогиня Альба, любовница художника Франсиско Гойи! А вот Алинка у меня это знает!»

Один из двух упомянутых Геннадием Исидоровичем БМВ, предоставленных Сумеровым для нужд редакции, вместе с оплачиваемыми им водителями-охранниками был в постоянном Альбинином распоряжении... Через двадцать пять минут влетев в клуб «Броненосец „Потемкин“», она быстро обвела мечущим угрозой взором все углы и столики и, заметив Алину, рванулась вперед. Богатый опыт и несколько сбивчивых фраз сестры по телефону помогли Альбине быстро «вычислить» весь расклад. Ну конечно, подруга, стерва (вспомнила — фотографировала их тогда, возле школы, на фоне «лексуса») школьная, значит, подруга, тварь, сама с кавалером, а еще, дрянь — с приятелем кавалера, которому и пытается сейчас сдать ее дуреху Алинку. Тот второй, приятель, и поднялся ей навстречу, когда Альбина, ни секунды не изменившись взглядом, не изменив летящей походки, сделала предпоследний к ним шаг... А шаг последний, только чуть растянутый и усиленный, оказался просто сильным пинком носком туфельки в пах. И после — еще пара шагов к сестре. Взяла за руку и выдохнула: «Верните ее мобильник!»

Альбина не была тщательно скрываемой по сюжету фильма спецназовкой, каратисткой, дзюдоисткой, Никитой, самбисткой... Несколько ее клубных «сэйшенов», да, заканчивались более-менее выраженными потасовками, в которых она отнюдь не была ловкой киногероиней. И сейчас ее противник не свалился под стол, картинно-широко взмахнув руками, и все могло кончиться очень неприятно. Альбина просто не успела об этом подумать. Но... сзади ее уже догонял водитель-

охранник. По тому, как все двадцать пять минут дороги Альбина скрежетала зубами, он сообразил, что стоит, пожалуй, не глуша мотор, поспешить следом.

Алина, рыдая на ее плече весь путь до дома, уговаривала сестру подняться с ней вместе: «Отец сейчас дома. Альба, ну давай же ему все расскажем!» Альбина думала об этом в машине, потом в лифте... но у дверей их квартиры, смешавшись, поцеловала сестренку, вытерла ее светлой прядкой соленые дорожки под глазами и убежала.

Уже перед самым лифтом удивленно обнаружила салфетку дурацкого клуба по-прежнему у себя в руке: урна была лишь перед подъездной дверью. Так с этой смятой памяткой о выигранном «блицкриге» и спасенной сестренке, с горечью несостоявшегося свидания с отцом она и ввалилась к себе, сбросив туфли, дошла до кухни и надолго замерла над пустым столом. Но постепенно в хоровод мыслей об Алине, отце вошли строчками ее ежедневника планы завтрашнего дня, указания Сумерова, и тут-то она наконец поняла, *что* напоминал ей стилизованный профиль носовой части броненосца на клубной салфетке. Этот самый... таран, гордо торчащий ниже предполагаемой ватерлинии. Видно, корабли эпохи «Потемкина» сохраняли, может, на крайний случай орудие древних времен — таран, бывшее когда-то единственным орудием на греческих триремах Фемистокла. Только к началу двадцатого века тараны боевых кораблей сильно уменьшились: от Буратининового примерно носа до... да-да, до... просто мощного мужского подбородка. Вот-вот, это самое: корабельный профиль на салфетке, теперь она сообразила, был удивительно похож на ее начальника, Вадима Сергеевича Сумерова. Что называется: «мужественный», «волевой», «твердый» подбородок...

Альбину немного позабавило это совмещение, она поднялась, вытащила из вазочки на холодильнике черную гелевую авторучку и, продолжая вспоминать планы-указания на надвигающийся день, разгладила довольно плотную салфетку и пририсовала к броненосному подбородку остальной сумеровский профиль.

25. Роман-донос (продолжение)

Ранее Румянцев уже высказывал подозрение, что Кумихин пишет свой «Дневник-донос» с тонким льстивым расчетом, что тот когда-либо попадет в руки Сумерова. Но и вторая часть, «Роман-донос-2», еще сто семьдесят страниц плотного текста, правда, прореженного двадцатью двумя диаграммами и графиками, не приводит к определенному, окончательному мнению. Это Румянцеву в его догадках помогала давняя неприязнь к своему начальнику отдела, но главный босс должен быть выше этого. И Вадим Сергеевич, как полководец и философ в одном лице, вычленил массу позитивных деталей, положительных моментов в характере, работе Кумихина — из стостраничных на него жалоб и отчетов Румянцева. Ровно и наоборот.

Буквально на трех-четырёх посвященных, информированных сотрудниках держался его Проект, и ошибиться было нельзя. Сумеров радовался, когда его собственные положительные оценки подкреплялись «признаниями сквозь зубы» со стороны антагонистов. Румянцев признавал научную добросовестность Кумихина, но и тот отдавал должное цепкости, интуитивной мощи своего подчиненного. Вниманием, прилежным чтением отчетов Сумеров вроде поощрял их к доносотворчеству, выделяя красным фломастером строчки вроде: «Румянцев, может, и наш Ломоносов, но... прошедший пока со своим рыбным обозом лишь первые пять верст от своих Холмогор»; «Кумихин во сне и видит себя вторым Иваном Павловым, но

в трезвом уме признает себя лаборантом, ведь в его случае подопытная собака важнее академика».

Получив исходное задание на поиск и выделение из ждановского выдоха Вещества, Кумихин довольно быстро сориентировался в нескольких теориях, имевших некоторое отношение к взаимосвязи: «Дыхания и влияния на подсознание».

По самой сначала дальней касательной он прошел «Холотропное дыхание» — эффективный метод самотрансформации и личностного роста, разработанный трансперсональными психологами Станиславом и Кристиной Гроф специально для использования уникального целительного потенциала, исследования возможностей необычных состояний сознания.

Но зато знакомство с масштабной критикой теории «холотропного дыхания», фундаментальный труд «Неврогенная гипервентиляция» (Вейн А. М., Молдован И. В), позволило и Кумихину отбросить три из четырех ложных версий в своей работе. Он прошел по всей цепочке доказательных фактов: холотропное (быстрое, поверхностное) дыхание — гипервентиляция — вымывание из крови CO_2 — рефлекторное сужение сосудов головного мозга — резкое уменьшение количество кислот в крови (респираторное ощелачивание крови или алкалозис) — затруднение перехода кислорода из крови к тканям мозга — эйфорический психоз, вызванный недостаточным кровоснабжением головного мозга, — и конечный результат — «Трансперсональные переживания» (главная приманка Станислава Грофа).

Здесь Кумихин ступал далеко за рамки своей научной специализации, дивясь конечным точкам парадокса: убыстренное дыхание и — кислородное голодание мозга. Но в задаче — выделение «Вещества Веры» — ему помогла устойчивая зависимость *гипервентиляции легких* и *респираторного ощелачивания крови* (алкалозис). Да-да. Именно так избыток кислорода в воздухе под вашим носиком оборачивается кислородным голоданием мозга. Извините — физиология.

Следующий исследовательский шаг Кумихина базировался на открытых публикациях об исследованиях группы ученых из университета Дюка в Северной Каролине, нашедших объяснение действию феромонов.

И здесь Кумихину, исследуя феномены обоняния, довелось проследить изрядный кусок эволюции.

Первым, собственно техническим его новшеством стал Дыханиеприемник, сконструированный Кумихиным на базе капнографа. Этот давно используемый «прибор для измерения и графического отображения содержания углекислоты в воздухе, выдыхаемом пациентом в течение определенного периода времени», не подходил по главным пунктам: заметность и общий медицинский, даже «районно-поликлинический» вид. Некоторое время можно было попросить Жданова подышать в его трубку («Диспансеризация, забота о здоровье, Сумеров приказал»), но целыми днями? Дыханиеприемник Кумихина выглядел как обычный, может, чуть громоздкий микрофон, в который Игнат Жданов должен был наговаривать свои эссе. Прихватывался, конечно, и ненужный комнатный воздух, но эта проблема решалась на следующей стадии, сортировке. Более того, там был встроены и настоящий микрофон, подключенный к рекордеру, выдававшему записи в формате MP3, которые на флеш-картах передавались двум стенографисткам. Жданову в итоге поступал текст, готовый для внесения поправок. Именно в таком формате по всему миру и работают самые успешные писатели, журналисты. А баллоны с закачанным ждановским дыханием передавались на «сортировку». Кстати, издавна именно «сортировкой» на российских спиртзаводах называют процесс выделения из спирта-сырца трех видов примесей:

Эдуард Кумихин придумал использовать в своей работе несколько технологических приемов спиртовых «сортировщиков».

Конечно, весь цикл «сортировки Кумихина» был сложнее спиртового, требовал на определенных стадиях и сжижения газов, в связи с чем в здание Инвесткредобанка регулярно привозились гораздо более демаскирующие Сосуды Дюара. Тут Сумерову пришлось отшучиваться: «Новые технологии отмывки денег» или «Водку охлаждать»... и в пятый раз произнося эти фразы, он чувствовал себя довольно погано.

А ведь Кумихину требовались еще и некоторое оборудование из одного научного центра, занятого ловлей Феромонов, и консультации их специалиста, тоже бывшего ученого, взятого в производство духов и других новомодных парфюмерных изделий с «сексуальными аттрактантами».

Так, постепенно сужая круги научного поиска и весьма симптоматично при этом окунувшись в сферы Алкоголя и Секса, Кумихин приходил к выводу, что заказанное ему «Вещество Веры» — скорее сложная смесь, коктейль, чем вещество с определенной молекулой. Порядочно продвинули его работу консультации в РАМН, подсказавшие, что дело не только в альвеолах легких.

Оказывается, и слизистая оболочка трахеи выделяет такие биологически активные вещества, как пептиды, серотонин, дофамин, норадреналин.

Адреналин и норадреналин в этом контексте вернули Кумихина уже к знакомой по прежним работам его НИИ тематике «Детекции лжи» и работам Леонарда Килера и нашего академика Валерия Алексеевича Варламова, стоящим в основе работы детекторов лжи «Барьер», «Крис», «Риф».

И наконец, премия два миллиона пятьсот тысяч рублей оказалась в руках Эдуарда Кумихина в тот день, когда на дне пробирки заиграли несколько мельчайших капель, немного похожих на ртуть. Но... эта «ртуть» легко растворялась в спирте или ацетоне, а далее, будучи вдыхаемой человеком в процессе восприятия им какой-либо информации, вызывала тот самый «Эффект Жданова», с которого и начались его новейшие приключения.

Результат двух-трехдневной работы с его дыханием, эти «миллиграммы Веры» можно было бы посчитать и «самой дорогой жидкостью в мире», дозы хватало на достижение эффекта у двух-трех человек. Впрочем, не все испытуемые «подпадали влиянию», проникались верой, а примерно восемьдесят (плюс-минус пять) процентов испытуемых, то есть несколько меньше, чем в случае непосредственного общения, разговора с Игнатом Ждановым, девяносто три (плюс-минус два) процента. И что касается информации, воспринимаемой в этот момент и становящейся для испытуемых истиной, тут «Вещество Веры» своим действием намекало на несомненную связь Сознательного и Подсознательного. Отнюдь не все становилось Истиной, или, говоря по-старинному, облекалось в одеяния Веры. Слова, слышимые и читаемые в этот миг, должны были быть примерно теми же словами, что произносил Игнат, выдыхая эту самую нанопорцию «Вещества Веры». То есть своими текстами плюс конденсатом своего чувства (Веры) Жданов являл как бы «проекцию себя»... По сути, сбывшаяся мечта всех пророков, философов, поэтов... весь я не умру, душа в заветной лире....

С научно-практической точки зрения самым важным был тот момент, что это «Вещество Веры» выделялось, отсортировывалось, конденсировалось из дыхания — только Игната Ивановича Жданова. Опыты с образцами, полученными от ста семидесяти двух человек обоих полов, различной расовой, возрастной, профессиональной принадлежности, показали однозначное — Отсутствие Эффекта.

Собственно, поэтому не возникал, даже теоретически, и вопрос о синтезирова-

нии «Вещества Веры». И живо представляемая отцом Мефодием всечеловеческая религиозная катастрофа («все верят во все») не вставала на горизонте как близкая реальность.

Но Вадиму Сумерову было некогда предаваться философским, религиозным, эсхатологическим размышлением. Следующим после крупного премирования сотрудников был секретный Приказ из шести пунктов:

1) Из двух вариантов растворителя для «Вещества Веры» (ацетон/спирт) выбирается спирт. (Кстати, просто по причине того, что сверхчистый спирт в Москве легче достать, чем сверхчистый ацетон.)

2) Исходное «Вещество Веры» из лаборатории в течение трех минут должно передаваться на хранение в сейф в комнате № 12, ключи у Сумерова, Кумихина.

3) Полузгенная Рабогая смесь (1 весовая часть «Вещества Веры» на 550 частей спирта) хранится в сейфе комнаты № 17, ключи у Сумерова, Кумихина, Румянцова, Терлецкой.

4) Экземпляры журнала «Российский фокус» в количестве, указываемом накануне Сумеровым, переносятся в комнату № 17. Где одним или двумя сотрудниками, переписанными в пункте № 3, пропитываются Рабогей смесью и упаковываются в термоусадочную пленку.

5) «Обработанные экземпляры» передаются в Отдел рассылки, но не объединяются с другими номерами, предназначенными для ВИП-рассылки, а остаются в зоне зрения одного из сотрудников, указанных в пункте № 3.

6) Указанный сотрудник, сохраняя естественность поведения, сопровождает работника Отдела доставки до тех пор, пока «Обработанные экземпляры» не будут вручены по указанным адресам.

26

«Господа редакторы» — так мимоходом однажды обозначил редакционный коллектив «Российского фокуса» Вадим Сумеров. Кажется, это было в тот день, когда ему подсунили интернет-пасквиль о «...его подстилке журналистке Терлецкой», который он тогда публично прокомментировал, мимоходом, в своей запоминающейся манере. На господ редакторов теперь почти ежедневно сыпался град противоречивых новостей, «реалий» и слухов. Реалии, внушавшие трепетное уважение, включали в себя не только бурно и пока безостановочно растущие оклады. Мощь Сумерова проявлялась и в скорости освоения комплекса бывших царских казарм. А деспотизм — в полном непонимании и нежелании понять саму специфику редакционной работы. Например, совершенно идиотский, неприемлемый контрольно-пропускной режим, ставивший их поистине в положение крепостных. Возможность оперативно принять своего автора, побеседовать с героями публикаций, источниками информации и новостей — в общем, все, что стоит в основе журнальной жизни, — было ограничено на самый грубый солдафонский манер. Теперь желающий пригласить кого-то в здание редакции должен был оформить заявку за два дня, с указанием ФИО, полных паспортных данных визитера, темы предстоящих переговоров. Плюс на бланке заявки внизу оставался окантованный жирной линией прямоугольник: «Результаты встречи». В общем, всем ясно — маразм.

Эти заявки секретарь Марина Петровна должна была регистрировать, передавать Геннадью Исидоровичу, и только с его визой бланки принимал на рассмотрение начальник охраны Храпов (введенный когда-то в национальное заблуждение строем переднего зубного ряда главного редактора). И если заявок набиралось на

три человека в день, Храпов ворчал: «Просто какой-то проходной двор, а не редакция журнала!» Более того, крайне не приветствовались даже... уходы на обед. Здесь уже (нешуточное дело!) на горизонте вставали Трудовой кодекс, профсоюз (журналисты тут вспомнили вдруг и о своем союзе) и вообще — фундаментальные права человека. Но Сумеров решил проблему — и опять в типичном своем стиле.

В цокольном этаже открыл столовую. Высокий уровень интерьеров и приготовляемых блюд объяснили: возможно, через год это будет ресторан со свободным входом. Но пока в жанре ведомственной столовки он по факту — ресторан, совершенно безжалостно и методично душил свободолюбие журналистов своими поистине чудовищными ценами:

Солянка мясная сборная — 9 рублей 93 копейки.
Солянка рыбная сборная — 11 рублей 55 копеек.
Уха из осетрины — 14 рублей 29 копеек.
Крем-суп из мидий — 12 рублей 74 копейки.
Котлеты по-киевски — 14 рублей 83 копейки.
Седло барашка — 19 рублей 68 копеек...

Многие фирмы дотируют свои столовые, но редакторы «Российского фокуса» столкнулись, понятно, совсем с иным случаем. Хозяин, сыплющий своим курам зерно золотой дорожкой, чтобы... цыпа-цыпа-цыпа... завести их в курятник и запереть. Или некий демиург, олигарх, кукловод, Карабас-Барабас. Скорее всего, слушал-слушал он эту популярную, именно в интеллигентских кругах и именно с периода перестройки, поговорку: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», да и решил: вот вы ее повторяете уже двадцать пять лет, поучая друг друга, шлепаете этот штамп в своих статьях... а я сейчас возьму и положу вот тут кусочек его, «бесплатного», — и все равно ведь потянитесь!

Чисто теоретически жандармские меры пропускного режима можно было объяснить соседством помещений редакции с центральным офисом Инвесткредобанка (дело серьезное, денежное) или даже фактической их объединенностью посредством стеклянного перехода над Большим Версировским переулкам. Но... для чего же было тогда перетаскивать, не считаясь ни с какими расходами, редакцию сюда и мучить потом ее личный состав крем-супом из мидий за двенадцать рублей семьдесят четыре копейки!

Через месяц после того, как над Большим Версировским повисла стеклянная труба, а в восстанавливаемом храме стены завели под купол, в крыле, примыкающем к редакции, Сумеров открыл еще и частную медицинскую клинику. Какие там барыши они надеялась срубить при таком изуверском контрольно-пропускном режиме, где случайного, по своей инициативе зашедшего пациента скорее положат в проходной лицом в пол, с заломанными руками, чем на кушетку к врачу, замеряющему пульс, выписывающему рецепты и счета!.. Короче, как в таких военных, маниакально-секретных условиях может работать частная клиника — было просто не-по-нят-но.

А для чего все эти махинации, включая совершенно уже непонятную интригу с Альбиной Терлецкой? Любовница, поставленная (или подставленная) под самый ураган московских сплетен.

Хотя позволяла себе Альбина очень, очень много. Часто уединялась с Сумеровым, прилюдно и громогласно ему возражала. А вот как она оценила, и тоже публично, единый банковско-клинико-редакционный, а теперь еще и храмовый комплекс. Проработали там уже порядочно месяцев, но к завершению очередного бе-

зумного строительного этапа Сумеров нашел повод и средства устроить классическую презентацию, с телевизионщиками, шампанским, коньяком, икрой на тарталетках и перерезанием ленточки. То, что саму торжественную процедуру итогового лязга золочеными ножницами по алой шелковой полоске доверили Терлецкой — еще понятно: красива, телекамеры кругом, может, сами операторы и походатайствовали, репортаж ведь шел в городские новости. Но то, что она позволила себе сказать в эти камеры, свидетельствовало о просто-таки гомерическом фаворитизме и вседозволенности:

— Госпожа Терлецкая, а каковы ваши первые впечатления от нового комплекса зданий?

— Блеск. Ну, полный блеск! Увидел бы это Гитлер — бросил бы свой бункер и переехал бы сюда!

Человек пятнадцать это слышали. В теленовостях вырезали, конечно. Точнее, оставили в кадре Альбину, с ее улыбкой, серыми молниеносными глазами, и наложили поверх бодрый голос диктора про то, что, «по оценке заместителя главного редактора журнала „Российский фокус“ госпожи Альбины Терлецкой, новый комплекс зданий, несомненно, устроил бы даже и самого высокопоставленного европейского политического лидера».

Но в самом общем итоге работники «Российского фокуса» поверх ворчания все же удовлетворенно признавали: да! Сбылась мечта всех журналистов. О них говорили. О них даже сплетничали!

27

А по поводу наделавшей грома серии эссе, шедшей уже в семи номерах журнала, люди просто изошрились в самых головоломных версиях. Эти публикации представляли собой статьи с авторским, довольно оригинальным взглядом на какую-либо важную общественную проблему. А рядом с телом этого текста шли «журнальные врезки» — колонки дополняющей информации: статистические таблицы убедительных цифр и не менее хитро подобранные таблицы прогнозов, энергично убеждавших, что в такой-то сфере дела будут развиваться так-то и так и поэтому делать надо то-то и то-то. Эта серия «Российского фокуса» имела настолько серьезный резонанс, что взволновала не только праздных читателей, офисный планктон, аутсайдеров, примеряющих костюм оппозиционной интеллигенции, гламурных дам и прочих... Нет, даже представители самых деловых кругов, серьезные люди, распрощавшиеся со всеми иллюзиями взамен одной... — и те читали, проникались... а некоторые из них даже предпринимали конкретные бизнес-шаги, финансово-наполненные действия в направлениях, настоятельно рекомендуемых данными статьями.

И в этой журнальной серии он (они) так ловко диктует(ют) свою политическую волю, что эффект достигнут самый потрясающий: публика читает и развлекается, а тот, кому послание, похоже, и адресовано, читает, и делает выводы, и совершает важные бизнес-операции или государственно-управленческие шаги.

Причем нельзя было сказать, что инспирированная Сумеровым деятельность сводилась к одному вектору — высасыванию активов из организаций, чьи руководители поверили или «уверовали» в ждановские пророчества. Как заметил еще подполковник Рейнин, две компании, руководимые Моховым и Гальпериным, бизнесменами, в числе первых «попавшими» на сумеровский гипнотический рэкет, потерявшие в сумме двести тридцать восемь миллионов рублей, недавно скомпенсировали свои потери, правда, полностью или нет — неизвестно. Но теперь, действуя по новым внушенным и абсурдным советам, они вдруг получили по

средних размеров госзаказу. Рейнин в очередном докладе генералу Маникееву назвал это: «Ситуация пирамидальности». Теперь, как он предполагал, это было как-то связано со ждановскими статьями, но в чем была причина их действенности? Он вчитывался в них прилежно, как лютеранин в Библию, и генерал Маникеев, сколько мог, напрягал свои мощные извилины, но все равно над каждым номером «Российского фокуса» они снова переглядывались, как бы вопрошая: «Ну и кто из нас сошел с ума?»

Подполковник Рейнин тщательно всматривался в пометки красным фломастером генерала Маникеева — в возвращаемых экземплярах. Очень удобная форма: эти красные полоски наглядно являли гнев водимого за нос генерала, но сам исходный журнальный шрифт они не закрашивали, наоборот — подсвечивали. На такой яркой подложке непонятные, порой просто стилистически дикие, выпендренные строчки, фрагменты выделялись еще более зловеще:

Богатые тоже плачут, но о другом.

А возможное проявление Божественной воли в их контрактах было помечено как «Форс-мажор»...

Самая большая политическая ошибка со времен Понтия Пилата...

Их слезы прожигают землю до самого ядра...

Не в коня инвестиции... От олигарха и слышу.

Господи, помоги! Ну, или хотя бы не мешай!

Когда наш славный Мышеборец (как следует из контекста — это было сказано о заместителе генпрокурора страны!) извивался, как пришпиленный червяк доллара.

Мне завтра принимать парад планет.

Меня долго пугали этим лекарством, но мне-то был нужен — именно побочный эффект! Песня из слов, выкинутых из песен...

«Самоучитель по Старению»...

Это смотрелось как «белый танец» в голубом клубе.

Изнасилование — это продолжение политики ухаживанья — другими средствами.

А вклад США в мировую экономику оценят выпуском купюры в минус пятьдесят долларов. Тем более что с выбором президента, портретируемого для этой бумажки, было все ясно — см. характерные обезьяньи морщины на лбу (это Жданов, похоже, о Буше).

...Когда прибор сродни «Магическому Кристаллу» Пушкина открыл нам Великий шелковый путь в шерстяную страну...

Но если в извинение Игнату Жданову можно было сказать, что он почти уже сходил с ума в этой хитро сплетенной банковско-журнальной сети, ежедневно выдаваемый, выдающий в кумихинские склянки урочные нанограммы Вещества Веры... то что было сказать о прочих членах сумеровского синдиката? Или о читателях, собиравшихся за «Российским фокусом» небольшим, но уже заметным клином и считавших достаточно клеевым и прикольным то, что безумие наших дней нашло такого резонирующего безумца и юмориста — Игната Жданова? Или что сказать о самом Сумерове, инспирировавшем этот бред?

В тот период Сумерову было очень нужно проложить дорогу к четырем важным персонам, и он, давно не считая их за хороших людей, решил это сделать посредством тотального страха. И четыре экземпляра августовского номера с вымученно-глумливым эссе Игната Жданова пошли к ним по VIP-рассылке, щедро пропитанные «Веществом Веры». Двое «из объектов», на свое счастье, тогда отдыхали за

границей, и в их отсутствие журнальчики открыли, полистали, почитали: у одного — скучающая жена, у другого — любопытствующая секретарша. Обе они и приняли удар той «психической атаки», заслонив, получается, собою, соответственно, своих: мужа и шефа-любownika.

Но две-то оставшихся стрелы попали точно в цель, и люди, тратившие в год по четыре-пять миллионов долларов на «системную лизную охрану», вдруг почувствовали полную тщету и бесполезность этих трат перед изощренной выдумкой злодеев. А себя — абсолютно беззащитными, что и требовалось Сумерову, овечками.

Как раз тогда один из запуганных — огромными трудами и полторагодовыми интригами — добился-таки встречи в неформальной обстановке с федеральным министром. Министр был давний фанат и мастер бильярда, и бизнесмен-искатель с ходу проиграл ему триста тысяч — даже без всяких там поддавок. Но когда член правительства объявил: «Свяк в левую лузу» — и, сильно потянувшись, издал тот самый звук, который у зомбированного на всю голову бизнесмена ассоциировался, согласно ждановской статье, с самым изощренным из вариантов покушения... бизнесмен рухнул затылком о пол в глубокий обморок.

Охрана министра вызвала его охранников, те еще полтора часа вызванивали «своего» врача, в общем — трагедия. Министр, кстати, проявив потом настоящий гуманизм, сделал очнувшегося страдальца эксклюзивным поставщиком цемента и железобетонных конструкций, но тот... уже и не радовался... даже заработанным полтора миллиардам.

28

Поднимаясь к себе домой, Альбина устало перебирала события дня, поручения Геннадия Исидоровича и Сумерова, выстраивала их лестницей. «Надо ж, эти хорьки эдак и взаправду сделают из меня «бизнес-леди!» — в мысленной Альбининой усмешке раздражения не было, да и «хорьки» в ее лексиконе было совершенно неругательным определением, скорее — выжидательно-неопределенным: «Ну ты и хорек!», «Ну-ну, рассказывай, хорек!» И сегодня, когда Альбинино самовзвешивание определяло: «Почти бизнес-леди», выстраивая планы на завтра с незнакомым ранее оттенком усталости, может, даже удовлетворения, она, востепенувшись, вспомнила в числе главных: Лин, ее Алинка будет же перезванивать сегодня вечером или даже подъедет к ней!

Утром сестренка говорила совершенно убитым голосом, Альбина в этот момент записывала указания Сумерова по целевой доставке октябрьского номера журнала, уточняла список новых адресов и попросила ее обязательно перезвонить или подъехать вечером, но на звонке или приезде они в итоге сошлись, Альбина вспомнить не могла.

После героического вызволения из лап скверной компании в клубе «Броненосец „Потемкин“», Алинка, конечно же, не удержалась, похвасталась отцу, и вскоре состоялся разговор, к которому Альбина так долго готовилась, перебирала столько вариантов и возможных разветвлений русла беседы. И вот наконец он позвонил ей сам.

Отец взволнованно благодарил за «спасение Алины», а ей вдруг показалось, что он сейчас, в этот момент, думает, что она это делала для него, только чтобы ему понравиться. Сама это выдумала и сама же обиделась, но ничего уже поделать с собой не смогла. Закончили разговор они тогда на том, что «обязательно надо будет встретиться».

Тему сегодняшнего горя сестренки Альбина немного представляла, догадывалась, что это как-то связано с ее непоступлением в театральное училище.

Войдя в квартиру и увидев клин света, упавший из кухни в коридор, Альбина испугаться не успела: радостный выкрик показал, что сегодня планировался только сюрприз. «Моня, сволочь!» — определила Альбина, и, слыша из кухни шкряб отодвигаемого стула и предполагая, дорисовывая еще и непременно кряхтение поднимающейся туши, Альбина почти инстинктивно, не разуваясь, повернула налево, в гостиную. Не желая встречи с Монею и выигрывая неизвестно для чего несколько секунд, она прошла в комнату и шелкнула выключатель. А здесь, похоже, и задумывался главный Монин сюрприз, и задумывался, несомненно, как максимально приятный, в пределах фантазии автора. Две бутылки и букет в вазе возвышались над полем вскрытых банок и лотков с деликатесами из магазина сети «Азбука вкуса». Шаркая безразмерными тапками, напоминая, наверно (если сейчас выглянуть в коридор), неуклюжего толстого лыжника, к гостиной приближался ее бывший любовник-спонсор. Альбина присела на ближайший стул, немного оцепенело уставила взгляд вверх «праздничного» стола и так замерла, пока на том диаметрально противоположном конце, между бутылкой и вазой не нарисовалось улыбающаяся жирная харя.

— Артур! А если я сейчас все-таки вызову милицию?

— Да-а-а?! Тогда, наверно, конфискованных вещдоков им хватит, — он гордо обвел рукою стол, — хватит на все отделение!

Чуть отодвинув баночку с мидиями и лоток с гусиным паштетом и выложив на освобожденное место мобильник («Не пропустить Алинкин звонок!»), Альбина приготовилась послушать. Минут тридцать-сорок.

Пять месяцев назад после первых же сумеровских окладов она «послала» Моню, забрала ключи и пока отделялась только его занудными звонками. Значит, сегодня надо будет выслушать его подробней и поговорить решительней. Может, припугнуть? Пожаловаться Сумеру? Но и у этого (у Артура), с его двадцатью, кажется, бензозаправками, тоже есть свои люди, и варианты, и ресурсы. А конфликт сейчас ну совершенно не нужен.

— Ты на своего нового хахала надеешься? Зря. Знаешь, как тут люди про твоего Сумерова говорят?

— Как? Что говорят твои люди?

— Ненадежный он ни капли! Не сказать — полный пустышка, но все ж дилетант полный. Ну ладно, срубил он за последние месяцы миллионов девяносто зелени, как люди прикидывают. Ну и что? Ведь в нашем деле важно не «срубить по легкому», как у шпаны, а вложить. Надежно. А все его вложения, они же как на ладони. Пшик. Журнал этот ваш, извини, это ж почти пшик! При всех сенсациях, что вы там последнее время наворотили... вот возьми он его сейчас продать — и четырех миллионов не дадут. А что он там городит на Большом Версиловском, это прямо... Фантазии Фарятьева. И Инвесткредобанк он сейчас заводит под свою ответственность в такие фантастические дебри, что потом, когда угар пройдет, вышвырнут его... и как звать не спросят! Ему, кстати, принадлежит там только двадцать восемь процентов...

— Справлялся?

— А как же. Что я тебе, порожняк гнать буду? И банк-то его по части инвестиций в реальном секторе — знающие люди просто смеются. Он же только всех уверяет, обещает...

Ожидавшийся звонок прервал поток «финансового консалтинга».

— Лин! Ты что, уже здесь? Возле моего дома? Это сестра, — Моне. — Нет, Лин, у

меня... — она окинула взглядом стол и Моню, — очень... неприбрано. Я сейчас к тебе спущусь. У нас в левом крыле кафешка, помнишь? Иди туда. Я сейчас прибегу.

В проеме двери она обернулась, попыталась что-то выразить взглядом, но, чувствуя, что не очень получается, вздохнула:

— Эх ты, Моня, Маня. Королева бензоколонки! Ты же просто — из позапрошлой жизни! Исчезнул бы по-хорошему. Я бы тебя и связала, и отстегала бы по старой памяти... еще один раз. И все прочее... Но только уж под расписку, чтобы официально, на бумаге: заявишься после этого ко мне еще раз — будешь мне должен... м-м — десять миллионов долларов! Идет?

И, не слушая ответа, пошла к лифту...

Алина сидела, ничего не заказывая, уткнувшись в салфетницу, но, почувствовав ее шаги, повернулась, потянула руки: «Альба!», и Альбина вновь остро почувствовала, что вот за эту глупышку сестренку она может избить или даже прирезать кого-нибудь.

Но на этот раз бить было некого, разве себя, как кошка хвостом, нагоняя ярость. Бессилие. Чем поможешь в случае Алинки, вдруг твердо решившей, что если она не станет актрисой, то жизнь ее прокатится вся впустую.

Этим летом она не поступила в Щукинское училище, а теперь еще папа строго-настрого запретил идти на курсы.

— Полно ведь актерских курсов, а есть среди них и очень хорошие, за год можно и подготовиться отлично, снова в Щуку, можно и во ВГИК. И кроме того, сами курсы дают хороший шанс. К Рачковской, например, часто, чуть не каждый месяц приезжают, проводят кастинги, берут на сериалы. А там и дальше могут заметить... Но папа вдруг так резко повернул. «Слышать не хочу ни про какие курсы! Пол-Москвы уже на них сидит, сами себя дурачат. Модели, артистки, фотохудожницы, портфолио...» И сказал, чтобы на будущий год выбрала бы себе вуз «нормальный». Чтоб до ноября выбрала! И обязательно чтобы пошла работать по этой специальности до следующего лета, до вступительных...

Альбина чувствовала, что в сестренке нет ничего, чтобы хоть надеяться на будущее актерство. Мягкая красота, но такая беззащитность! Нежная, невпопадная, почти неуклюжая, кулема. Никакого внутри нерва натянутого, опыта душевного... Ну в крайнем случае, может, — здоровое чутье продолжало начитывать Альбине, — может, через несколько лет, получив опыт, который всегда — опыт страдания, она может что-то предъявить этим самодовольным приемным комиссиям, сузить глаза, выругаться, разбудить. Но страдания она пожелать Алине не могла.

А тут и еще, как выражается Сумеров, «поступила вводная!» Оказывается, мы ко всему еще и смертельно влюблены. В Маковецкого Сергея. И разыскан уже его почтовый адрес, и послано ему восемь писем-признаний. И ответил он, странная закономерность — только на третье. Обычным ободрением: «еще вся жизнь впереди», «и, уверен, будет много...», «желаю всего самого...».

— Слушай, Лин, так ему ведь... лет пятьдесят пять уже?

— Пятьдесят два! Какая разница!

— Видишь, есть разница, если поправляешь!

— Ой, Альба, ты сейчас прям как папа!

— А он что, знает?

Ну и как тут поможешь? Как выдохнуть в это ушко «с точь-в-точь похожей, родной мочкой» весь свой полезный, но горький опыт? Алина держалась, как могла, ни всхлипа, ни взрыда, но слезы просто сами побежали, и она схватила Альбину за руку: «Аль-бааа».

Сложив салфетку и оглянувшись на пустой зал, Альбина начала аккуратно промакивать соленые русла: два раза салфеткой — один раз поцелуем...

— Ой, какие тут нежности! Какие шаловливые сестренки! Поздно же я к вам спустился. Или... может быть, рано? А меня к себе возьмете, сестренки? Будем как у Чехова, Антон Палыча. Три сест...

— У-у, Моня! — как от зубной боли, повела головой Альбина. — Забыла ведь о тебе, свиненыш! Совсем забыла.

— Что же ты тут моришь голодом свою сестренку? Как зовут?.. Ну звать-то как? — жалобно, к старшей. — Аа-лина?! Алина?! Похоже как-то у вас звучит. Рифмуется... Альбин, видишь, девочка же проголодалась, а ты ее держишь на этой дурацкой сырной тарелке! Ну-ка, ну-ка! — И первый за весь вечер Альбинин жест ему навстречу: передала меню. — Так-так. Блинчики в шоколаде, оладьи в вишневом сиропе, тирамису, — выклеывая каждую строчку из меню, он вопросительно поднимал глаза на Альбину, — так... омлет... Слушайте! Да что мы тут перебираем эти птичьи корма, когда наверху у нас стол просто ломится... и икра, и фуа-гра для голодненьких с утра...

Младшая вопросительно поглядела на старшую. Альбина, еще пять минут назад с трудом переваживавшая мысль, что этот скот сидит за одним столиком с ее сестрой и что-то еще пытается заговорить, несколько смягчилась.

— Ладно, мы сейчас поднимемся ко мне, поужинаем. Одно условие, Артур. Ты молчишь или в самом, самом крайнем случае обращаешься только ко мне. Понятно?

— Ясно, Альбиночка, как прямо... я не знаю. Только к тебе.

Поднялись в квартиру. Младшая сразу побежала в ванную, мыть руки, проверять глаза, а старшая, оценивающе оглядев Моню, прошипела:

— Еще раз предупреждаю. Она правда сестра моя, родная. И если ты... хоть на миг полезешь со своими обычными разговорчиками, я тебя вот этой бутылкой по башке садану, даже не предупреждая. А еще... — а еще я выложу в Твиттере твои фотографии, которые, помнишь, в феврале...

— А ты что, переписала их? Когда? И сохранила? Альбин, ну так же не договаривались!

— От козел! — удивленно даже выдохнула Альбина, — а ключи копировать, в дом ко мне влезать — это договаривались?!

Ее дылдошка вернулась, уселась за стол. Почти перед каждым новым яством она вопросительно взглядывала на сестру, та кивала, и Алина подвигала к себе баночку или лоток.

— Альбина! А позволите ли вы предложить вашей сестре бокал этого сухого бордо?

— Нет.

Алина покорно чокнулась с ними газировкой и продолжила уплетать мидии. «Вкусно, Альба!»

Надо же! Вымахала, наверно, уже все метр семьдесят семь (как и при самой первой встрече Альбина оценивала рост сестры, отсчитывая от своих метра шестьдесят девяти), — и такая при этом детская доверчивость к старшей сестре и абсолютная безропотность. Вот что разрывало Альбинино сердце! Она хотела бы просто поцеловать этот чистый, ясный лобик, раздвинув занавески льняных прядей, но... сейчас ей надо было думать, думать и думать. Изловчиться и провести сестру между рифов самого опасного (хорошо знала по себе) возраста. Сейчас она, Альбина, должна суметь, исхитриться, заменить ей и отца, скрывшегося за стеной неразговорчивой строгости, и эту Рачковскую с ее лохо-коммерческими актерскими

курсами, и этого актера Сергея Маковецкого, отвечающего из восьми писем — только на третье.

29

Андрей Румянцев за чашкой кофе в редакционном баре вспоминал, заново проходил весь разговор с Петром Александровичем Рябовым. Словно шел с ним по мрачному подземному коридору, тыкаясь в поисках выхода. Ситуация еще держалась близ точки равновесия, раньше, когда темные периоды Жанны («мать межпланетного монстра, врага землян») чередовались со светлыми (мадонна играющая с Христом). Теперь же целыми неделями шли «черные», их разрушающее действие на психику усиливалось, и вызываемые врачи на консилиумах и другие врачи на альтернативных консилиумах равно заводили речь о психоневрологическом стационаре.

— Андрей! А это ведь будет — конец. Я это понимаю, что бы там эти... себе под нос ни бормотали, — депутат Мособлдумы просто не знал, куда еще направить свою бешеную энергию и немалые средства.

В Андрее Петр Рябов видел не только сотоварища по несчастью, представителя разогнанной группы следователей, но и верного друга, ищущего, как помочь его несчастной Жанне.

Насчет очередного вспомоществования пострадавшему бывшему капитану Семионову, чинящему теперь унитаза, Рябов сказал, передавая первый «транш»: «Через месяц — еще. Если забуду — напомнишь».

Но не забыл. Но Румянцев сам не взял.

Возможно, те первые тридцать тысяч рублей и повредили Семионову. И в том именно направлении, которого Рябов опасался: экс-капитан стал пить больше, жена его прогнала совсем, и он окончательно поселился в офисе на Большом Версильском.

И сейчас, когда Румянцев лихорадочно перебирал варианты, сидя в редакционном баре «У Рустама», рядом привычно плюхнулся Семионов, в привычной уже балахонной рекламной майке, теперь с надписью: «Красноярскстройдортехника. 65 лет». Как его туда-то занесло?

— Жена кричала на меня каждый день. Не могу жить с безвольной тряпкой! Обещал бросить пить! У тебя, говорит, совсем нет воли! А я ей честно отвечаю: воля у меня есть, но... она мне ничего не велит...

Андрей додумывал в это время двухуровневую авантюру. 1) Вывести Игната на разговор об инопланетянах, подвести его к умозаключению, что инопланетян нет. С этим было очень сложно. Возможно, он вспомнит свою давнюю бутырскую версию-фантазию и вновь проникнется своей фирменной Верой, Версией.

Тогда запускается 2) Программа-минимум. Убедить Игната, что не бывает, просто не может в природе быть злых марсиан, инопланетян. Ну, что там... весь Космос — творение Бога, доброго, заметьте, Бога. Зло свойственно созданиям на низшей стадии духовного развития. И если они там, на Марсе или альфа-Центавре, додумались до мощных межпланетных кораблей, то всяко уж не могут они быть злодеями, насилующими земных девушек для получения потомства и завоевания Земли. И если Игнат «добрыми» проникнется, можно подумать и о передаче «Вещества Веры» Жанне. Будет она — матерью спасительного Христо, а там посмотрим.

Только как я сам смогу навялить это Игнату?! Что, бубнить ему весь вечер: «Они добрые, добрые, добрые!»

Подбросить Игнату десяток таких книжек, именно советских. С добрыми.

Андрей открыл ноутбук, вай-фай в редакционном баре работал надежно, набрал, как мог, в поисковике свой запрос и тяжело задумался над ответом. Гугл считал, что Андрею нужны именно «книги А. и Б. Стругацких. Купить. Адреса... Заказать...»

Румянцев (так вышло) хотя и не брал в рук ни одной из книг братьев-фантастов, а все ж засомневался. На «Сталкер»-то он ходил, с девушкой, еще в Рыбинске. Вроде и понравилось, но... подходящим сейчас это произведение назвать было никак нельзя.

«У-у, диссидентура гребаная! Правильно нам на курсах в МВД говорили! Как для дела надо — так доброй фантастической книжки у них и за деньги не достанешь», — проворчал Румянцев, но уже шутейно, стилизованно под кого-то. Он вдруг вспомнил, кто ему точно поможет: Софья Генриховна, самая мировая и литературно подкованная тетка!

И Софья Генриховна, чутко уловив всю срочность диковинного запроса, на следующий же день выдала не просто список, а притащила, бедняжка (две пересадки в метро), целую связку старых, советских, добрых, фантастических книжек. К вечеру все были у них в квартире, и Андрей Румянцев, завлекая Игната, с наигранным азартом начал листать истории о межгалактических Коммунистических Интернационалах, Советах... Все темы разговоров, кроме фантастики, отвергал, и, как единственный друг и конфиденгент он добился-таки, что на следующий вечер Жданов, отложив Бодлера, с сомнением взвесил на руке старенький том: «О. К. Емушев. Рассвет над туманностью Андромеды»...

Но и это было меньше чем треть дела. Жданова еще нужно было увлечь настолько, чтобы он согласился наговорить чего-нибудь не для широкой печати — в Дыханиеприемник. Потом распечатать (это — самый пустяк), сконденсировать «Вещество Веры» (а вот с этим без Кумихина похоже не обойтись), составить Рабочую смесь, пропитать ею листки рассказа и лететь в Жуковку, где за высоким оцинкованным забором, в небольшом поместье сидит, забившись (куда теперь после «темной гардеробной?»), его Жанна.

30

Убийство актера Павла Валерьевича Сухотина, бывшее две с половиной недели второй по рейтингу московской сенсацией, для нескольких организаций стало в их работе еще и очень непростой «вводной», усложнением текущих задач. Справляться с которыми они и начали в зависимости от своей изворотливости и выделенных бюджетов.

В Инвесткредобанке и «Российском фокусе», сколько смогли (три дня), скрывали от Игната это событие. И скрывали недаром. Похоже, что Страх и Вера — вещи несовместные. Правда, в Бутырке ему удавалось фонтанировать, выдавать верогенерирующую версию, но та ведь напрямую касалась его личной судьбы.

А теперь-то Сумеров направлял луч его «гиперболоида Веры» на общественные, экономические проблемы, на крупные и крупнейшие российские корпорации.

В периоды накатывающего страха Игнат Жданов или вовсе замолкал, бывало, и на полдня, или редкие его фразы не имели уже этого эффекта. «Волшебное Огниво» из старой сказки могло сломаться и окончательно — вот какое опасение бросало Сумерова в самые тяжелые размышления...

Компетентные люди понимали, что с убийством «дело Сухотина» не закончится. Более того, можно сказать, в некотором (вполне абсурдном) смысле с убийством не закончилась и... кинокарьера Павла Сухотина.

В криминальном сериале играемый Павлом бывший продажный, но постепен-

но вставший на путь позитива и борьбы со всемогущей мафией оперативник погиб за кадром, но дело продолжил его друг, молодой лейтенант, в кабинете под Павликовым портретом с траурной ленточкой...

Гораздо сложнее было с комедийным сериалом, где Павел играл Витю — соседа главного героя. Они там дружили еще и семьями, обеспечивая динамику сюжета и регулярный вброс шуточных реплик. Но в комедийном сериале ведь никто не может не то что погибнуть, но даже и постареть! И к тому же предыдущие семь серий оба друга, их жены, дети обсуждали между собой и со всеми знакомыми намерение сходить в Третьяковскую галерею. В Третьяковку они все же пошли (аванс дирекции галереи был выплачен) — но голова «Вити» была забинтована до самой макушки, и говорить он в тот день не мог. «Витя у меня такой неуклюжий! На даче в соседский улей упал прямо лицом. Такой смешной, нет, та-ако-ой смешно-ой!»

Сериал был рассчитан еще на три-четыре сезона, и что самое скверное, некоторые кредиты, авансы за размещение в нем рекламы были уже потрачены. А город по-прежнему обсуждал мотивы убийства актера Сухотина, и... что весьма характерно, даже страстные любители этого сериала, можно сказать, выросшие на его шутках, под наложенный закадровый хохот теперь с немалым злорадством ждали: ну как там выкрутится телеканал РВН?! Куда еще после соседского улья они бросят труп нашего Вити-Паши?..

А совет директоров страховой компании, где рекламное лицо Павел привычно вручал разным семьям похожий на Тору свиток полиса... проматерившись полтора часа, смог принять только решение о снятии бонусов начальникам отделов рекламы, пиар-отдела и пятидесятипроцентном начете на зарплаты всем сотрудникам поголовно.

Обещанные пять тысяч евро автору лучшей «идеи Исхода Вити» (а это был один из гримеров, давно мечтавший о должности сценариста) телеканал РВН выплатил не сразу. Надо было выждать, как это «аукнется».

Арзамасская сестра покойного Павла Сухотина приглашалась в Москву, и герой Витя радикально менял свой пол, продолжая свое шествие по сериям (пять в неделю) уже в качестве Виктории! А так в остальном — семьи продолжали дружить и обмениваться шутками.

По счастью, Жданов после того, как жена два года назад забрала их телевизор, нового не заводил. Но однажды в редакции, в отделе «Международная жизнь», куда почти случайно забрел Игнат, смотрели телек (в московских офисах так порой бывает, с дисциплиной еще не везде пока...), и, как назло, именно тот сериал. Подобная реинкарнация Павлика потрясла и еще больше напугала Игната, и Сумеров распорядился у всех телеприемников в Инвесткредобанке и «Российском фокусе» заблокировать кнопку канала РВН, а всю серьезность вопроса проиллюстрировал увольнением «двух нарушителей трудовой дисциплины отдела «Международная жизнь».

31

В самую сердцевину сердца своего Проекта, с объяснением сути Ждановского Эффекта и тайного механизма его использования, Сумеров посвятил троих человек, ровно столько, сколько было абсолютно необходимо для работы. Предположить,

что можно было б и меньше, для сохранности тайны, или больше, для пользы дела... — но для такого предположения нужно было бы стать управленцем, военачальником, шпионом-резидентом, сравнимого с Сумеровым уровня. А это было очень непросто, если не сказать...

Румянцев разрывался между личной опекой Жданова и работой в Ассоциации детекции лжи, мимо которой абсолютно невозможно было пойти в проведении массовых проверок на полиграфах. А вот зачем это нужно, что такого могло дать участие в собеседованиях и тестировании кадров, — это знал уже только Сумеров. Иногда ему приходилось и самому лично залезать на поддоны с тиражом, стаскивать и вскрывать в комнате № 17 пачки журналов, листать до нужных страниц, затем осторожно подносить бутылочку с «Рабочей смесью», снимать колпачок, под которым на горлышке сидит обычная детская соска, и помечать... невидимыми миру слезами, то бишь выдавливать на колонки текста десятков капель. Все сопутствующие детали объяснялись просто. Соска в отличие от губки, кисточки — более экономный расход «Рабочей смеси». Последующее обертывание термоусадочной пленкой позволяло лучше, дольше сохранить «Веру» от испарения.

Но, конечно, председатель правления Инвесткредобанка, лично промакивающий страницы и оборачивающий журналы пленкой, — это бывало нечасто. В основном эту работу выполняли то Кумихин, то Терлецкая, а чаще всего... Кумихин и Терлецкая вместе.

Сумеров еще во время самого первого долгого их разговора, «размазывая Геннадия Исидоровича и выпытывая подробности прежней Игнатовой жизни, практически угадал в Альбине большой запас того, что про себя он называл «веронепроницаемость»...

— Вы говорите, Альбина, все верили ему. А вы сами?

— Я сказала, все верили, кто слушал, вслушивался.

— А...

— А я особо и не вслушивалась. Зачем? Я его у Машки Кондратенко отбивать не собиралась!

Эти слова, но больше сам тон подсказали Сумерову, а тщательные и осторожные тесты подтвердили: она относится к тому же типу, что и Кумихин с Румянцевым. И на нее был взвален участок работы — самый «раздерганно-ответственный», по выражению босса. Свой роскошный кабинет замглавреда и трехсоставной оклад (легальная банковская карточка, полусекретный конверт и совсекретная пачка тет-а-тет, Сумеров) она оправдывала вполне. Именно ей босс обрисовывал очередные цели (Сумеров вообще избегал помногу общаться с Игнатом), и она излагала их уже как редактор, в знакомой Жданову форме. Корректировала, настраивала его на очередной экзерсис и доводила полученный продукт до какого-то журналоподобного вида. И это был уже третий фронт взаимодействия, теперь — с Геннадием Исидоровичем.

Четвертый фронт ее работы (первый — уяснение задач Сумерова, второй — Жданов, третий — Лодкин) был Кумихин. Бутылочки с «Рабочей смесью» нумеровались и подписывались соответственно номеру журнала, — и момент встречи, «поцелуя» резинового наконечника с бумагой... соски со страницей, был самым важным, почти торжественным. Путаница уничтожила бы экономический результат Эффекта Жданова.

Эдуард ретиво хватался за обработанные экземпляры, иногда их набиралось под две дюжины, а это уже был порядочный вес.

— Альбина, а в следующий четверг, вечером, на тусовку к Игнату ты не собиралась? Там будет очень интересная певица, Лариса Казанцева. Помнишь, я рассказывал?

— Которая...

— Да, которая поет почти всех бардов, просто невероятно — как поет! Я, например, вещи Берковского, Ивасей, Михаила Щербакова люблю именно в ее исполнении. И два гитариста у нее очень приличные. В общем, КСП — на самом верхнем уровне.

— Это ты организовал?

— Ну в какой-то мере...

«Тусовка у Жданова» объяснялась просто. После убийства Павла Сухотина Игнат совсем забился в угол. Он и раньше существовал в пределах маршрута: квартира на Новослободской — офис на Большом Версиловском, и почти всегда в сопровождении Румянцева, на его служебном «фольксвагене». А теперь и вовсе не хотел покидать банковско-редакционную крепость.

И Сумеров, собрав в очередной раз свою Избранную Раду, попросил «всячески поддерживать Игната, развлекать его, что ли». Андрей Румянцев, например, понял это как приказ — тоже переселиться в офис, и квартиру на Новослободской он после этого только навещал. В новом комплексе зданий нетрудно было выкроить, в стиле и под видом, допустим, «служебной гостиницы», на четвертом этаже — несколько апартаментов, оборудовать на самом хорошем уровне. О столовой уже говорилось.

Теперь эти «тусовки в поддержку». Что-то Сумеров мог, совершенно не опасаясь раскрытия тайных пружин, предложить и Лодкину: «Вечера отдыха коллектива редакции», «Приемы, посвященные выходу номера журнала», все смотрелось вполне органично — эпоха «корпоративов». Бюджет (очень достойный) выделен. «...И есть еще идея: разыскать, может... старых литературных друзей Жданова, собрать их, попросить почитать стихи или другие произведения... в общем, в теплой товарищеской обстановке...»

«Специальным музыкальным гостем» Сумеров, с его замашками, тайным сарказмом и подобной тактикой, наверное, мог пригласить и какого-нибудь... Рода Стюарта, Элтона Джона, — поэтому вмешательство Кумихина вернуло «тепло-товарищескую» идею в рамки минимального здравого смысла. Он заверил Сумерова, что барды, например, Лариса Казанцева, — именно то, что очень нравится Игнату и его старым друзьям...

А от Терлецкой Сумеров требовал прямо-таки почасового мониторинга отношений Игната с Марией Кондратенко.

— Она же в него влюблена была еще до... до того. Ты же сама, Альбина, рассказывала, еще на самой первой беседе. Видишь, я помню. И ты как Машина подруга могла бы помочь им...

— Вадим Сергеич! А может, мне самой пару раз дать Игнатушке нашему, если это вас так напрягает?! Вы только прикажите! Мигом!

К таким резким «коротким замыканиям», чтобы, глядя прямо в глаза, да еще с расстояния почти вплотную, столь резко рубануть: «Прикажете мне дать ему?» — Сумеров совсем не привык. И снисходя к смятению шефа, Альбина аккуратно и точно доложила, все, что «у Игната было с Машей». А было одно мучительство, каковое сердечно-поверенная, лучшая подруга изобразила прямо в лицах...

— ...И когда Машка ближе всего подвела разговор к главной теме, так что даже этому самопогруженному дундуку стало понятно, он только повздыхал-повздыхал, да и выдал:

— Ну вот, Маша, ну станем мы жить вместе, ну поженимся... и все у нас окажется, как в плохом голливудском фильме.

— Ну почему, почему ты все всегда наперед объявляешь, изрекаешь?! Ну почему, Игнат, у нас не может сложиться — как, например... в... хорошем голливудском фильме? Ну?!

— А потому, Маша, что хороших голливудских фильмов — не бывает!

32

К Игнату Жданову Альбина всегда относилась «без пиетета» — и в самые первые свои месяцы в журнале, и потом, в период, по старорусским меркам очень выигрышный: Игнатов «неповинного страдания». И теперь, в выигрышный уже по новорусским меркам период, то есть во дни Игнатова оглушительного успеха, ей было не до него. Сейчас ей приходилось подолгу общаться с ним, выполняя роль ретранслятора сумеровских приказов, редактора Игнатовых текстов. И ничто с обеих сторон не мешало их деловым отношениям. Он, правда, отпуская ей пару раз комплименты, но вполне эстетического, поэтического, а может, и протокольного характера. Ведь для не подозревавшего о своей волшебной роли Жданова Альбина все-таки была начальник.

С ее же стороны была та самая, подмеченная Сумеровым «веронепроницаемость». И в просто житейском измерении ей было «совсем не до него» (тут применивались и нахлынувшие алинкины проблемы). И во всех прочих измерениях — Игнат был не в ее вкусе.

Кумихин первый поразил ее «в положительном смысле», когда во время совместной работы в комнате № 17 он вдруг спросил:

— Альбина Викторовна, а Виктор Терлецкий, академик, он вам кто?

— Боже! Ну хоть один знает!! А то ведь только артисты-юмористы да «Дом-2», да Басковы-Колбасковы!... Отец он мне! А вы-то откуда про него слышали?

— Я, Альбина, кандидат медицинских наук, но поверьте, все ученые, все настоящие научные работники — они постоянно поддерживают общий научный кругозор, это просто их... имманентное качество. И работы академика Терлецкого в физике высоких температур...

Альбине захотелось тогда чмокнуть его прямо в кончик носа.

— Вы знаете, Альбина, а ведь мы с ним оказались почти соседи! В «Вестнике Академии наук», номер три, за 2007 год, есть его статья о новых плазмотронах, а потом, через тридцать девять страниц, обзор работ и нашего НИИ! Он подписан, правда, авторским коллективом, семь фамилий, но и я там есть, в алфавитном порядке. Согласитесь, как-то даже забавно: Терлецкий и потом бац — Кумихин! Представляете? Я как впервые услышал вашу фамилию, сразу вспомнил, а вечером дома нашел тот номер «Вестника Академии»...

И разговор перешел на текущие темы. Вместе со спецвыпуском для рассылки набиралось двадцать три экземпляра, Кумихин вызвался проехать, помочь. Альбина согласилась. В дороге он очень смущался, боялся, что его историю с «Вестником Академии наук» могут все же воспринять как обычную байку, вульгарное заигрывание, ложь. И когда он повторил, немного в другом контексте, что может завтра принести посмотреть академический журнальчик, Альбина прервала его, стилизуясь под героиню какого-то фильма, с картинными придыханиями:

— Да! Привези его завтра! Непременно! Но прежде вырви эти тридцать девять страниц!

— Ч-то?

— Вырви, вырви их! Те тридцать девять, что разделяют Терлецкого с Кумихиным! Вырви их навсегда!! — На третьем придыхании она почти вскрикнула, уже совсем явно пародируя бразильские сериалы, назвав по ходу мизансцены Кумихина на «ты», она так и закрепила на этом рубеже. И через примерно полчаса и Эдуард Кумихин перешел на «ты» и от «...Викторовны» — к просто «Альбине». Тоже ведь какой-то, но результат, некоторым для этого приходится раз пять-семь сходить в кино, выпить литра по три коктейлей или шампанского...

Через пару дней в комнате № 17 Альбина с Эдуардом пропитывали спецвыпуск «Российского фокуса» с очередным Игнатушкиным эссе «Триумф боли» (аллюзия на название известного фильма Лени Рифеншталь»). Этот залп предназначался — никогда не догадаться бы по названию — нескольким московским девелоперским программам. Кроме того, в номере шел и повтор запугивающего эссе «Мне завтра принимать парад планет» из июньского номера, предназначенного гендиректору «Нефтеойлпетролеума», тому самому, кого заслонила своим телом, своим красивым носиком, своими несчастными легкими его любопытная секретарша Дарья. Восстановив всю картину, пристроив «зомбанутую на всю голову» и безжалостно уволенную нефтяником секретаршу, Сумеров решил повторить свою психическую атаку. Ловко и, главное, практически без дополнительных расходов. Всего-то предстояло в спецвыпуске, предназначенном для девелоперов, отделить два-три экземпляра и пометить их на страничках с повтором угрожающего эссе — только не перепутать! — июньской «Рабочей смесью» и выслать их опять директору «Нефтеойлпетролеума». Это ведь не то, что выделять на повторную атаку весь следующий номер журнала.

Арифметика совсем простая: общая цена тиража очередного номера «Российского фокуса», с окладами, гонорарами, версткой, цветопробами, печатью, доставкой, перевалила уже за девять миллионов, а себестоимость трех экземпляров журнала восемьдесят один рубль. Правда, до такого маневра, по аллегории восхищенного Сумерова — «с разделяющимися боеголовками», еще надо было додуматься! За что Альбина Терлецкая и получила свои двести тридцать семь тысяч рублей (чистыми) премии. Мало? Справедливо. Ведь нет гарантии, что и повторная атака достигнет успеха: вдруг нефтяник опять укатит на Сардинию (любил он это дело), а новая секретарша окажется такой же любопытной и распечатает змеино шелестящий целлофан спецвыпуска «Российского фокуса»?!

Во время операции двойного, раздельного промакивания Альбина и спросила Кумихина:

— Знаешь, кого я сейчас представила?

— Нет. Скажи.

— Екатерину Медичи, пропитывающую ядом перчатки, для этой, как ее, м-м-м, не помню...

— Да-да... Нет, тоже не лезет в голову. Помню, кажется, что — мать Генриха Бурбона.

— Кажется. Значит, тоже читал... Давай-ка нефтяниковские журналы сюда. Я лучше еще и фломастером по целлофану помечу.

— Правильно. Только не крестик — как-то зловеще будет.

— Согласна. В этих службах доставки ведь постоянно черкают на пачках любую фигню, только им понятную, да?..

— Альбина, я давно хотел спросить. А когда ты так громко наехала на Вадима Сергеевича, помнишь, на совещании, ты сказала: «Может, вы прикажете мне самой пару раз дать Игнатушке нашему?! Так я мигом!»

— Да, припоминаю. А что ты спросить-то хотел?

Красные уши Кумихина просто вопили: «ДА! Угадала! Это самое!»

Но Альбина совершенно спокойно, как после разговора о погоде, приступила к раскладыванию журналов по стопкам. Распасовав, она переложила их в две сумки: большая уходила девелоперам, меньшая — нефтянику.

— Готово. Пошли, Эдик?

— А-а-льбина! А ведь ты мне и не ответила.

— А ведь и ты меня не спросил же!

Загрузившись в БМВ, они пару минут выбирали маршрут и решили начать с нефтяника, это рядом с Софийской набережной. «И какая у нее мгновенная точность! — размышлял Кумихин. — Откровенность на откровенность. Шаг на шаг. Я ведь действительно ее не спросил — тряпка!» В машине на заднем сиденье они перешли, с поправкой на слух водителя, к посторонним темам. Альбина пересказывала ход партии Мария Кондратенко — Игнат Жданов. Та продолжала восторженно признаваться Альбине, открывая новые и новые поводы для восхищения Ждановым. Поверх ореола неповинного страдальца был наброшен и лавровый венок «автора лучших эссе в России».

32-а

«Деньги к деньгам, Вера — к Вере», все правильно. И я, кандидат наук Эдуард Кумихин, заработавший за этот год, наверно, вдесятеро больше, чем вся лаборатория моего НИИ, спускаюсь в сумеровский подвал, любуюсь миллимикромаковыми родинками Вещества Веры, их победительным ртутным блеском, слежу за бликами, играю ореола, прежде чем развести их порцией сверхчистого спирта и превратить в «Рабочую смесь №...» для пропитки страниц напечатанных словес, для вдыхания далеким незнакомым банкиром или девелопером. Новое тайное развлечение. Поднес к глазам пробирку, поймал серебристый блик Веры и потом перевел взгляд на нарочно прихваченный с собой фрагмент из Библии. Распечатка, листок из моего принтера, да и зачем эти кожаные томики, когда санкционировали, и поди, уже... благословили размещение на сайтах Писания, это я еще распечатал, а новым хватит и экранов с быстротекучими кристаллами. Вот еще дилеммка для богословов: пока доберешься по лабиринту ссылок до благочестивого сайта, эти ж самые экранные текущие кристаллы сольются-разольются в десяток зазывных задниц, рекламных грудок, влажных губок, мигающих глазок... ну да ладно, вот она, распечатка, Евангелие от Матфея, глава 17, стих 20... *Будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: переиди отсюда туда, и она переидет...* горчичное зерно, ох эти евангельские нанотехнологии! Пророки дышали этим, а я сконденсировал, и что? В поисках подтверждающего эксперимент примера, а может, — о хитрейший Сумеров! — и замены нашему Игнату мы потихоньку протянули сквозь наши уловители дыхания, вздохи, трехсот семидесяти четырех... а нет, уже трехсот семидесяти девяти человек — и Ноль. Но что значит этот Ноль, это минус научно-экспериментальной базе — но не обычная ли это пропорция с библейских времен? Пророк и толпа. Может, один на поколение? Исая, потом Иеремя, а потом Иезекииль, Даниил?.. Выучишь тут, пророка Исая перепилили деревянной пилой, Даниила бросили в ров ко львам, а Игната — в банковский подвал на пытку бессмыслицей научного протоколирования. Пришпилили, как бабочку, да-да... лет тридцать или сорок уже прошло с открытия ферромонов — объяснили, чем, как ищет мотылек своего мотылька, тыкающегося в кустах за пару километров. А ведь те самые километры расстояния между ними, особями, оборачиваются-то уж немереными кубическими километрами воздуха, в которые наш

седобородый гомеопат Саваоф вбрасывает одну молекулу: вдыхай! Лови! — и ловят. Вот же работа! Какого только *молока* с Сумерова потребовать: за метафизическую «вредность производства»? Какого молока? Понятно ж, какого молока тебе, Эдик, больше всего мечтается: А выдайте, товарищ Сумеров, мне Альбину Викторовну Терлецкую, если уж сами так упорно увиливаете...

33

В воскресенье выпала работа повышенной срочности и важности. К понедельничному визиту Сумерова в Торговый дом «Лер Монтий» отпечатали в трех экземплярах, прямо в редакции, на цветном принтере мини-буклет с картинками, статистикой московского ритэйлинга, прогнозами на следующий год и... очередной коварной Игнатовой статьей «Между миссией и рынком». Кажется, «Лер Монтий» должен был не только перевести счета в Инвесткредобанк, но еще и подписаться на какой-то перспективный совместный проект. Буклет их генеральному Сумеров намеревался оставить сам после переговоров, для окончательного размышления (со вдыханием аромата «Веры»).

К половине девятого вечера буклет был сверстан, отпечатан, и, отпустив сотрудников, Альбина спустилась в «Святая святых», полуподвальную, безоконную комнату № 17. На послезавтрашний «бал в поддержку Жданова» (ироничное, внутриредакционное именование вечера его «теплой встречи со старыми друзьями») Сумеров приказал явиться обязательно, и Альбина брала сестренку — не только «вывести в свет, развлечь». Срочно надо было и решать. Через неделю выходил срок отца ультиматума по выбору специальности и устройству на работу.

С этим «раскладом» в голове и буклетами для «Лер Монтия» в папке под мышкой Альбина приложила кодовую карточку к электронному замку, толкнула дверь и, войдя, шлепнула ладонью по выключателю. Ждановская статья «Между миссией и рынком» выходила уже в шестом номере. Вторую карточку она просунула в щель сейфа, похожего на большой банкомат, открыв тяжелую створку, отыскала бутылочку с надписью «Рабочая смесь № 6» и, разложив на столе три буклета, открутила пробку...

В это же самое время из-за шкафа с запасными экземплярами журнала вдруг медленно вышла... фигура. Кто-то ростом примерно с нее, в спортивном костюме и вязаной шапочке. Альбина успела только распрямиться, обернувшись, как нападавший плеснул в нее из кружки и крикнул: «Стой на месте, мерзавка! Это ацетон!» Теперь и запах разлитой по ее одежде жидкости ударил в лицо Альбине удушающим подтверждением: «Ацетон!»

Не опуская пока кружку в правой руке, нападавшая, а это была молодая женщина, подняла левую руку и чиркнула зажигалкой. Пока только угрожающе — отпустила большой палец, и пламя погасло.

— Сядь, мерзавка, и положи руки на стол!

Альбина, удушаемая парами ацетона, повиновалась.

— Видишь на столе скотч? Медленно протяни его ко мне на обеих вытянутых руках.

Скотч был уже с заготовленным «язычком», отделенной полоской ленты с завернутым кончиком, чтоб избежать долгого отковыривания. Альбина протянула его. Незнакомка осторожно, очень медленно и напряженно поставила на стол кружку, еще раз отведя левую руку вверх и далеко назад, чиркнула зажигалкой. Видно, что сразу, сейчас она поджигать Альбину не собиралась. Шмякнув мотком

по руке — заготовленный язычок скотча прилип к Альбениному запястью, — женщина по-прежнему, одною правою, смотала ей вытянутые вперед руки и только после этого громко выдохнула и опустила левую с зажигалкой.

Лишь теперь Альбина, начавшая крупно дрожать, взгляделась в лицо нападавшей. Какая женщина! Это была девчонка лет примерно пятнадцати-шестнадцати.

— Теперь объясняю. Я не собиралась поджигать тебя... — и после спокойной, идущей на понижение октавы она решила все же вернуться на пару тонов вверх, — сейчас! Мне просто нужно, чтобы ты, негодяйка, выслушала меня внимательно... Фу, как воняет! Я знаю, ты старше меня и точно — сильнее. И наверняка дерешься. Потому я и придумала это, с ацетоном. Теперь ты, мерзавка, меня и выслушаешь, и еще... хорошенько убедишься, что я решила серьезно, и, значит, могу и еще кое-что для тебя придумать, кроме кружки ацетона...

Альбине стало уже совсем плохо от ядовитых паров, и единственная ее трезвая мысль была, что ведь и этой маньячке сейчас так же плохо. И что в закрытой комнате они могут просто обе свалиться, потерять сознание.

— Что тебе нужно? — первые Альбинины слова. — И не чиркай больше зажигалкой. Ведь пары. Сгорим же обе!

Девчонка наконец засунула левую, видно, что сильно одеревеневшую от напряжения руку в карман. Вытащила пустой.

— Кто ты, вообще, такая?! Что нужно-то?

— Ты... теперь слушай... и хорошо запомни... — возможно, она тут хотела добавить и привычное обращение «мерзавка», но решила не тратить напрасно силы и долю выдоха, а вложить все в самое главное... Стащила той же деревянной левой лыжную шапку с головы — и буйная грива рыжих кудрей рассыпалась по плечам, будто раскрылся яркий японский веер. И дальше девчонка почти завизжала: — Ты! Запомни! Больше! Никогда не лезь к моему папе! Поняла?!

Сквозь ацетоновый токсикоманский бред Альбина только и могла-то беспомощно прошептать:

— К папе? К кому-кому? К какому папе?

«Боже! — ухнуло в отравленном, увядающем мозгу. — Дочь Сумерова. Точно. Десятый или одиннадцатый класс. Звать — Марина».

И дошла-то до этого вывода умиравшая Альбина только потому, что за таким дико невероятным «...а если он сам к тебе полезет» из памяти последних месяцев выскочили все эти шепотки, электронные письма. «Подстилка банкира Сумерова!» — и тот его наглый ответ в присутствии нескольких людей: «Тогда уж — накидка! Я ведь предпочитаю позу “она сверху”!».

— Ты хорошо запомнила?!

— М-марина... Давай выйдем куда-нибудь отсюда. Я сейчас потеряю сознание. И ты тоже.

— Ты не сознание сейчас — ты совесть потеряла! И давно!

Этот натянутый, дико книжный, старорежимный оборот Марина произнесла таким потухающим, усталым голосом и так тяжело осела на стул, что Альбина сообразила, что девчонка отрубится даже раньше ее. Боже! Кружка-то — она глянула на стол — почти пивная! А комнатка-то три на три метра! Вот идиотка!

Голова как центрифуга, жжение и колотье как от тысяч электроразрядов — Альбине казалось, что вся кровь собралась и прихлынула к ее лицу и рукам и сейчас может вспыхнуть даже без зажигалки... Предпоследним усилием воли она встряхнулась, поднялась со стула и сделала пару шагов к двери. Еще. Потом обернулась. Маринка сидела почти безучастно, глаза не реагировали. Видно, во время гневного монолога она забылась и дышала особенно глубоко.

Альбина, рискуя и сама навсегда свалиться в проклятой семнадцатой комнате, вернулась, смотанными руками, как вытянутой стрелой крана, схватила ее за рыжие волосища и сильно-сильно дернула. Марина подняла на нее мутные глаза, и Альбина, на последних силах повернувшись к спасительной двери, пошла, потащив эту идиотку, прямо за длиннющую ее рыжую патлу.

«Как овечку в загон!» — мелькнуло у Альбины, когда она пересекла порог и наконец вдохнула полной грудью.

Но и коридор не был спасением, нужно тащиться на воздух. И так же вытянутыми и смотанными руками Альбина потащила полусогнутую, запинаящуюся, два раза припадавшую на колени Маринку... картина уже, наверно, просто комическая. Моток скотча, болтавшийся у Альбины под руками, своей длинно раскрученной липкой стороной тоже, в свою очередь, прочно схватил буйную рыжекудрявую прядь.

Наконец коридор кончился, три ступеньки вверх, еще дверь — и они вывалились на внутренний двор, как чудом спасенные утопленницы. Присели на ступеньки...

Облетевшие березки и вязы, совершенно лысые макушки тополей, маковка без креста восстраиваемого полкового храма, мокрые крыши сумеровского комплекса (пробитое каре, ныне буква «П») — все было почти до самой весны накрыто старой кацавейкой позднеоктябрьского—февральского неба... и драная ее ватинная подстежка свисала, почти касаясь колючих шпилей, башенок, антенн и открытого бетонного комода с гигантской желтой надписью на крышке: «Райффайзенбанк».

«Похожа ли на отца? Вроде ни капли. Мать, что ли, такая рыжекудряя? А нет, вот так, в повороте головы... и взгляд — точно Вадима взгляд!»

— Альбин Викторовн, я правда, я...

— Да, молодец-молодец, напугала-напугала! Овца с кружкой ацетона — это ж страшней атомной бомбы!

34

Шампанское без изъяна и недостачи, трехтысячерублевая текила, примерно в ту же цену водка, икра и целый «океанариум» морепродуктов, согласно смете, — все имело место на «тепло-товарщеской встрече в поддержку Жданова», со списком приглашенных, согласно поданной за два дня заявке, программкой, пресс-релизом и так далее. Аккуратно расспросив Жданова, разыскали двух его друзей времен поэтической молодости и одного друга детства из подмосковного (ждановское определение) поселка Тверской области.

Геннадий Исидорович получил добро на приглашение Джона Фоксвинкеля, слависта, корреспондента, беседа с которым готовилась для ноябрьского номера и который собирался у себя в Чикаго что-то опубликовать о «Российском фокусе», серии громких эссе Игната Жданова, привязывая все к чему-то важно общероссийскому, может, к выборам?

А вот за Семена из «Русского шелкопера» вроде никто и не ходатайствовал — Геннадий Исидорович о своей полной непричастности готов был даже побожиться, но, занеся руку, вспомнил о более надежном аргументе и достал из грудного кармана копию своей заявки, предъявил: нет их...

Откуда же тогда они могли оказаться в сводной, итоговой? Сумеров не верил своим глазам, но в плотной колонке фамилий, чуть выше его собственноручной подписи стояли эти бессменные, бессмертные, знакомые уже чуть ли не с детства: «Гарин Семен, Кошелева Луиза...» Как «Маркс—Энгельс» или лучше — «Кот Базилио—Лиса Алиса»... Вадиму Сергеевичу Сумерову на секунду даже показалось, что он никогда в жизни и не служил ни во внутренних войсках, ни в ГУВД... а прямо,

сразу после Суворовского училища, все сорок лет только и издавал газеты-журналы, ходил на презентации, пил из пластиковых стаканчиков, набирал веера из пластиковых тарелок... и всегда рядом были они...

Вернувшись к «реалиям», он пометил себе: в течение вечера обязательно подойти к Семену и выяснить.

Красавиц Альберта Нартова Сумеров пригласил по нескольким причинам: он так и так финансировал их агентство-питомник, да и Нартов жаловался, что девчонки скучают в подмосковном гарнизоне, плюс участие в подобных промоакциях было одной из подготовительных дисциплин для будущих моделей. А еще Сумеров надеялся на них, если вариант Игнат плюс Маша Кондратенко окажется совсем безнадежным. В фирменных майках с логотипом «Российский фокус» они стояли пока за перегородкой, разделяющей основной тусовочный плац и коридор, ведущий к кухне.

— Здравия желаю, засадной полк Альберта Нартова!

Вот они стоят — его лучшее оправдание! Весь бы Инвесткредобанк сейчас разрезал бы полосками — им на приданое!

Единственно... он ведь просил передать Нартову, чтоб на сегодняшний вечер не привозили Дашу, экс-секретаршу гендиректора «Нефтеойлпетролеума». Сумеров пристраивал ее к Нартову по телефону, лично не встречался, но сразу угадал ее по напряженному взгляду. Ну да что поделаешь, не отсылать же ее домой сейчас. Тоже надо будет присмотреть. А от отца Мефодия, наоборот, лучше бы скрыться. Позавчера он опять говорил с женой, а значит — давал ей обещание еще раз попоповедовать мне, а значит — сдержит слово. Отец Мефодий сдержит.

И куда ж здесь от него скроешься? Сумеров оглядел свой «плац». Под сегодняшнюю «презентацию» отвели зал ресторана, того, что под маской ведомственной столовки пока искушал и унижал сотрудников редакции, лишив их — Выбора, Свободы просто выйти, пообедать в городе.

Рассчитав, что для «тепло-дружеской» встречи лучше подойдет формат фуршета, стулья удалили, а столы поставили по периметру зала, загрузили напитками и снедью согласно той безумной смете.

Девятнадцать часов двадцать три минуты, до начала «Дружеской встречи» семь минут. «Гости съезжались на дачу».

Уже упоминалось, что из бывших коллег Сумеров взял к себе троих. Начальником службы охраны стал Храпов, так обмишурившийся в решении «национального вопроса» Геннадия Исидоровича Лодкина. Экс-капитан Семионов, съехавший из начальников хозяйственного отдела в замы, а фактически и дальше, в неопределенную сферу вольного слесаря, электрика, бродившего почти бесцельно по офису, живая иллюстрация разрушительных последствий Эффекта Жданова. Третьим был малозаметный Александр Александров, «отдел информации», исполнитель самых разных поручений. Редакционеры его почти не знали, банковские иногда называли «главой сумеровской контрразведки», «секуритаты».

«Контрразведчик» Александр комментировал на ухо Сумерову.

— Который друг по детству, он из поселка Торфобрикет, название такое, Тверской области. А которые по поэзии: одного в Химках, другого уже здесь, на Хорошевке подобрали.

— А что это с «детским» там? Охранник что-то...

— А... — даже бесстрастный Александров улыбнулся, — это он бутылку водки с собой привез.

— Водки? С собой?!

— Первый раз, наверно. Хотел пронести в зал. В принципе охранник-то действовал по инструкции. Изъял.

Углядел: к «другу по детству» повернул Игнат Жданов, следом Лодкин с Фоксвинкелем и Семен с Луизой. Охранник, оглядываясь, держал, несколько на отлете, бутылку с этикеткой «Русская водка», «друг по детству» пытался забрать. «Ситуация требовала», и Сумеров шагом почти незаметно ускоренным (а кто ж бегаёт на подобных мероприятиях?!) пересек зал и присоединился к теплому дружескому кружку.

— Добрый вечер, многоуважаемый... Владимир Петрович! — Справочную информацию Александров успел, хоть и на ходу, получить и, догоняя, нашептать в ухо Сумерову. — Все мы, коллеги Игната и все его друзья по работе, очень рады вас видеть.

Взяв у охранника тусклую пол-литровую бутылку и задержавшись на мгновение, он затем уверенно поставил ее, чуть раздвинув строй «Д. П.», на стол.

Игнат с Владимиром Петровичем без бросательства на шею, но все же очень тепло поздоровались, следом и подошедшие «друзья по поэзии» похлопали по плечам. Подошедшего Альберта Нартова Сумеров представил как «директора модельного агентства», командира этого батальона и кивнул на рослых элегантных девиц, вальсирующих с подносами или просто стоявших, одаривавших улыбками. Лодкин представил всем американского слависта и корреспондента Джона Фоксвинкеля, а ожидавших очереди Семена с Луизой мстительно обошел. А может, хотел еще раз подчеркнуть Сумерову: «В моем списке этих не было!»...

Впрочем, Луизу, Вадим Сергеевич убедился еще раз, вышибить из седла было невозможно. Уже через полторы минуты она, крепко держа Игната за локоть и энергично вопрошая то его, то «друга по поэзии», который с Хорошевки, образовала внутри общего круга свой треугольничек. Геометрия, седьмой класс, «вписанные фигуры».

Игнат, удивительное дело, вдруг очень оживился, говорил с ней куда более заинтересованно, чем с Машей Кондратенко, например. Кареглазая платиновая блондинка, чудесная гибкая фигура... Здесь был отнюдь не гимнастический помост, но грация и невероятная гибкость Луизы бросалась в глаза и на двух-трех простых шагах и полуоборотах: к Жданову, потом к его «другу по поэзии» (тут она внимательно выслушала путаный пассаж о «продавшихся» Иосифе Бродском и каком-то Льве Лосеве), потом еще полуоборот к Семену.

Сумеров давно привык рассматривать Жданова как волшебную палочку, Аладдинову лампу, в Бутырской пещере найденную, секрет которой известен только ему и трем доверенным сотрудникам. Но сегодня магнитная стрелка, индикатор «Луиза Кошелева» показала, и надежнее, чем просьба об интервью от какого-то Фоксвинкеля, что его Игнатушка стал уже и заметной публичной фигурой, объектом внимания, охоты. Уже, кстати, приходили и приглашения от различных телепрограмм «побеседовать в студии с известным писателем, колумнистом Ждановым» — Сумеров мог их выбрасывать, даже и не показывая Игнату. А если и показывал, результат (для телевизионщиков) был тот же: Жданов не хотел.

35

Альбина подошла, почти церемонно представила свою Алину, взяла бокал шампанского, оглянулась — и ей тотчас принесли минералки для сестры. Однако готовности немедленно приступить к выполнению задания, вступить в дуэль с Луизой не выказала.

Фотографов было поменьше, чем обычно бывает на таких тусовках, и вспышки мигали не ежесекундно. В их VIP-VIP-кружок (а просто VIP была ведь вся тусовка), сплотившийся у столика, они пробиться не могли и вскидывали свои фотокамеры на высоту поднятых рук, как морские сигнальщики в старых фильмах.

— Ну а теперь, за... — тоном уездного тамады начал было Сумеров... Но тут «друг по детству» Владимир Петрович потянулся к своей принесенной бутылке. Давно должно было уж не быть и следа, духа ее на столике! Стоять она должна была — на экспертизе, в отделе безопасности, иначе для чего их держат! Но, видно, охрана просто не могла протиснуться сквозь тесный кружок друзей и забрать.

А Владимир Петрович уже схватил свою поллитруху, одним движением, как скручивали головы гусятам (а в поселке Торфобрикет, возможно, скручивают и до сих пор), отвинтил пробку и повел стеклянным дулом на толпу. Игнат первым освободил «тару», перелив сто грамм своего «Д. П.» в первопопавшийся бокал на столике. Знаменитый американский славист, возможно, внутренне и недоумевая, все же повторил маневр известного русского писателя-эссеиста.

— А ты? — «друг по детству» навел стеклянный ствол в грудь Сумерову... но генерал-банкир успел справиться с безумной ситуацией.

— Об-бя-за-тельно, Петрович! Но сейчас мы должны по старой русской традиции выпить за удачу, за успех Игната Жданова. Так сказать, спрыснуть, его... эссе! — Владимир Петрович грозно поднял бровь, но Александров уже положил на столик экземпляр «Российского фокуса» и быстро долистьявал до нужного места.

— Во! Погляди-тка, Петрович! Ну?! Узнаешь друга детства? — и Сумеров ткнул на портрет автора.

Владимир Петрович, как принято, на пике полного восхищения качал головой в амплитуде отрицательной, словно не веря: «Нет, ну ты даешь, Игнатка! Прямо в журнале. И с портретом! Не может быть!» А Игнат, улыбаясь, тряс головой в амплитуде утвердительной: «Вот. Сам видишь! Да...»

Слева от фотографии автора тянулась строка заглавия: «Триумф боли», и ниже, поменьше: «Эссе».

— Вот! Теперь, Петрович, хоть видим — за что сегодня пьем! А за успех... у нас ведь положено... как водится... как говорится... по старой традиции... шампусиком! А то удача отвернется! — Под эти бессмысленно громыхающие тамадиные присловья Вадим Сергеевич успел аккуратно забрать приготовленную «тару» из руки Игната... потом слависта Фоксвинкеля, а потом и самого Владимира Петровича.

И взамен составляемых на стол бокалов с «Русской» каждому снова вручить бокал с «Д. П.».

— Ну, за удачу!

— Так держать, Игнат! — кивнул «друг по детству».

Дружно жажнув кислятинки, оставшимися в бокалах каплями по традиции потрясли на разворот журнала.

— А когда стихи-то будем читать? — спросил «друг по поэзии», который из Химок. В 1980-х годах они с Игнатом ходили в поэтическую студию «Зеленая лампа» Кирилла Ковальджи, что при редакции журнала «Юность».

А «друг с Хорошевского шоссе» был из более позднего периода. 1990-е годы взамен иллюзий и плюрализма — твердое почвенничество.

«Когда-то, — вспоминал он, — мы обмывали, только не этим дерьмом, конечно, Игнатову поэму “Манифестомания”. Это ведь я тогда помог ее пробить. Отрывок был, но большой, полторы страницы. Зато действительно — первая публикация! А не то, что эти банкирщики сейчас для пиара, для информационного повода придумали! Будто никто не знает, сколько этих эссе у Жданова напубликовано! За дураков держат».

«А мне нравится весь этот аб-сюрд! — внутренне хохотал Семен Гарин. Слово „абсурд“ он всегда, даже мысленно, произносил как „аб-сюрд“. — Америкос, наверно уже заготавливает... сенсацию на всю Америку! Оказывается... — барабанная

дробь, — у русских поэтов и эссеистов принято обмывать публикации НЕ водкой, как раньше все думали, а именно шампанским „Д. П.“!»

Или с другого бока: «Успехи российской экономики! Поток новых нефтедолларов решительно поменял древние традиции в Матушке-России. С недавних пор даже русские поэты обмывают (ob-my-va-yutt) свои публикации самым дорогим французским шампанским! Ваш корреспондент поприблизился на одном из самых первых таких ob-my-ttii, громко сигнализирующем о становлении нового русского уклада...»

А Луизка молодец! Как вцепилась в «восходящую звезду российской литературы», — и для поддержания бравадного тона Семен промурлыкал строчку из Найка Борзова: «Верхом на звезде. Навстречу... ля-ля». Он ей, кажется, сейчас стихи читает, судя по губам, да. Сто процентов, сегодня с ним уедет. А Лодкину — поделом! Даже если не перетянем Жданова на вове, дадим пару его статеек, и вот «восходящая звезда» уже не его, а наша общая. Тысячи четыре, нет, три я ему предложу. А по реакции узнаю заодно — сколько ему Лодкин платит... Ба! А ведь америкосу же и фотографии понадобятся!

Он оглянулся. «А вон с “Кодаком”, и Мишка Просмушин», — и Семен, сделав пол-оборота, отжал спиной «поэтического друга» из Химок. В образовавшуюся брешь сразу же ступил знакомый фотограф, и пока он в упор щелкал VIP-VIP-компанию, Семен ему негромко объявил:

— Завтра мне принесешь всю эту серию, потом... крупно, чтоб этикетки «Д. П.» были видны, потом... еще общие планы, штук двадцать. И потом вон ту, брюнетку с серыми глазами, ее — сколько сможешь. Сто долларов. Только чтобы все — в tiff-формате. Ну давай.

И дружеское кольцо сомкнулось снова.

36

Джон Фоксвинкель не грезил столь сенсационными репортажами из России, какие, забавляясь, приписывал ему Семен, но разобраться в этом буйном хаосе ему было необходимо. Внутри общего срока, тридцати пяти дней, и четырех тысяч долларов транспортных расходов он мог совершенно свободно планировать свой российский вояж, его издатель и газета доверяли ему. «Россия накануне миллениума» Джона Фоксвинкеля, о прошлом посещении, 1998–1999 годов, имела твердый успех в университетах Восточного побережья.

Надо признать, что со времени прошлой командировки Москва очень изменилась (о России пока судить не мог). Очень много конференций, презентаций, фуршетов. Много новых институтов с их цепкими PR и международного сотрудничества отделами. И странное дело, все институты показывают дату основания достаточно почтенную, для новой России, конечно (это ж вам не «Лига плюща»!), но десять лет назад их вроде не было? Научные конференции с малопонятными повестками, водкой и бутербродами в перерывах, чаем с коньяком в кабинетах у ректоров по завершении... отняли пока у Джона Фоксвинкеля тринадцать из тридцати пяти дней его российской командировки.

Сумеров, мельком глянув на зал, вычислил приближающийся пороговый момент, когда VIP-гости могут окончательно обидеться на VIP-VIP-в, samozakruglivshixся у одного из столиков, и потянул Луизу (а та — Жданова) совершить диагональный марш-бросок к стойке, где делал коктейли Рустам. Как он и рассчитывал, дрейфуя. VIP-VIP-льдина раскололась. Софья Генриховна выцепила Геннадия Исидоровича с американцем, Семен галантно подвел Альбину с Алиной к возвы-

шавшемуся черному острову, отцу Мефодию, друзья по поэзии и детству, оглядываясь, побрели к закускам.

Но перестроенная благодать продержалась недолго. Отец Мефодий пришел сюда вовсе не за светской болтовней и шампанским! Пламенный пророк Илия недолго сдерживал себя на презентации нового дворца нечестивого царя Ахава. Оставив Альбину с Семеном, он направился прямо к барной стойке: «Послушайте, Вадим Сергеевич!» Сумеров заметно затосковал.

Он мог точно предугадать первый же вопрос священника: «Что вы там со своим Игнатом? Гипнотизируете нуворишей или глумитесь над самым понятием Веры?», но совершенно не мог выстроить убедительного ему ответа. Гипноз или Вера? Вот Ньютон когда-то хорошо вывернулся: «Гипотез не измышляю». Может, и мне когда-нибудь рухнет на башку... арбуз — не меньше, тогда глядишь, и я что-то такое выскажу. А пока остается только мычать.

Альбина вежливо слушала наставления, а после того, как священник решительно направился к Сумерову, переключила свое радио на пикантные комплименты Семена Гарина. Тот, приглашая всех полюбоваться, самодовольно поглядывал на свою работавшую Луизу и с удвоенной энергией переходил к Альбине. Дескать, «имея таких бойцов, я все же интересуюсь вами. Такой уж я поклонник женской красоты!»

— Глядя на вас с Алиной, трудно поверить, что вы родные сестры.

«Научный», антропологический сравнительный анализ давал ему возможность пристально, бесцеремонно разглядывать девушек.

— Хотя все же нет... Глаза похожи. Так... И брови, если не подвыщипаны вот у вас, тоже похожи...

— А мочки ушей! — привычно твякнула Алинка, подставляя поочередно левую и правую сережки. — Скажи ему, Альба!

Когда-то, в день самого первого признания, выяснения и слез в кафешном туалете, Альбина первой обратила внимание на схожий рисунок нежных розовых лепестков, и сестричка с тех пор неустанно тыкала это почти всем встречным. И сережки носила самые маленькие из своей шкатулки, золотые точки, чтоб только уши не зарастали.

— Точно-точно! Не отличить, — плеснул елеем Семен, — Скажите, Алина, а вы так интересно зовете свою сестру. Это в честь артистки Джессики Альбы?

Альбина, скосив вправо и вверх глаза, просто умилилась гордо задранному носику...

— Фи! Джессика!.. Нет! Это в честь герцогини Альбы! Любовницы художника Гойи! Вы хоть видели картину...

— Да-да-да! «Маха обнаженная». Как же сразу не сообразил! Вот так, мы тут все гонимся за современной быстротекучей модой, а молодежь тем временем тянется, так сказать, к ценностям вечным. Хотите появиться в декабрьском «Русском шелкопере», в «Светской жизни»? — Алина кивнула. — Своим присутствием очаровательные дочери академика Терлецкого украсили презентацию в Инвесткредобанке...

«По Интернету пробил», — решила Альбина, не ровняя осведомленность Семена с настоящей научной эрудицией Эдуарда Кумихина. Под этот вольный треп она наконец решила, как подступиться к конфликту отца с Алиной. Сегодня утром та спросила: «Альба, можно я пока поживу у тебя? Ну хоть... полгода». Серьезность, запущенность ситуации видна была и в тоне (дома больше не выдержит), и даже в просимом сроке, то есть в отмеряемом этим ребенком «периоде войны». Не «хоть неделю», а полгода.

Она была бы и рада разрешить Алине пожить, но по опыту чувствовала, что са-

мые приятные варианты оборачиваются погано. Отец наверняка решит, что все это вообще — Альбина интрига, оппозиция, месть... И уход из дому, и актерство (особенно обидно), и, может, даже этот... Маковецкий — все ее влияние.

Самым порядочным, надежным и добрым из сумеровского (а теперь и ее) окружения она считала — Альберта Нартова. Одна только спонсорская поддержка Вадимом Сергеевичем благороднейшего и оригинального нартовского проекта «Красоту спасем мы» оправдывала в ее глазах любую стрижку, любых там нефтяников, девелоперов и торгашей.

Решение поддержать проект Альберта Григорьевича еще и «информационно», статьей или даже серией статей было уже принято. Альбина решила ухватиться за нартовское «агентство», прочно прописать в нем Алинку, и... дальше «пазл» складывался примерно так: девчонки у него на нормальной зарплате («Папа, успокойся! Это не лжеактерские курсы»). В своей подготовке девушки определяются где-то между моделями, секретарями, артистками. Значит — соответствующие контакты, поездки, кастинги. И на этом фоне потихоньку можно будет (прикидывала способная ученица Сумерова) подкинуть какому-нибудь киношному корифею статейку, убеждающую с помощью Эффекта Жданова, что Алина Терлецкая — то, что им нужно.

Нартова надо будет убедить. Для начала сегодня — познакомить... Даже и этот вертевшийся рядом Семен Гарин облизывался-то «на старшенькую», даже и обращаясь к Алине, косил взглядом на нее — Альбина прекрасно это видела. И невежливо бросив Гарина, она потащила сестру к запримеченному Альберту Григорьевичу.

- Дядя Алик, здрасьте! — подчеркнуто провинциально, подсказывая тон сестре.
- А, Альбинушка! Здравствуй, моя хорошая!
- Дядя Алик, познакомьтесь, это Алина, сестричка моя родная!
- Здрасьте, дядя Алик! — неловко пожала протянутую руку Алинка.
- А когда же, Альбинушка, ты к нам заедешь, рассказ про моих красавиц писать?
- А вот буквально... — завела глаза, словно пересчитывая падающие перед лицом листки отрывного календаря, — ровно через восемь дней! А пока я хочу вам... — и далее пошел разматываться клубок хитрого лисьего плана.

37

Пристроив (пока — минут на десять) сестрицу Алинку на руки душевному дядьке, Альбина поспешила на помощь шефу, заняв для начала у барной стойки место между двумя парами: Сумеров—отец Мефодий и Жданов—Луиза. И теперь подлетевший к ней жужжащей комплиментами и анекдотами мухой Семен Гарин был, пожалуй, и к стати.

Она умудрялась поддерживать разговор и даже кое-какие иллюзии этого живчика, четко при этом настроив правое ухо на страдавшего начальника, а левое — на флиртующего подчиненного. Купаясь в прибое набегавших, накладывавшихся справа-слева реплик, она еще и успевала что-то отвечать редактору «Русского щелкопера».

— Вадим Сергеевич, — отец Мефодий вел свою линию с твердостью стекло-реза, — а ваш Игнат, он сам-то верит в Бога?

— А вот же он стоит. Вы его и спросите.

— Но вы работаете с ним почти год, и на таком поприще... и вас ни разу это не заинтересовало?

— А знаете, святой отец... у меня одна сотрудица есть... — краем глаза встретился со взглядом Альбины, так же в тот миг скошенным к нему мимо галантствующего Семена, — так она такие ситуации взрезает, как селедкино брюхо: вы не ответили — но и вы не спросили!

— ...А я, Луизочка, тогда, в Бутырке придумал определение не слабее Клаузевица: «Изнасилование — это продолжение политики ухаживания другими средствами».

«Обаяет свою Луизочку с двух стволов, — определила Альбина под заливистый Лузин хохот. — Трагизм биографии, Бутырка, романтика с радио „Шансон“ плюс еще и — оригинальность ума. Про «изнасилование», в каком-то старом его эссе было...»

— ...А мы, Луиза, в ответ с Андрюхой Румянцевым взломали их сайт с историческими всякими текстами и документами. Там странички оформлены как древние свитки пергаментные, шрифты старинные. И я в тексте письма князя Андрея Курбского Ивану Грозному, прямо по старинной вязи, смайлики расставил, вроде как «от Андрея — царю». Месяц провисело, пока хватились... они вообще такие архаичные, просто даже саблезубые все такие...

«Помню, помню. А разбираться с той бодягой пришлось мне».

— ...И вот, Луиза, представь, мы с тобой выпускаем свой собственный журнал...

«Ну-ка, ну-ка, — напрягла слух Альбина. — Это что, бегство с корабля?! Или даже с — кораблей? Тут ведь рядом стоит и второй капитан. Сема с сухогруза „Русский шелкопер“».

— Главное, Луиза, энергичное название.

— А еще — самая первая буква.

— Умница! И я вычислил такую для успеха журнала! Ты никогда не обращала внимания, сколько в Российской Федерации выходит журналов на «Э»? Буква ведь — неходовая, в алфавитном строю на переключке — предпредпоследняя. Но сама посчитай: «Эстет», «Эсквайр»...

— «Эгоист», — продолжила осведомленная Луиза.

— Да-да, тоже. И тут, представь, мы с тобой запускаем... «Эксгибиционист»! И поверх всего слоган: «Каждый разворот журнала — как распах плаща в ночном парке!»

«А, ну это — треп, — успокоилась Альбина, — журналистские предварительные ласки».

— ...Ах, Вадим Сергеич! — отец Мефодий отвечал на вопрос о каком-то общем их знакомом. — О нем-то что и говорить, когда у него страх кое-как заменяет совесть! И понятно же, чем оборачиваются его приступы бесстрашия...

— Душа закоренелого грешника — как засоренный унитаз! — веско произнес проходивший мимо экс-капитан Семионов, не сменивший и по случаю такой VIP-тусовки своей растянутой майки «Красноярскстройдортехника. 65 лет».

— А вы знаете, Вадим Сергеевич, как высока ответственность ктитора! И не из всяких рук церковь принимает даяние!

«Видно, у Сумерова что-то планируется в связи с возводимым храмом, будущим приходом, — подумала Альбина. — Вот отец Мефодий и грозится».

— ...И эта ваша бессмысленная роскошь. Вот зачем, например, здесь безумный сей напиток, прямо с «Валтасарова пира»?

Отец Мефодий кивнул на строй бутылок «Д. П.а» с фигурными этикетками, формой и цветом напоминавшими распяленную летучую мышь.

— Безумно дорогое?! — Сумеров, верно, принял какую-то хитрую тактику разговора или просто валял дурака. — Нет, святой отец, мы не прожигатели, вроде каких-нибудь... этих! Мы это шампанское очень даже экономно закупали, оптом, сра-

зу и на презентацию восьмого номера, и на эту дружескую встречу. Оптом, вы же знаете, гораздо дешевле! Мы даже и торговались с поставщиком весьма усердно, рачительно, Помнится, утоптали их, то есть заставили скинуть... сто тридцать рублей за бутылку! Представляете, экономия! В итоге вышло шестнадцать тысяч четыреста тридцать рублей за бутылочку.

Далее Альбина не расслышала, но судя по дальнейшим репликам, отец Мефодий наверняка громыхнул той знаменитой цитатой из Достоевского, где... «Добро со Злом борются, и поле битвы — сердца людей».

— Борются?! — взвился Сумеров. — Сердца людей? Поле битвы? Добра со Злом?! Да где, где, где вы сегодня видите битву?! Ох, клянусь, бросил бы все, полетел бы туда. Мы же все только смотрим, как вокруг нас что-то вроде бы строится. И повсюду такое глубокое оцепенение, словно это замуровывают нас, а мы и рукой, пальцем не можем двинуть... Государство! Сильное, нет — правовое, нет — сильное и правовое!.. И гражданское общество со всеми удобствами... — Сумеров оглянулся и, смутившись, перешел на яростный шепот. — Нет, святой отец! Вы меня тут битвой не пугайте. Сегодня Добро и Зло... заключили свой Хасавюртовский мир и... сосуществуют совершенно спокойно.

38

Альбина вовсе и не думала дразнить Сумерова, затягивая с «заданием». Вполне заряженная на цель (неувод Игната Луизой), она ждала и наконец посчитала этот момент благоприятным, вклинившись к воркующим журналам под ручку с Семеном...

Перестановку на шахматном поле презентационного зала можно было назвать и рокировкой: теперь основная масса тусующихся собралась у столиков, а у барной стойки остались хозяин, именинник и обе гранд-дамы.

Господа редакторы вместе с работниками Инвесткредбанка и гостями уловили и учли в своем поведении два изначальных, задавших тон сумеровских импульса: 1) красавицы из нартовского питомника — не «обслуга», не артикулы красивого интерьера; 2) Игнатовы «друзья по детству и поэзии» — почетные гости вечера, и их долгое пребывание в VIP-VIP-зоне было неслучайным.

Посчитав сей момент тусовки, наверное, «самым разгаром», Альберт Нартов обратился к публике, представил девушек по именам, посулил, что «вы еще не раз, с нежной улыбкой вспомните, из чьих ручек вы сегодня принимали бокалы с этим шампанским».

Наслаждались своей долей внимания и респекта и ждановские «друзья по поэзии». Никто сегодня не смотрел на них как на аутсайдеров, наоборот, им заинтересованно внимала редакция одного из крутых столичных журналов, в полном составе, вместе и с самим главным редактором!

Первым воспарил поэтический друг из Химок, тот, что еще в начале вечера вопрошал Игната: «А когда будем стихи-то читать?!» Ведь в 1980-е, в их с Игнатовым литобъединении «Зеленая лампа», как наверняка и во всех ЛИТО страны, было принято «чтение по кругу». Их собрания (раз в две недели) имели только два «формата»: или предоставляли весь вечер одному из поэтов, слушали, обсуждали или все читали по кругу, выбирали кандидата на следующий вечер. За семь лет у них вышло два тоненьких коллективных сборника. Где-то в году 1992-м ЛИТО «Зеленая лампа» сошло на нет, но тетрадка стихов химкинского бухгалтера продолжала пополняться, хоть и гораздо медленнее.

А вот вельветовый пиджак «хорошевского» друга нес на себе пыль совсем иного геологического пласта. Когда прежний плюрализм, портвейн, дым идеализма

сменились водкой и твердым почвенничеством. В «лихие 90-е» их с Игнатом кружок, который часто навещал и сам Аркадий (правая рука правой руки Баркашова), где стихи читались между политическими новостями, помог, как справедливо припоминал «хорошевский друг», Игнату с первой его крупной публикацией, отрывком из поэмы «Манифестомания».

И услышав, как «химкинский друг», что-то рассказывая Лодкину, перешел на стихи, «друг хорошевский», пройдя сквозь кучку разной банковской сволочи, пошел к ним, прислушался.

В городе Векволиневидальске жажду заливают португальским.
Проще выражаясь, портвешком, — пять минут до станции пешком.
Праздник, лозунг — и невидимые миру слезы...
Я — свидетель этого... колхоза.
В городе Векволиневидальске я уже пять раз родился.
Пять надежд сквозь пальцы утекло. Солнце сквозь копченое стекло,
серп и молот... и кайло.

Вместе с прочими похлопав несколько секунд, «хорошевский» вступил безо всяких предварений и объяснений, как в сегодняшних хип-хоповских «батлах», где рэперы в вязаных шапках читают по очереди:

Белеет парус одинокий в тумане моря голубом.
Что ищет он в краю далеком? Кого-то кинул он в краю родном!
Сказали же: давай без дури! Один сидит уже за нефть.
А Березовский просит бури. Как будто в буре есть гешефт!

И вокруг читающих поэтов быстро составились кружок и даже некое подобие жюри в составе главного редактора Лодкина, американского слависта Фоксвинкеля и «друга по детству» из поселка Торфобриккет.

Вообще-то уже несколько лет поэтические рэперские «батлы», литературные «слэмы», наряду с конкурсами граффити, «мокрая майка», байкерами... — типичное наполнение различных Дней города и фестивалей, где власти и партии, осваивая бюджеты, гордо и устало заявляют в телекамеры: «Смотрите, как вверенное нам население веселится! А раньше-то был только «бег в мешках»!

Но американец видел это впервые, а Лодкин — впервые вблизи, ведь в «Российском фокусе» была отлажена система защиты от графоманов, «самотека» и самодетельности...

Загадки милицейских хроник,
где: «А и Б сидели в БМВ...»
И где теперь тот «А»? А может, «Б» кто вспомнит?
Иль Абдуллу-заде с диареей в галаве?
А БМВ сожгли. Поджегшего — убили.
И дэвушку его не видно из травы.
По поводу братвы решили: «или-или...»
А Гиви не с дырой — савсэм бэз галавы.
Религий пять иль шесть. Двенадцать диалектов.
Таблицы их грехов не сводятся в одну.
А фоторобот сдох. Ушей и глаз комплекты
прикинулись людьми, наполнили страну...
Их всех найдет лесник.
Нет — мусорщик

(Иль дворник?)
И вызовет 02.
03
05
07
Приметы совпадут.
В июне, нет — во вторник.
Закроются дела
Надолго. На-
совсем...

«Хорошевский» парировал мощной октавой, в последней строке развивая Лермонтова: «С усмешкой горькой диссидента-сына над комитетником-отцом».

Без микрофонов, вязаных шапочек и кед они уловили дух рэперского «батла», перейдя далее к экспромтному диалогу в едином ритме:

— Что лучше: Донимать измором? Иль разрубить одним ударом?
Ты назовешь меня позером — я назову себя гусаром.
— ...Но лишь одно тряпье в подвале. Похоже, роли расхватили.
— Швырну в картину помидором и, будучи еще не старым,
в трагедию шагну из хора, двадцать седьмым Бакинским Комиссаром.
Лжесамозванцем, гастролером... плевать: «Макбет» иль «Сталевары»!
— И задом повернусь к суфлеру, ликуя, переврав Шекспира.
Все прочь! И под руки, с позором... Ступеньки, снег... осколки мира.
— Что хуже? Взять одним напором? Иль нудно промышлять базаром?
Ты... назови меня Егором, Я назову тебя — Гайдаром...
Над надорвавшимся мотором вильну прощальной струйкой пара.
— Что наша роль — при свете дня?! Писатель! Обмани меня.

В разгоревшихся глазах старых рэп-поэтов, центром праздника был, конечно, Геннадий Исидорович Лодкин, главный редактор большого, «настоящего» журнала. А Сумеров — так... «спонсор», необходимая, но досадная примета времени. А вот не подошедший к ним Игнат, увы, зазнался. В глазах одного из друзей празднуемый сегодня эссеист предал Поэзию, в глазах другого — Национально-патриотический союз. Единственно, что извиняло оставшегося поодаль Игната Жданова — его окружение. От таких женщин, конечно, трудно оторваться! Две! Да еще так залиvisto смеются, и подливают ему, и пьют с ним наперегонки!

39

«Друг по детству» по-прежнему шлялся, тыча всем в грудь стеклянное дуло своей тусклой, мутноватой пол-литровой бутылки «Русская водка», купленной в поселке Торфобрикет. Правда, содержимое давно было заменено. Несложная была операция: собираясь в туалет, «друг» доверил свое сокровище «самому нормальному, свойскому мужику» — конечно, это был шеф секьюрити Александров. Жидкость была отправлена (на всякий случай) на экспертизу, а бутылка «Русской» сполоснута и заполнена водкой «Белуга», закупленной хозяйственным отделом для этого мероприятия по тысяче семьсот пятьдесят рублей за литр (кстати, и сполоснута торфобрикетовская бутылка была той же «Белугой»).

Незадолго да поэтического рэперского батла «друг» все же угостил «своей „Рус-

скою» — американского слависта, но, хлебнув предварительно из горла, поморщился: «Извини, Джонни, кажется, немного разбавленная».

Слависту Фоксвинкелю, водка, даже подпорченная, «разбодяженная Зинкой», показалась в принципе неплохой. Что как-то ложилось, подстраивалось и к сегодняшнему «Д. П.», и к складывавшемуся уже в голове репортажу о самых современных «русских реалиях».

Да (он покосился на подошедшего Лодкина), к московским тринадцати дням фуршетов и чередой встающих конференций теперь можно точно прибавить и весь этот день. Он ведь и не планировал отдельного рассказа о журнале «Российский фокус» и его эссеисте Игнате Жданове, здесь господин Лодкин несколько преувеличивал, но у Джона Фоксвинкеля никак не получалось взять слово и объяснить свои намерения — все время, целые дни: «Давай выпей и потом расскажешь». Хотя странно... когда он звонил к себе в газету, там почему-то проявили довольно значительную заинтересованность в рассказе о холдинге экс-генерала Сумерова, его журнале и русском писателе Жданове.

Немало гордые уровнем «вечера», друзья по детству и поэзии вопросительно-восхищенно обратились к Лодкину и американцу, что-то вроде: «Ну и как вам это все! В честь нашего Игната?» Геннадий Исидорович вежливо переадресовал всю вопросительность Фоксвинкелю.

— Понимаете, у нас ведь аромат французского шампанского, коньяка, устриц всегда связан... как бы это?... с запахом мест, куда люди приходят тратить деньги. Рестораны, отели, дорогие курорты. Я все же европеец по духу, люблю, знаете, английские Брайтон и Блэкпул, а еще Монтре, Канны, Биариц... Знаете, сам этот запах дорогих мест — он же и составляется из запахов «Д. П.», сигар. А у вас...

— Что у нас? — ревниво вскинулись все.

— У вас ровно наоборот! У вас запахи самых дорогих продуктов — именно на «рабочих местах». Там, где деньги не оставляют, а получают. У нас ведь как, у нас — весы: здесь деньги, там товар. «Деньги — против товара», такой штамп есть у нас в тексте контракта. А у вас здесь: и Деньги, и Товар, а там...

— ...А там ни х... нет! — бурно вступил поэт «хорошевский», ткнув на Владимира Петровича из поселка Торфобрикет...

Сумеров, наблюдая за Альбиной, наконец занявшейся Игнатом, пока не мог понять ее плана. Любезничала по-прежнему Луиза, Альбина, редко вступая, потягивала коктейли. К ним подошел отец Мефодий — это явная помеха. Сумеров с досадой вспомнил свои слова «Вы сами его и спросите» — теперь оставалось ловить обрывки грозной проповеди.

— Вы, Игнатий Иванович, верите в Бога?

— Вверю ли я — Богу? — парадоксальничал он перед Луизой. — Знаете, святой отец, не всегда.

— Игнатий Иванович, а вы крещены?

— Да, с детства.

— Значит, ваш небесный покровитель — святой Игнатий, Брянчанинов.

— Или Игнатий Лойола.

— Тьфу! Прости, Господи! Простите. Я не на латынянина этого несчастного, я на празднословие наше сейчас плюнул, мысленно!

— Вы, святой отец, так деликатно сейчас выразились «наше», вместо того чтобы шмякнуть: «Твое, Игнат, празднословие! Весьма политкорректно!» — И тут Жданов уже довольно откровенно приобнял Луизу.

— Ох нет, Игнатий! Я и вправду подумал: наше. Разговор ведут-то всегда двое!

И, вздохнув глубоко, отец Мефодий отвернулся и стал искать глазами еще кого-то из сегодняшней своей проповеднической программы...

Таковым оказался Альберт Нартов и *топтавшаяся* вокруг него Алина. В руках у сестренки был по-прежнему грейпфрутовый сок, и эта деталь еще раз шкрябнула по Альбининому сердцу. Вымахала вон выше и Нартова, а такая послушная: «Альба, можно?», «Альба, можно?».

И еще один настойчивый, почти постоянный взгляд в сторону их компании зафиксировала Альбина. Одна из нартовских красавиц с подносом шампанского. Даша, точно — она. Ее напряженный взгляд весь вечер упирался в автора статьи, так напугавшей ее, вплоть до увольнения. Бедная любопытная секретарша, прочитавшая в отсутствие шефа отравленный страхом журнальчик, сумасшедшее эссе Жданова о самом страшном и неуловимом типе террориста-смертника. А девушка-то родом из-под Елабуги, а заслоненный ею шеф выгнал с работы «зомбанутую маньячку» в два счета, а Сумеров тогда... — вся эта история свершалась на глазах у Альбины, и забота Вадима Сергеевича посреди миллиона его дел о случайной жертве тронула.

40

В один из моментов механически улыбающаяся Даша прошла недалеко от их барной стойки, и, помимо мучительно напряженного взгляда, Альбина разглядела и ее совершенно побелевшие пальцы, стискивающие поднос с шампанским.

— Альбина, а разве ты не ревнуешь?! — уже откровенно обнимаясь с Игнатом, Луиза хихикнула пьяно, но и торжествующе, с подтекстом: «Если и ревнуешь, то поздно. Дело сделано!»

— Игнацио, а у тебя такая красивая начальница, просто не понимаю, и как же ты удержался! И взгляд, ты посмотри, посмотри — просто гипнотический!

— Да уж, Альбина у нас — это да! Наша Альбина, — разошелся эссеист, — это такая женщина! Когда она заходит в редакцию — разом, будто нажали кнопку, все головы поворачиваются в ее сторону и во всех туалетах разом смываются все бачки!..

Потом они втроем, положив друг другу руки на плечи, танцевали сиртаки. Потом, громко смеясь, тянули какую-то смесь в три соломинки из большого фужера, который раньше стоял на барной этажерке у Рустама как декоративный. Сумеров встретился взглядом с Рустамом — тот весело пожал плечами. В это время участники, жюри, зрители закончившегося хип-хоповского поэтического «батла», так и не дождавшись Жданова («Магомет к горе»), подошли к бару, стали шумно благодарить за удачный вечер, «друзья по поэзии» перешушывали в карманах визитки, полученные от Геннадия Лодкина и Семена Гарина. И все вперебой просили и героя встречи прочитать стихотворение.

— Просим!.. Просим! Мы ждем!

— Давай, Игнат, — подытожил «друг по детству». — Раз пошла такая пьянка! Давай свой стих!

— Давай, Игнацио! — томно простонала Луиза.

Игнат в два залпа, минуя трубочку, допил коктейль, снял с борта фужера и проглотил тележное колесо лимона и начал зловещим шепотом:

— Тысяча девятьсот восемьдесят второй год... Диалог. В желтом доме...

Потом скинул пиджак, выдернул из-под ремня белую сорочку, распустив полы, как у больничной рубахи, и громко объявил: «Первый!» И, чуть преобразившись, пригнувшись, начал от лица «Первого»:

Скажи мне как масон масону:
Что значат наши сны? Известен ли закон
внезапного ночного их разгона
с мельканием блесны, биением окон?
Безбрежный произвол полета над часами
иль до сих пор еще не найденная связь?
Учение молчит — догадывайтесь сами.
Ответ — один в сто лет — приходит не спросясь.
...Приснилось мне вчера, что Брежнева отпели.
Скажи: Андропов — наш?! Пройдет Великий План,
где красная стена, и голубые ели,
и циркули кровавые в глазах?..
О, эта цитадель защищена от бурных вод.
Ударит Зевс — и молния возьмет самоотвод!

Здесь он перевел дух. Альбина краем глаза зафиксировала, как Даша, держа поднос шампанского совершенно уже белыми пальцами, сделала, как обезьянка к удаву Каа, еще пару шагов к Игнату. А тот, гордо распрямившись, изобразил «Второго» и продолжил:

Невежды шепот стих в моей монашье спальне.
Он не масон — кретин! Расплющенным лицом
с утра прилип к окну... С нелепой готовальней.
Я быть хочу один. Беседовать с Творцом.
Хрустальный скрип в часах, и сквозняки из шахты —
мне слышен каждый вздох. И шелест Аонид.
И орбитальный плач забытых космонавтов,
И мысли их о том: кто ж им Звезду вручит?
Приникла вся страна к политике расклада,
Хоть часовой проспи — собравшимся не жаль.
Поминки на Москве. С лечебным лимонадом.
Ночь сыплет звездный сахар на синюю эмаль.
(И ложечкой луну гоняет, как по дну.)
...Слыхал из верных уст, что соберется пленум.
Меня ли проведет секретный их доклад!
Далекий мерный гул... большие перемены...
уже подходят в снах,
...никто не будет рад...
Гармония небесных сфер над территорией СССР
приглушена иль вовсе не слышна,
а это значит: кончилась страна...

Закончив «Второго» на ноте зловещего свистящего шепота, Игнат вновь согнулся, бросил прядь на лоб и вернулся к «Первому»:

Выходит, я — кретин. А он — пророк. Исая.
В покойники вписал громадную страну.
Хорошенький прогноз! А как Спартак сыграет?
Или когда пойдет Швейцария ко дну?
Ахти! Боюсь твоих пророчеств:

То в экономике застой, То земной шар внутри пустой...
Но... как он принимал нас, все палатой — в Ложу!
Смеялись главный врач, дежурный санитар.
Всклокочен, бородат, на лешего похожий...
Больничное белье — не все...
Хоть трижды ты масон — не позабудь кальсон!!

Последнюю строчку он, разгибаясь, проорал во весь голос и получил... вместо аплодисментов — ноту чистого девичьего визга и хрустального звона! Даша с полным подносом шампанского, побледнев, рухнула на спину. Через секунду Даша открыла глаза, самостоятельно вскочила, озираясь.

— Что за стих, Игнат! — вступила Альбина. — Как девушку запугал!

Но в глазах всех прочих успех «стиха», валящего с ног слушательниц, хотя бы и одну, был несомненный. Луиза подала Игнату пиджак. Надев его поверх так и незаправленной, висящей белой рубахи, Игнат и вправду стал немного похож на восточного фанатика. И они втроем вновь привалились к барной стойке, и Рустам привычно подал им двухлитровый, бывший декоративный фужер с тремя трубочками.

А в двух шагах подошедший Фоксвинкель вещал Геннадию Исидоровичу: «Эмоции! Вот единственное что важно для русских! Рисунок момента! Эмоциональный всплеск!»

— Да-да, Джон! — соглашался Лодкин. — Всегда так было!

— Да-да, Джон! — обернувшись, громко передразнила Альбина, — Ты запиши, Джон... А еще, знаешь? Запиши: мякина (туа-ки-на), это у русских — такой сорт черной икры!

И вся троица дружно прыснула пьяным смехом, продолжая наперегонки тянуть коктейль, сталкиваясь и фехтуя трубочками. Попросили музыки, Рустам обернулся к стереосистеме, вставил зеркальце диска, и лазер, шаря по невидимым миру дорожкам, вновь извлек сиртаки, и они опять — руки друг другу на плечи — танцевали втроем. Так же строго по трое они решили посещать и туалет, а мужской или на этот раз женский, определяли, выбрасывая на пальцах числа: если считалочка выпадала на Игната — шли «к нему в гости», если на Луизу или Альбину — втроем в женский...

Улучив момент, когда Луиза будила упавшего в кресло Игната, Сумеров заворонно потянул:

— Альби-инушка, да он же у тебя просто в дупель! Никогда таким и не видел.

— Возможно, не видели. Но приказание ваше выполнено: теперь он точно с Луизой не уедет.

— Так как же ты их так ловко споила?

— А вв-ы что, думали, что я тут с ходу примусь красотой соревноваться? Первенство по обаянию! И устрой с Луизкой прямо вот здесь, у стойки бара... перед нашим Парисом-Игнатушкой — конкурс г-голых богинь?

— Ну... Альби-ина! — с откровенным восхищением протянул Сумеров. — Чем больше узнаю, тем больше тебе... поражаюсь даже!

— Да, — с оттенком «законное самодовольство» отвечала она. — Вклиниваться в эту ситуацию мне пришлось уже на ходу. Заметила — они и сами пытались дружка дружку подпоить. Такк-ска-зять... помогла мне сегодня юность, прошедшая в барах.— протянула на неизвестный Сумерову мотив. — Да, они каждый со своими целями... оба пытались раскрутить. Я только и усилила этот праздник жизни...

Повестка. Уведомление... Точность маникеевского удара Сумеров оценил сразу: любые подковырки под финансовую сторону его деятельности подключали бы Комиссию по надзору за банками, налоговиков, МАП (Министерство по антимонопольной политике) и неизбежно превращали бы их личную разборку в очередной всероссийский скандалчик. Тогда как простой вызов Игната Жданова на допрос по поводу старого уголовного дела и нового в нем обстоятельства — убийства актера Павла Сухотина — наносил проекту Вадима Сергеевича более сильный удар. Причем оставляя при этом всю ситуацию в рамках рутинного уголовного дела, целиком в ведении генерала Маникеева.

По окончании допроса подозреваемый Жданов, скорее всего (несложно догадаться), получил бы меру пресечения «взятие под стражу», был бы помещен в следственный изолятор и...

Что — и?

Напряжение последних месяцев, три десятка выигранных бизнес-поединков и закадровый постоянный страх-соблазн — вдруг и самому подпасть по поток ждановской веры — все это подтачивало силы Сумерова. Его почти совершенный мозг-управленец вместе с обработкой дюжины реальных вариантов прокручивал и совершенно посторонние, бредовые сюжеты. Вдруг ярко представлялись заполненные, забитые улицы, люди, задыхающиеся в крике, трясущие друг друга: «все верят во всё». Что они с Кумихиным синтезировали «Вещество Веры», потом в лабораторию ворвался ОМОН, взрыв, разлив, цепная реакция, революция... и сверху — пронзающий взор с купола храма Спаса Преображения. Отец Мефодий показывал ему картинки-репродукции росписей Феофана Грека, и тогда еще мелькнула мысль: да, стоило бы съездить в Новгород, посмотреть, уж больно тот взгляд удивителен...

Взгляд с купола храма вдруг заместился импульсом из мира «реаль политик». Самое важное на сегодняшнюю минуту? Что у Румянцева с Нартовым? Вчера он все об этом выяснял, — в Администрации президента им назначено на двадцать девятое число, через одиннадцать дней. Срок, еще вчера воспринимаемый как обычная пометка в настольном ежедневнике, теперь, после этой повестки, казался пропастью.

Перевести Игната на нелегальное положение? За границу? Со всей лабораторией? Он и так-то послушной ребенка, а после повестки этой... Или к Василенко с Нартовым в гарнизон, занять круговую оборону, вооружить их женский батальон. Отряд «Вице-мисс» с автоматами АКМ — красиво, но это опять бред, заслоняющий главную нависшую необходимость — разговор с генералом Маникеевым. Где лучше? Сюда он, обиженный, уже не зайвится. Может, в гарнизоне у Василенко с Нартовым? Решит, что я напрямую эксплуатирую старую дружбу. На «нейтральной территории»? Да можно и прямо к нему в кабинет, пара аргументов для Маникеева все равно есть, начать можно и там, а продолжить... где получится.

Готовился к этой встрече и подполковник Григорий Рейнин. Подготовил обзор телефонной прослушки, полный перечень абонентов, с которыми Сумеров разговаривал за последние десять месяцев. Из ста восьмидесяти трех лазерных дисков накопившихся записей с камер в сумеровской квартире он по приказу генерала Маникеева сделал выборку на двадцать пять минут: самые значимые моменты, где в разговорах с женой шли упоминания о бизнесе, о самом генерале Маникееве, о ГУВД в целом. По-прежнему Рейнина очень напрягала фраза Сумерова к жене: «Пока Володя Маникеев там на своем посту, я могу не опасаться даже бывших коллег». И по-прежнему подполковник не мог определить для себя, что там имелось в

виду: оценка способностей генерала Маникеева, «недалекий, не сможет разобраться в тонкостях сумеровского бизнеса», или... уверенность, что старая дружба всегда даст им почву для перемирия? Первый вариант — дополнительный компромат, второй — Грише Рейнину под зад.

Первые полчаса разговора Сумеров упорно взвешивал, прикидывал, оглядывая друга Володю, что в нем сейчас перевешивает: обида или денежный интерес. Обида или деньги? Еще в новочеркасском Суворовском он был самым справедливым делильщиком в их компании, лучшим третейским судьей в масштабе училища. Никогда не жадничал, но всегда упорно подравнивал. И сейчас Сумеров понимал, что строго развести по углам варианты: Обида, Деньги — не получится. Именно от того, что Обида заслонит и любые денежные расчеты. Даже если, чисто гипотетически, Сумеров сейчас отдал бы абсолютно все, включая банк, здания, все счета, буквально все, оставив себе только квартиру и двести тысяч рублей на пару месяцев... все равно Обида настроит Маникеева считать это жалкой подачкой.

— Ведь мы для тебя все: и я, и Нартов, и Василенко, все — отработанные, ступени ракеты! Отбросить — и все дела! — невольно подтвердил, выдыхая сигаретное облачко, Маникеев. — Нашел своего гипнотизера и мечешься с ним по олигархам. Вцепился так, что все забыл, смотреть противно. Он у тебя там не в клетке ли сидит? А то что-то последнее время ты с ним и выезжать перестал. К себе теперь приглашаешь, Кашпировский ты наш?! Ну теперь ты понимаешь, что про твоего гипнотизера Жданова, мне все известно. На черта тебе только журнальчик этот, не знаю, да это и... дело десятое. Мне тут намекали, что ты свой «Фокус» к выборам раскручиваешь. Или просто у тебя со Ждановым такой уговор, бартер: он тебе олигархов, ты ему — журнальчик, чтобы он мог в каждом номере, сколько хочет, своей ахинеи гнать? Или все же политика? Не думал, не думал, Вадим, что хоть когда-нибудь мне придется вести с тобой такие разговоры! А по уводу активов у Мохова и Гальперина — ты просто бандит настоящий. Мошенник. Теневик!

И мощно вдавленная Маникеевым сигарета, лопнув, раскрылась в пепельнице, распустилась, словно пегий цветочек или гриб-поганка. Разговор, шедший в генеральском кабинете, подходил к переломному моменту.

— Понимаешь, Вова. Или уже гражданин Маникеев. Случай на меня свалился настолько невероятный, что его вот так, прямо, ни на какой исповеди не изложишь. Говорю тебе как на духу, уже как теневик силовику! — переведя дух, продолжил в другом, замедленном темпе: — Но ты напряги свой воображательный блок или хотя бы просто отмотай пленку назад, до момента получения самой первой информации. Если бы я тогда пришел и раскрыл бы тебе весь свой проект... — поверил бы ты мне? А? Ты у нас самый справедливый но и самый тугодумный, честно скажи, что бы ты тогда решил? Что или Вадик Сумеров объелся грибов поганых, или маразм его настиг досрочно. Или, что скорее всего, ты бы заподозрил, что я гоню такую ахинею, чтобы замаскировать какие-то другие, реальные дела?! Ну по-честному, а?!

Справедливый генерал Маникеев подумал с полминуты и кивнул.

— Я и решил, что единственный шанс тебе поверить, это дать самому подсмотреть. Ты еще, может, оценишь — ход мой и хитрый, и, наверно, единственный! Я все тебе собирался когда-нибудь рассказать, но это было бы уже почти неважным, ненужным. Так, дополнительный комментарий к тому, что ты уже подсмотрел.

— Понял тебя, Вадик. Ты это сейчас после того, как я предъявил тебе факты, про гипнотизера твоего и обкраденных бизнесменов Мохова и Гальперина, решил по-

менять тактику. Что и не скрывал, что и сам собирался рассказать. Знаешь, что, дружок: на явку с повинной это ну никак не тянет.

— Эх, Володька! Готовился ты, готовился, пересматривал свою сраную прослушку, проглядку, а ничего так и не понял! Мне совершенно плевать: законно-незаконно ты вкрутил телекамеры, сейчас дело в другом. В хронологии. Я сейчас вообще уйду и оставлю тебя наедине со всей твоей видеотекой. И календариком. У нас, у вас же все даты съемок зафиксированы, как положено. Вот и ты сопоставь.

— Что? Что ты юлишь?

— Первые настоящие факты, про переговоры, про нас со Ждановым, про кинутых Мохова с Гальпериным, ты получил числа пятого или шестого марта. Не помню, сам уточнишь. А потом глянь и на свой дисочек от января. Двадцать второго числа. Посмотри, посмотри внимательно, еще раз. Сидим мы там с женой, и Алик Нартов у нас за столом. И приглядишься, как я мимо них подмигиваю прямо тебе в камеру! Это я тебе подмигивал. Вечером накануне я определил, что вы там вкрутили и где именно. Жена и Нартов еще немножко недоумевали, что я мимо них в угол часто смотрю. Ты посмотри, где-то в начале мая, я говорю жене: «Пока Володя Маникеев там на своем посту, я могу не опасаться даже бывших коллег». И что я делаю при этом? Прикрывшись ладошкой от жены. Вот до чего ты меня довел, Володенька. И заметь, первый, первый ты начал. Говоришь, что вы для меня — отработанные ступени ракеты. А я для тебя? Подопытная мартышка в барокамере! Следить: как поведение, как пульс, давление? Э-эх! Как, кстати, выражается мой Игнат Жданов: все мы обидчивы, архаичны и очень саблезубы!

— Чего-чего?

— А я и сам не понимаю... Но ведь Нартову я помогаю всерьез. Лично ты знаешь, он ни копейки не возьмет, а питомнику, красавицам его — перевозу. Ты собери справки за эти три квартала. Как раскрутился я, так и начал помогать. И тебе собирался, и Катьку твою пристроить. А ты... Ты еще в спальне у меня и у дочки установи свои паршивые гляделки! Хоть подумал, каково мне было это узнать, что мои друзья за мною же следят, камеру ввернули! Это я еще ладно... язык тебе показал! А мог бы и... вам всем...

Впервые за время разговора Маникеев потупился.

Через семь дней следователь по делу об убийстве Павла Сухотина вежливо опрашивал Игната Жданова. Но не у себя в кабинете, а в гостях в Инвесткредобанке, в выделенной переговорной комнате № 2 и в присутствии Андрея Румянцева. Простая формальность: в связи с убийством должны опросить всех его знакомых. «Что-нибудь, Игнат Иванович, вы можете сообщить, дополнить в связи с новым обстоятельством, убийством вашего знакомого гражданина Сухотина? Нет? Ну и прекрасно! Распишитесь, и это ответвление следственного лабиринта можно считать закрытым».

И оно действительно было закрыто буквально в тот же ноябрьский день, когда подполковник Григорий Рейнин вступал в должность заместителя начальника отделения милиции города Ахтубинска...

42

Всплеск паники после получения повестки и такая счастливая развязка — Жданов готов был молиться на Сумерова. А Румянцев вспоминал беднягу следователя. Ему и так, видно, приказали особо не терзать «хорошего человека» Игната Жданова, а тут еще и такой залп личного общения. Эффект Веры — в полный рост.

Однако легкий стресс после разговора со следователем оставался. Но оставались и разные средства борьбы со стрессами. Водка, унесенная с «дружеской встречи», текила «С.», шампанское «Наш дом — П.» (вот уж на что неделю смотреть не могли! Но на случай подарка, похода в гости — годилось). Три бутылки виски «Д. Д.». С них и начали...

— Андрей, вы в детстве играли в «кинофильмы»?

— Это как?

— Букву выбирают, и по очереди надо называть фильмы, на эту букву начинающиеся. Классе в четвертом-пятом мы на переменах рублились. Типа — «Вэ»: «Война и мир» — «Вий». И так далее.

— Да, что-то вроде было.

— А когда самые ходовые фильмы переберут, споры начинались дикие. «Не было такого фильма!» — «Был! Там еще один приезжает в город, а немцы уже мост взорвали...» — «Врешь! Это было в „Майоре Вихре“!» — «Сам врешь!..»

— Вспомнил, играли.

— Так вот я был, наверное, чемпионом школы. Ну, или пятых классов, старше-то в нее не играли.

— Фильмов много знал?

— Да, память была нормальная. Но и другие тоже помнят. И рано или поздно иссякают. Тогда и начиналось самое интересное. Выдумывать начинали, напористо, с подробностями. Тогда ведь еще было такое: «Расскажи мне такой-то фильм». Киношка — одна на поселок, не попевает, наверно, добрая половина фильмов так и ходила, в пересказах. Прямо жанр был такой. И тут еще игра эта, сначала бойкий перечень, а потом пересказы, споры. «Сам видел?» — «Нет. Дядя Витя в Москве смотрел. Там еще...» — «Врешь!» А чемпионом я был потому, что быстрее других придумывал название фильма и вдогонку — целый сюжет. И пересказывал так убедительно... в общем, побеждал. И так заврешься, столько насочиняешь фильмов! В сценаристы бы мне тогда. Часто и не помнишь, что сам смотрел, что тети-дяди рассказывали, что выдумал.

«Вот откуда ноги-то растут! Эффект Жданова! — вяло потягиваясь подумал Андрей. — Но мы не Кумихины, мы с “эвриками”, высунув язык, носиться по этажам не будем».

— Игнат, а ты дочитал «Рассвет над туманностью Андромеды»?

— Говно.

— Точно, говно. А знаешь, я вот вчера читал, посмотри: «Вахта на Кассиопее».

Игнат взял предложенный том, раскрыл на середине, через десять секунд вернул Андрею: «Говно»!

Тихое отчаяние. Его Жанночка медленно сходит с ума, бегаёт по отцовскому дому, прячется от космических негодяев так, что прислуга, охрана не могут найти, и он ничем, ничем ее пока не может...

— Слушай, Игнат, «голова как Голливуд», а ты мог бы сам сочинить фантастику, но обязательно с добрыми инопланетянами?

— Зачем?

— Затем, что я попросил.

— Никогда не сочинял фантастики.

«Ах ну да, ну да! — усмехнулся про себя Румянцев. — Какая, к черту, фантастика, когда все пересекающее линию этих зубов сразу же становится самой чистой правдой! Реализмом».

— Ну и не надо фантастики. Давай в этой... реалистической манере, но про инопланетян, которые спасут нас от всего этого бардака и глобального потепления...

Во! Ты же Юрия Шевчука любишь, да? — Андрей снял со стены гитару. — А у него как раз есть песенка, помнишь, как там, — пару раз чиркнул по струнам, — «Совет Галактики узнал, что кризис на Земле назрел, и, чтобы род твой не пропал, сюда я, парень, прилетел».

Допели, выпили, Игнат пообещал добрых марсиан.

— Теперь, Игнат, смотри. Надо, чтобы у тебя там был такой сюжет, что они прилетают сюда и... вступают в контакт с земной женщиной, насилюют, короче, но в чем фокус-то, делают это не потому, что злодеи, а ровно наоборот. Ну просто принято так, в ихней галактике. Как у нас рукопожатие. И они свою доброту выражают именно этим, а их женщины свое одобрение — криком. Понял?

Игнат начал что-то припоминать, недоверчиво сощурился:

— Ты, Андрюха, к чему все это клонишь, а?

— Да так, развить твой же забытый сюжет. И потом, у тебя же недавно была в эссе такая фраза: «Изнасилование — это продолжение политики ухаживания другими средствами». Вот и закольцуй сюжеты. Старый, как ты говоришь, из прошлой жизни. И новый, с этим твоим эссеизмом. Клево же тогда получилось: продолжение политики ухаживания другими средствами!

— Тебе понравилось?

— Не то слово!

— Ну ладно. Попробую.

— Только побыстрее.

— Да зачем тебе?

— А я загадал.

— Слушай, а давай я сейчас одной девахе позвоню. Видел, на вечере какую я заклеил? Луиза. Наверняка у нее подруга есть, че-то такое говорила...

— Нет-нет. Не звони. Почему? А-а, ты знаешь... Там же, на твоём вечере, были девчонки и получше, модели эти нартовские. Давай лучше к ним съездим. Помнишь, там одна?

— Которая шампанским облилась?

— Ага! Она ж от стиха твоего чувств лишилась! Впечатлительная, поэтичная, значит, натура.

— Не-е. Луиза, она...

— Да нельзя к ней! Она же — это... м-м, конкурентка наша. Из конкурирующего журнала. Знаешь, как Сумеров рвал-метал, когда их с редактором на вечере увидел. Тут еще целое расследование будет: кто их пригласил?

— Правда? Сумеров?

— Сказал, что предателей выгонит беспощадно!

<...>

44

Занятия в нартовском питомнике ей довелось увидеть впервые. Слава Богу — никаких парт, столов и томящихся за ними сонных красавиц. Вообще не класс, а скорее студия, похожие она видела на съемках ток-шоу. Посередине — подиум, кресло и большая передвижная вешалка, похожая на мостовой кран. Вдали кабинка с бордовыми занавесями. Полукругом на стульях — нартовские питомицы, девятнадцать человек. На вешалке — целая шпалера пестрых платьев, а в кресле... погодите-погодите... точно — имя сразу не вспомнить, но она часто мелькает в телепередачах о моде, какая-то дизайнерша. С указкой. Освещение и подвешенная камера — ну точно, телестудия.

Дама делилась тонкостями фасонов, тыкала указкой, девушки брали с вешалки плечики и удалялись вглубь, к кабинке, потом выходили новым, пружинным шагом.

Альбина осталась в дверях, отыскивая по затылкам, пышным черным, белым, каштановым гривам, хвостам свою сестру. Вон во втором ряду. Вертится что-то. Вот и оглянулась, но, наверно, не различила: они-то сидят под софитами, а двери в полумраке. Сзади на цыпочках подходил Нартов.

— Здравствуй, Альбинушка!

— Дядя Алик!

— Они там с бельишком-то закончили? — шепотом.

— Да. Платья мерят. Подходите.

Все ясно, будто и не первый раз она тут, а сотый. Нартов, как хозяин современного модельного агентства, конечно, осведомлен и о таком жанре, как демонстрация нижнего белья. Но стесняется. Просунул в дверь рядом с Альбиной. Страж генов русской красоты. Рыцарь. Крестonosец. Мученик.

— Дядя Алик, у вас что-нибудь вроде... учительской есть? Или кабинет ваш? Да и сейф, чтобы... — Она подняла на руке увесистую спортивную сумку.

И они, развернувшись, припадая на полумысках, тихонько пошли по коридору до двери с табличкой «Директор». Вошли. Присели к журнальному столику.

— Чайку? — так же полупшепотом спросил Нартов и, сообразив свою ошибку, громко рассмеялся.

— Давайте. Только учтите, дядя Алик, еще и ужином меня кормить будете, и завтраком. Ночую я сегодня у вас.

Альберт Нартов и не скрывал, как ему приятно смотреть на Альбину, светился весь, оббегая ее с чайником, вазочками:

— А вот и мед. Настоящий, башкирский, Динаре прислали, угостила.

— Я, дядя, Алик, соберу материал, впечатления, с девчонками поговорю. А завтра с утра фотограф приедет со всей техникой. И глядишь, к концу недели сладим о вашем питомнике статью. Это уже в декабрьский номер, но будет в самую точку, предновогодний... И еще одна идея по ходу возникла. Нужен будет и такой карнавальный видеоряд, костюмы, елка и прочее. Мы это или здесь организуем, или будет даже лучше, вывезем вас на какое-нибудь предновогоднее шоу. Они как раз в первых числах декабря готовятся.

— Умничка! А мои-то рады будут.

— Так, а теперь и о прозе жизни.

И Альбина приподняла свой груз. Нартов кивнул: «Понял-понял», подошел, открыл сейф и потянулся было забросить туда всю сумку.

— Э, нет, дядя Алик. Доставайте пачками. У меня ж там и зубная щетка, и ночнушка, и тапочки.

Они стали у открытой дверцы, и началась «операция», комическая до полного абсурда. Сумеров сообщил утром: «Три лимона», и все. При их отношениях какой-либо пересчет не требовался, оставалось перекидать. Альбина держала распаханную сумку, а Альберт выуживал пачки в банковском целлофане и, больше глядя на свою «умничку», бросал их на нижнюю полку. Несколько раз их фантастическая инкассаторская операция прерывалась легкими взвизгами: «Ой, а это колготок пачка!», «Ой, а это я Алинке привезла!», «Ой, это моя ночнушка!», — и Нартов шаривал в сейфе плотно сложенную пачку кружев под целлофановым пакетом, возвращая в сумку «банкирши».

И по всем водевильным законам именно в этот момент раздался еще один визг: «Альба приехала!» — и на Альбининой шее повисла ее дылдочка.

— А ты давно здесь? А мне сейчас только сказали, что ты приехала! Ой, сколько денег! Пачки! Ой, это что, Альба, за меня взятка? За то, что меня сюда приняли?

— Да, точно. Как в фильмах. Старшая сестра ограбила банк, чтобы младшенькая могла выучиться на топ-модель. Так что учись хорошо, собирай большие гонорары. Будешь мне пе-ре-дааа-чи носи-и-ить! — с киношным подвыванием закончила свой экспромт Альбина. Но, увидев смущение Нартова, оборвала спектакль: — Сядь, Алин.

Они доброслали оставшиеся пачки, закрыли сейф и присели рядом.

— Извините, дядя Алик! Это мы так дурачимся. Алина, но ты же у меня не совсем еще дурочка, да?

— Не совсем! — радостно кивнула.

— Так что еще недельку поживешь здесь и поймешь, что взятка и дядя Алик — вещи несовместные.

Комнату Алина делила с Дашей, бедняжкой экс-секретаршей, недавно на тусовке облившейся шампанским... Это соседство можно было истолковать как две самые новенькие, последние по времени из поступивших в агентство. Но опытный, например, Альбинин глаз различил тут и приметы внутрискрайной конкуренции. Обычное для любого коллектива дело.

За день Альбина прикинула и градус этой борьбы (а Нартов подтвердил): вполне терпимый, максимум насилия — щипки за попы. И понятно, что ее сестра и Дарья главными авторитетами здесь отнюдь не были: пришли «по блату», без званий «Вице-мисс» уездных городов.

И первая из подкинутых Нартову идей была косвенно связана с этим. Они опять сидели в его кабинете. Из коридора неслись ритмичная музыка и бравурные выкрики тренера. Что-то вроде аэробики.

— Смолянки. Дядя Алик, запомните: смо-лян-ки!

— Что смолянки?

— Образ. Ключевое слово. Сквозной импульс. Ваше агентство, как ведь не называют только? Любя, конечно. Питомник, интернат... И все уверены, что вы что-то такое небывалое выдумали. А девчонки не чувствуют, как им себя вести? Интерна-товки? Или — отборные чернобурки, норки, хорьки на звероферме? Особенно эта, с пепельными волосами...

— А-а, Ксюша! Наша «Мисс Энгельс».

— Кто-кто? — Альбину немного шарахнуло.

— «Мисс Энгельс». Город такой, на Волге.

— Ах ну да, ну да! «Мисс Энгельс»... Вот я, дядя Алик, и говорю. Ведь был же такой Смольный институт! Я сегодня наблюдала ваших и все прикидывала: а в Смольном институте благородных девиц, к примеру, щипала ли юная княжна Голицына за попу юную графиню Шереметеву?

— Ну и как?

— Конечно, щипала! Но все равно ведь... смолянки! Это и образ, и стиль поведения. Я вам в Москве литературу подберу.

— Ох, ну ты и... Альбиночка! Солнце ты! Я в тебя прямо с первого дня, как увидел, влюбился. Но тебя в мой питомничек приглашать нет смысла, Ты сама кого хочешь сохранишь, наставишь на путь. Точно, смолянки! Они и рады будут. Ты только, кроме книг, еще и фильм какой-нибудь подыщи про Смольный институт.

— Ага. «Ленин в октябре»... Шучу-шучу. Подыщу, конечно... И главное, что я вам хотела сегодня подсказать... я это по дороге придумала.

— Ну-ну.

— Одним... голым модельным бизнесом их долго не удержишь.
— Точно-точно. Я сам над этим голову ломаю.
— Замуж их надо пристраивать. Правда, я о них всех сейчас, как о сестре своей, думаю.

— У меня здесь двое за офицеров и выскочили. То-то радость была! Я же им зачитывал, когда они анкеты заполняли. Почему вы выбрали карьеру фотомоделей? — Хочу нести людям красоту! — Да как, кричу им, вы можете красоту принести? Розовым подолом на подиуме помахать, это красота? А на следующий год розовый уже и некрасиво, а «красиво» — зеленый. Да самую настоящую красоту... говорю им, вы с генами вашей... можете принести, если детишек родите. Так вы красоту людям и преумножите!

— Правильно, дядя Алик, вы только на моду уж так не нападайте. Они, может, и не из-за стипендий тут держатся. И не потому, что с жильем у них туго. Они ведь знаете, почему тут держатся? Нет? Да потому что они вас чувствуют. Что кто-то искренне их любит и заботится. Так что — любовь. И вам надо стать не только модельным, но и брачным агентством.

— Да я хоть свахой, хоть кем! Но дело-то тонкое. Сердечки не поломать.

— Вот с умом тут надо.

— Как у твоих смолянок?

— Да там, кстати, и балы были, с офицерами танцевали. А знаете, что я по дороге сюда слушала, я обещала вам рассказать. — Альбина вытащила телефон с болтающимися наушниками. Огляделась. — У вас компьютер-то есть?

— У меня? Компьютер?

— Ох, отстае, дядя Алик!

— А у нас же тут есть и свое... интернет-кафе! Там они, голубушки, и включают. Переписываются.

Они прошли по коридору, и через пару комнат Нартов толкнул дверь с табличкой «Интернет-кафе». Они присели к одному из шести компьютеров. На стене над ним, подобно застекленному эстампу, висело изречение, вроде агитации. Нартовская забота.

«Береги платье снову, а гесьть смолоду».

«Прожить надо так, чтобы не жег позор».

«Относись к людям так, как хозешь, чтобы они относились к себе».

Одно запомнилось, потому что было с подписью: «Не играй своим Спасением. Игнатий Брянганинов». И далее снова: «Любите книгу — источник знаний!»

Над ее компьютером висело довольно грозное:

«Ленивым рукам работу находит дьявол».

Альбина нажала кнопки, черным проводком подключила свой телефончик.

— Вот что я слушала, когда ехала к вам, и думала про Алинку.

Альбина прошла по клавишам, и из боковых динамиков Нартову заиграла бодрая музыка:

«Мы не знали друг друга до этого лета, мы болтались по свету, земле, и воде. И совершенно случайно мы купили билеты на соседние кресла на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И уже ровно год как просыпаемся вместе, даже если заснули в разных местах. Мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли, кофе сбежал под...»

— И кто это? — спросил Нартов без особого понимания, ожидая еще какой-то развязки сюжета.

— Понимаете, это написал и поет один очень талантливый и красивый молодой

парень. Александр Васильев из группы «Сплин». Вот с кем бы я и сама мечтала... оказаться на соседних креслах на любой высоте.

— Ну-у.

Уважение Нартова к группе «Сплин» в эти минуты выросло просто невероятно. От нуля и до небес... Его давно тянуло расспросить Альбину — о ее личных, сердечных делах. Чистый интерес рыцаря русской красоты: представить, в кого влюбляются *такие* девушки, как Альбина?

— Тут вам, дядя Алик, в этой песне и вся история. И красиво, и невзначай, и любовь. И шанс, шанс!! Надо, надо вам держать такого разведчика шансов: где? Кто? Когда? Например, вчера по радио передавали: послезавтра молодых хоккеистов награждают, где-то в конференц-зале или в РИА «Новости», адрес не расслышала. Понимаете, девчонкам надо дать шанс! Не за руку привести, на колени усадить, а именно — случай! Это, конечно, целое новое направление, и стоять будет порядочно, но я уверена, Вадиму Сергеевичу мы объясним, он поможет.

— Ну светлая же, золотая голова у тебя, Альбинушка! И сердце... Мое сердце, оста-новилося, мое сердце за-мерло...

— Да. И еще, дядя Алик. Вадим Сергеевич просил передать.

Совсем другим голосом, выключая музыку, компьютер, выдергивая телефончик, продолжила Альбина. Нартов заметно посерьезнел, притих. Они вернулись в кабинет.

— Про двадцать девятое число он просил напомнить. Что вы идете с Румянцевым в Администрацию президента.

45

А в итоге для Андрея Румянцева вся дилемма «плана спасения Жанны» свелась просто к выбору: Рябов или Сумеров? Кому довериться? Свою часть задачи Игнат Жданов с грехом пополам, но выполнил, короткий рассказик про добрых марсиан сочинил. Согласился при случае и зачитать его под запись в аудиоформат, то есть в микрофон, то есть в Дыханиеуловитель Кумихина. Но дальше-то сконденсировать ждановские выдохи «веры», выделить «Вещество» — это мог только сам Кумихин, который с большим, наверно, внутренним наслаждением и послал Румянцева... к Сумерову. «Без его разрешения, сам понимаешь, никак нельзя». Выкладывать все Сумерову? Но Жанна Рябова — главный фигурант, потерпевшая в том уголовном деле, в той истории, в рамках которой недавно, скорее всего, и грохнули Павла Сухотина, и чуть не забрали их Игната. Что тут Вадим Сергеевич навывчисляет? Даст ли добро?

Второй вариант: уговорить Рябова отпустить с ним Жанну, привести ее сюда и дать ей выслушать ждановскую добрую инопланетную сказку непосредственно, глаза в глаза (если учесть эти миллианограммные струйки «Вещества Веры»: рот — в нос). Было бы даже и действеннее. Но... Сумеров или Рябов?

Может, эта занесенность Вадима Сергеевича в свои недоступные планы, непостижимые хитрости сделали его сегодня в глазах Румянцева менее представимым, менее... человечным, что ли.

Даже прекрасно понимая, что, скорее всего, это Рябов «заказал» Павла Сухотина, что и после этого он, возможно, не считает еще «вопрос окончательно решенным»... Андрей Румянцев все же решил просить именно его.

«Петр Александрович! Есть человек, который, скорее всего, поможет Жанне. В инопланетян она, может, верить и не перестанет, но бояться их, кидаться, прятаться перестанет точно. Саморазрушение психики прекратится.

— Ты... веришь, что поправится она?

Этот взгляд конкретного бизнесмена-депутата, наверно, надо было назвать — «контрольный». Отводить глаза не полагалось. Андрею вдруг представился Игнат Жданов, мгновенно вспомнились и вся их «байда», и миллионный бизнес вокруг этого «веришь», он слегка тряхнул головой, оставаясь на зрительной оси.

— Верю.

Рябов еще раз пристально поглядел на Румянцева, сказал: «Действуй» — и вызвал охрану, которая вызвала машину. Андрей с Жанной сели на заднее сиденье, она почти больно сжимала его руку. Серое истощенное личико. Видно, болезнь, подтачивая организм, подтачивает и себя саму. Они то неслись по осенней, залитой холодной водой Москве, то замирали в долгих пробках.

Охранник и водитель-охранник проводили их до крыльца Инвесткредобанка. Жданова он, как мог, подготовил ко встрече со знакомой «из прошлой жизни».

Выдаст он ей продолжение космической сказки со счастливым концом. Да, изнасиловали инопланетяне невинную девушку Жанну, так это потому, что в ихней галактике просто так принято. Никто никогда женщин и не спрашивает, у нас ведь тоже раньше похищали невест, и у древних славян похищали! А у этих — принято так, а женские крики, дрыганье считаются главными признаками одобрения. Сейчас-то они обучились, приняли культуру страны проживания, но тогда ведь был их самый первый контакт. Подумаешь, чуть на индонезийцев похожи! А розовато-сиреневый цвет — это «загар под другими солнцами другой галактики», в земных условиях пропадает за два месяца. И главное, главное: они вовсе не злодеи! Не уничтожать прилетели, а помогать, строить новую Москву, например. И дети от них у землянок — самые обычные дети.

Эх, кто бы оценил всю изобретательность румянцевского сценария, навеянного Жданову! Он ведь не только стирал миф о космических злодеях, завоевателях Земли и их детях — агентах погибели. Не только. Другим концом сюжета он слегка затушевывал и миф о космических спасителях, понимая, что и в «светлом периоде» жизнь Жанны с «сыном — Спасителем планеты Земля» тоже была бы непростой. Нет. Обычные ребята, типа космические гастарбайтеры, Первый Контакт, «Трудности Перевода»...

Когда Румянцев с Жанной сошли с крыльца Инвесткредобанка, облегчение выразилось даже и на служебных лицах охранника и водителя-охранника.

Теперь из окна их бронированной машины Жанна смотрела на Москву не так затравленно, годовой страх уходил, как мартовский снег. Андрей еще раз подивился жесткой воспитательной политике Рябова. Ну ладно, последние полтора года Жанна безвыездно жила в их жуковском поместье. Но, похоже, и раньше она бывала в Москве считанное число раз. С изумлением задирала голову на хромированные цилиндры и пирамидки кубиков «Москва-Сити» и, возможно, и вправду считала их новыми постройками гастарбайтеров-марсиан...

Они то неслись по осенней, залитой холодной водой Москве, то замирали в долгих пробках. На перекрестке с Беговой улицей Андрею полочка заслонила рекламная тумба с плакатом нового фильма. Юный волшебник-очкарик летел суперменом через миры и континенты.

«Странно ведь, — печально и тягостно думал Андрей, — творит там, небось, чего хочет. Рушит замки, воскресаает мертвых. А близорукость свою поправить не может. И всего-то, поди, минус три...»

Разница в облике, поведении, речи Жанны была еще более заметна к моменту возвращения домой. Полминуты всматривался отец в ее лицо, словно вчитывался

в вывешенный ему приговор, пока наконец все не услышали его кашалотовый выдох. Подобного «уф-ф-ф» не издал бы, наверно, и пробитый дирижабль.

— Ну что, ужинать?

— Да, пап! Мне — мои шоколадные блинчики!

И еще одно «уф». Видно, что-то давнее у них в семье было связано и с этим блюдом, забытым в долгие месяцы «космической одиссеи». Андрей сквозь навалившуюся вдруг смертельную усталость смотрел как по телевизору на приметы возвращавшейся, чужой жизни. Именно что чужой! — еще сильнее кольнуло Андрея.

Выпив чая с молоком, Жанна уснула прямо за столом. Отец первую минуту не верил, приглядывался, а потом подошел, отодвинул стул, взял истощенное тельце на руки и понес в спальню, в «детскую».

Петр Александрович энергичными мимическими средствами пригласил пройти за собой. В его кабинете Андрей сразу присел на кожаный диван, хозяин тяжело плюхнулся в кресло.

— Ну, Андрюха, ну, Андрюха! Я даже и не знаю! Боюсь и сказать... Вот те крест!.. Да!!

Хлопнул перстнями по лбу, точно как тогда, вспомнив об экс-капитане Семионове. Что означало: «Да! Теперь надо вспомнить и о другом!» Крутанулся на кресле к сейфу, распахнул дверцу.

«Неужели и мне сейчас отвалит? Окончательный расчет», — с ужасом и смертной тоской подумал Румянцев.

— Слушай, Андрюх, этот твой кудесник, твой целитель, он ведь, наверно, только в евро принимает?

— Нет! — с мгновенным облегчением почти выкрикнул Румянцев. — Он только в рупиях! В тибетских рупиях...

46

— Альба! А у меня увольнительная на два дня! Еду в Москву, я сейчас из электрички звоню. Нет, к папе потом, вечером! Я сначала хочу к тебе заехать. Я ведь еще ни разу не видела тебя в кабинете. Наверно, такая вся важная! Через час двадцать у тебя буду, — и положила трубку, боясь услышать запрет.

Просматривая верстку декабрьского номера, Альбина размышляла: не сильно ли она балует девчонку? Ладно, пусть едет, но буду с ней построже, постараюсь.

Откровенно говоря, Альбина и сама наслаждалась, важно здороваясь, со всеми «на вы», она показала сестре не только редакцию, но и банк (напустив там еще больше суровости), выдала пару нарочито строгих указаний по мобильнику и потом повела ее в «столовую»-ресторан.

Пару месяцев назад она весьма неопределенно, чисто теоретически говорила Алине о кинокомпании «ДЭС», знакомом режиссере и сейчас видела, что эту ступень ракеты включать еще очень рано. И строгий бизнес-антураж сегодня помог ей выдать сестре несколько горьких пилюль. Все ее амбиции сейчас должны лежать в пределах нартовского коллектива. Не сумеет утвердиться там, достойно пройти курс — какая уж тогда театральная труппа! (Надо заметить, что Альбина в своей озабоченности несколько искаженно представляла: театр — это «театральные интриги». Толченное стекло, подсыпaeмое в балетки...) В общем, преувеличивала, страшая: «Не выдержишь у Нартова, тогда, Алина, точно — домой, в детсадовские нянечки и ждать замужества... Тоже, кстати, не самый последний вариант». И Альбина под большим секретом рассказала, что хозяин этой империи, страшный богач Вадим Сергеевич, например, готовит свою дочь Марину выйти за священника.

— Да-да, Алина, именно в — попадьи. В «матушки», вежливее выражаясь. — Альбина давно откладывала этот «урок жизни», но взявшись с помощью «родных стен», начертила сестре жесткий план, выполнение которого дает надежду, — только пока надежду, Алиночка! — на какую-то «кинокарьеру». Лишь после этого можно подключать и знакомых из «ДЭС» (то, что делать это Альбина планировала с использованием Эффекта Жданова, естественно, умалчивалось).

— И кроме этого, ты должна стала лучшей подружкой этой, с пепельными волосами... «Мисс Энгельс».

— С Ксюшкой?! Ты что! Она ж такая! Никому спуску не дает.

— И чтобы ты переехала и жила не в комнате с Дашей, а именно с Ксенией.

— Альба, ты даешь. Откуда ты вообще про нее узнала? Что она у нас...

— Наблюдала за вами. Понимаешь, ты должна уметь заинтересовывать собой!

— Но же я не умею, как ты.

— Я и сама не умею, как я.

— Вот видишь, как ты ловко всегда отвечаешь! А я так не умею.

— Учись, тренируйся...

47

Проводив Алину, она спустилась к подвальному коридору, где когда-то ползала с приклеенной Мариной. Завидев впереди нелепую фигуру, она вжалась в стену, пропуская. Знакомая пятилитровая стеклянная в оплетке бутылка. Именно в таких (всего их было три), со специально закрывающимися и опломбированными горлышками, они получали спирт.

Для растворения «Вещества Веры» нужен был сверхчистый, и Сумеров, хорошо представляя, где сегодня выше уровень дисциплины, выбрал в поставщики один работавший под бандитами ликеро-водочный завод — впрочем, завод совершенно легальный, один из лидеров отрасли. Настоящим, материальным свидетельством этого лидерства и было то, что завод уже лет семь как имел свой собственный ректификационный цех и, вырабатывая свой спирт, не зависел от поставок. Именно из его лаборатории и привозили эти оплетенные бутылки (металлические канистры не проходили по ТУ, заданным Кумихиным).

Все давно прилично и отлажено, только сама фигура, несшая бутылку, вызвала у нее подсознательное раздражение, тревогу.

— Привет, Альбина!

— Здравствуй, Семионов! Чего это тебя послали на завод?

— Да как назло, и Пальч, и Митрохин заболели. Храпов попросил.

— Ладно-ладно. Ты осторожней.

Вернувшись в свой кабинет, она, чтобы выключить этот комариный зуммер тревоги, набрала Кумихина.

— Слушай, сегодня почему-то за спиртом послали этого клоуна. Да, Семионова. А он же развязал! Три месяца шатается, полупьяный, по офисам. В коридоре встретила. Его ж никогда к этому и не подпускали. Ты проверь сразу пломбы на бутылках, ладно? И перезвони.

«Вот ведь, — восхитился Кумихин, — и свой блок ведет, как картину пишет, и за других, за все дело болеет. Ну где еще Сумеров такую найдет!»

— Спасибо, Альбин, проверил. Все в самом полном порядке!

«Самый полный порядок, — Альбина мысленно взвесила эту формулировку, оценку и словно приложила ее, как печать, к парадным дверям Инвесткредобанка. — Где он сейчас? Но пожалуй, на нашей подложке — порядок».

И выключила зудевший десять минут зуммер тревоги. Но зря... Но выяснилось это позже.

У Сумерова уже почти год сны были уничтожены как класс, как жанр и замещены — кошмарами. «Дуновение, прикосновение Морфея» с полуявью, ядовитым поддувом из-под двери. И чаще всего где-то около четырех часов утра — этот самый, напророченный отцом Мефодием под названием «Все верят во всё». Те же улицы, заполненные, забитые вопящими людьми, задыхающимися в крике, трясущими друг друга. ОМОН в лаборатории Кумихина, взрыв, разлив и цепная реакция, революция...

А сегодня привиделся еще Игнат Жданов. Сидит на кухонной такой табуреточке в самой орущей толпе, ни на кого, ни на что не обращает внимания, читает горящую газету.

Полежав несколько минут, Игнат нащупал кнопку ночника, взял фломастер и на предпоследней странице валявшегося рядом томика начеркал две строки. Поразмышлял еще несколько минут на тему важности самого первого побудительного импульса: «Какая разница — кто сколько, каких и чьих книг сжег! Важна самая первая мысль, идея сожжения текста». Нашупал близ тумбочки бутылку тархуна, запустил в пышущий жаром пищевод прохладную цепочку гладких глотков, и — слава Богу — снова заснул. Забывшись, забыл и о включенном ночнике. На белой страничке поверх текста банальных благодарностей автора и издательской справки о тираже, объеме, адресе типографии красным фломастером наискось тянулось: «Гebbельс жег, но и Гоголь жег... какая разница... Второй том „Мертвых душ“ даже больше потеря, копий не осталось...»

А Терлецкой Альбине Викторовне во сне, кажется, втором или третьем, но точно — не первом... заявила Мария Кондратенко. Сегодня — под руку с Альбининым бывшим, с Мoneй-Артуром. И так заискивающе оба на нее смотрели. Просили у Альбины разрешения на брак. Или даже благословения, будто она мать чья-то... кого-то из них. Наверно, Машкина, потому что именно ее она сначала саркастически отговаривала: «Что, Машенька? Надоел тебе твой князь Мышкин-Подмышкин? К Свидригайлову переметнулась?» И дальше с сомнением: «Двадцать две бензозаправки по Москве, говоришь?»

А потом эдак, махнув рукой: «Ладно, Машка. Выходи за него... в конце концов, секс в жизни — не главное!» А Кондратенко вдруг: «Как не главное? Как не главное!»

Но это все же был какой-никакой — сон. «Прикосновение Морфея». А у Румянцева Андрея, вполне солидарно с шефом, сны заместились кошмарами, именно теми, что в четыре часа утра, когда наполовину проснулся и явью тянет, как гарью из-под двери. Скорее, это даже был и не кошмар, а обычный страх, опасение полнотью проснувшегося уже человека. То, что, может, и называют «кошмаром», но в аллегорическом смысле, типа: самая большая неприятность по службе — «кошмар». И страх, опасение просыпавшегося Андрея Румянцева было, что в следующий приход к Рябовым Петр Александрович заведет-таки его в кабинет, откроет сейф: «Ну ты, Андрюха, наверное, только в евро?» В смысле, что исцеление закончено и чтобы больше к Жанне он не приходил.

Четыре утра. Да, отец Мефодий говорил, что раньше в это время вставали, шли к заутреней. Молились, и целые века вот так. Может, потому этот освободившийся

от молитвы час теперь и зияет дырой для кошмаров? И Сумеров — все равно больше не заснуть — поднялся, вышел в коридор, остановился, как витязь на распутье: прямо — кабинет, направо — кухня, налево — библиотека, за ней — детская, спальня Маринки. Интересно, а до какого года, возраста мы будем называть ее комнату — «детской»? Ну, замуж она выйдет, квартиру им подарю, которая на Мясницкой, но если в гости, с муженьком, они в этой же комнате останутся. К тому моменту уж точно не «детская», а когда? Наверно, он пытался подумать, когда кончится Маринино детство, но, оборвав плетение полусонных полумыслей, он прошел в кабинет, книжку какую-нибудь можно и там выбрать.

48

А Кумихину Эдуарду и кошмаров было не нужно. Он сейчас думал только о том, что реально увидел и услышал на прошлой неделе, в четверг. В пять часов вечера он, Кумихин, зашел в редакцию «Российского фокуса». Не его вообще-то епархия, и зашел только, чтобы повидать Альбину. Он старался нечасто себя этим баловать, опасался, честно говоря, ей надоест. Но тут был небольшой повод. Альбина просила записать ей диск с песнями Ларисы Казанцевой и разузнать, когда ожидается ближайший ее концерт в «Гнезде глухаря». Кумихин и принес ей лазерный диск с тремя альбомами Казанцевой (наудачу дописал ей и Тимура Шаова). Почти все «господа редакторы» собрались в кабинете Геннадия Исидоровича, ожидалось обсуждение декабрьского номера. Альбина подняла голову, увидела Эдуарда, улыбнулась, даже рукой чуть махнула. И тут сзади протиснулся Игнат Жданов, еще более редкая птица на заседаниях редакции.

Игнат просунулся в дверях мимо Кумихина, пересек паркетную бездну кабинета и, подойдя к столам, оглядел совещающихся, выбирая себе место. Известная кабинетная конструкция: верхней планкой буквы «Т» был невероятный стол главного редактора, на «ножке» сидели «господа редакторы», место рядом с Альбиной было занято, Игнат плюхнулся с краю.

Но кроме его прекрасного костюма (Румянцев договаривался — бутик «Ларго» привозил сюда здоровую кипу вариантов для примерки), белой сорочки, аккуратно повязанного галстука, господа редакторы успели разглядеть и его низ: домашние шлепанцы и толстые вязаные носки, в каких только по дому и ходят. То есть (нервничали коллеги) уважительное вроде бы его одеяние не просто перечеркивалось его обуванием. Более того, получается: он у себя дома. Эрго — мы у него в гостях.

Геннадий Исидорович не знал, как словесно и организационно обработать это первое за год явление Игната на редколлегиях, но начал бодро:

— Вот и прекрасно! А то варимся каждый, так сказать, в своем соку. Для журнала будет полезнее, если мы, как говорится, будем знать, кто чем дышит.

— А я и так отлично знаю, чем все вы дышите!

Пауза. Конечно, такого никто и ни при каком раскладе ожидать не мог. Может, просто пьян? В принципе... уже четыре часа вечера... возможно. Обеспокоился и Кумихин: «Давно надо было сказать Сумерову, Румянцев не столько стережет Игната, сколько спавает!»

— Все ваше дыхание у меня сейчас вот здесь! — И Жданов стукнул кулаком по солнечному сплетению. Ну какой нормальный главный редактор придумает, как тут дальше проводить совещание? Лодкин только и мог взглядом умолять Альбину сделать хоть что-нибудь. Но тут Игнат продолжил:

— Чего вы как ошпаренные? Да, я выпил все ваше дыхание, и что такого, грамм

двадцать всего-то и набралось. Геннадий Исидорович, что тут непонятного? Ваши три окна выходят во дворик? Я там сейчас и стоял. А под вторым окном — кондиционер торчит, штука здоровенная. Он ваше дыхание в себя и тянет. А дальше что? — Кумихин вам подскажет, он в этом деле спец, он и с моим дыханием работает тщательно, — подмигнул. — А дальше ваши пары конденсируются, а сбоку у кондиционера трубочка такая, и из нее кап-кап-кап. А я во двор вышел как раз со стаканом. Почему? Это уже другой вопрос, к теме сегодняшней редколлегии отношения не имеющий. Главное, что стакан у меня был, и я постоял-постоял и подумал: а почему ваше драгоценное дыхание, ваши пары жизни должны вот так бесследно капать на отмокту? И я подставил свой стакан и стойко держал его целый час. Нет, вру, я минуту его подержал, а потом аккуратненько поставил ровно под вашу капель, и сел рядышком смотреть. Знаете, как в Древней Греции водяные часы называли?

— Клепсидры? — испуганно пробормотал Лодкин.

— Совершенно верно. Я и капли начал было считать, дошел до двадцати четырех, бросил, ерунда и скучно. Главное-то — другое. Дыхание — это ведь что, а Кумихин? — опять подмигнул. — Дыхание — это жизнь! Как там говорят: «в нем уже не было дыхания жизни», «до последнего дыхания», ну и прочее... Так я и сидел часок на теплом ноябрьском солнышке и размышлял, и о вас, друзья мои тоже думал. Собирал капли. А потом встал, выпил все ваше дыхание и пришел сюда...

Поверх картины собравшихся за столом смело можно было пускать полоску титров: «Прошло три года». Кажется, столько, не менее, могли бы сидеть «господа редакторы» в полном, космическом безмолвии.

— Ну а если тут пукнул кто? — первой вернула самообладание Альбина. И под грохнувший всеобщий облегченный смех она продолжила: — Все-таки полтора часа сидим. Как в эссе, где ты, Игнатушка, придумал самый неуловимый в мире теракт? А?

«Один — один», — подумали, наверно, все, любуясь на своего центрфорварда, а притихший Игнат съехал в кресле пониже, взял читать первый попавший из рассыпанных листков верстки, тихо и смиренно бубня: «Что значит — придумал? Так все и есть. Так и было».

Общего облегчения не разделяли только Кумихин с Альбиной, переглядываясь, посылали друг другу мысленные эсмэски: «Он что, разузнал?» — «Похоже, он знает!» — «Точно знает!» — «Срочно Сумерову!»

«Но поскольку Жданов-то остается сидеть на редколлегии, да еще и так ловко смиренный нашей Альбиной, — прикидывал Геннадий Исидорович, — может, надо как-то попробовать обсудить и его блок? Конечно, Сумеров приказывал не править ждановских текстов, так все и идет почти уж год. Но ведь и сам Игнат это время не появлялся ни разу, а теперь вот — сидит. Я же его не вызывал, не тянул сюда. Может, ему помощь нужна, совет опытных журналистов?»

Надо знать душу главного редактора, никакие финансовые подачки не смиряют его с тем, что изрядная часть его журнала делается вне его контроля. И этой язвы, грыжи, опухоли решил вполне аккуратно коснуться Геннадий Исидорович, взяв листок с портретом Игната, заглавием «Уравнение с неизвестным числом неизвестных» и ниже словом — «эссе».

— Ну раз уж сегодня с нами и Игнатий Иванович, то я позволю коротко пройти по двум вопросам, у меня возникшим. Так-так-так, я зачитаю абзац, — Игнат поднял голову, — ага, вот... «Это напомнило мне восхитительный момент, когда российская прыгунья взмыла над стадионом. Вот выстрелил, разогнулся средневековым луком ее шест, вот он отброшен, забыт навсегда, вот она уже летит... одна в

мировом воздушном океане, вот ее ножки уже перелетают планку, вот и вся она сама, пластаясь, изгибаясь, перелетает висящую в осеннем небе рекордную черточку, и... она сбила планку буквально своими сосками!..» Гхм-хм... Игнатий Иванович! Ну, может, хоть насчет сосков поправим?

— Эх, Лодкин, Лодкин! Ну хорошо-хорошо. Будем мы с тобою убогими, плоскими, реалистами, жалкими коротичами! Исправляй. Значит, так... — Он принял позу диктующего, и всем стало понятно, что это первая его за год уступка и последняя еще на годы вперед, — значит, как там... пластаясь и изгибаясь, перелетает... рекордную черту... она зацепила. Во! Теперь будет так: она сбила планку буквально... своим левым соском!

И развернувшись, он покинул кабинет. Лодкин вжал уши: «Хлопнет ли дверь?», Жданов и не тронул ее, может, и не заметил, оставив кабинет открытым.

Ну и что это за такое? Наглый, разнузданный диктат, вызов, крайний пароксизм звездной болезни? Или «Белочки»?.. «Господа редакторы» словно посмотрели какой-то малопонятный, авангардистский фильм...

— Нет, товарищи, ну при всем при всем этом, — первой пробила подушку тишины Софья Генриховна, — мне как-то даже и... любопытно. Например, почему вот именно левым соском?

— Сердце? — предположила Альбина.

49

В коридоре на вошедшего Вадима Сергеевича налетела дочь Марина, выбегавшая из зала с ворохом прижатых к груди платьев.

— Марина, ты что там, бяшенька, делала?

— Примеряла. Вот это платье и это. И розовое, с гипюром. А вот из этого, шелкового, морской волны, па, я уже точно выросла! — Последнее было сказано с подтекстом гордости: их «овечка с кудельками» большой статью не отличалась.

— А почему в зале?

— Я всегда там меряю, когда тебя дома нет.

— Знаешь, Рин... Давай ты больше не будешь в зале переодеваться.

— Ну почему? Там зеркало большое!

— Но ведь я могу нечаянно зайти с гостями. А большое зеркало я тебе и в «детскую» куплю.

— Но я ж говорю, переодеваюсь там, когда ты не дома!

И Марина чуть покраснела, вспомнив, что, кроме примерок, она часто вертелась перед этим зеркалом, раздевшись совершенно. Вставала на цыпочки, отводила руки, полуоборачивалась, присаживалась верхом на стул, положив подбородок на спинку. Рассматривала себе голой, и так, и с помощью второго зеркала в профиль... О микрокамере, ловящей, записывающей разговоры ее отца, она, конечно, знать не могла, генерал Маникеев был раньше — «дядя Володя». И о ловком Одиссеевом выигрыше отца, показавшего язык в секретный объектив, тоже догадываться не могла...

Единственная ее дань предосторожности, стыдливости — перед началом этих «автофотосеансов» она открывала стеклянную створку книжного шкафа, брала фотографию брата Сергея в деревянной рамке и с траурной ленточкой через уголок и, задержав в руках на секунды, отворачивала ее лицом к шеренге книг. Когда-то, наверно, им читанных...

— А мама дома?

— Сейчас-сейчас придет. Пошли на кухню, я тебе котлеты разогрею. Мама такие

котлеты сделала — с ума сойти. Пошли-пошли-пошли, — потянула отца, с наслаждением играя роль хозяйки. — Так, мой руки, садись.

Отец выпросил пару минут, и, вернувшись в любимых домашних «трениках», сел, любуясь на хлопчущую хозяйку.

— Что вы сегодня... проходили?

— Толковую Библию Лопухина мы закончили, мы ведь только с восьмого по одиннадцатый том читали, где Новый Завет. А сейчас я составляю свой катехизис, а отец Мефодий читает и правит. У нас знаешь, какой позавчера спор интересный был? О Вере, Надежде, Любви — вот!

— Ну-ка, ну-ка, Марина! И о чем же вы там спорили? Кто из них главнее?

— Фу! Сразу угадал. Даже неинтересно! А я пока разогреть буду, расскажу тебе, хотя ты у нас и все всегда знаешь. Ты котлеты с рисом больше хочешь или с гречкой?

— А-а... а вот и не знаю. Говоришь, все знаю. А я вот и не знаю, с чем больше хочу.

— Тогда с гречкой, — строго сказала Марина. — А про наш спор тебе отец Мефодий ничего не рассказывал? Только честно.

— Мы с ним и не виделись уже недели три. Ну, так и кто главнее?

— Оказалось — Любовь. Но не главнее, а — больше. И первее.

— А почему же всегда начинают с Веры?

— А потому, папичка, что надо изучать! Ее император Адриан из трех сестер приказал пытать первой. Вере было двенадцать лет, а она все пытки выдержала. А мать их Софию заставляли смотреть, как ее дочек пытаются. Они прямо в такой очереди и стали священикомученицами: Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Ужас полный. Веру бросили в котел с кипящей смолой, а потом положили на раскаленное железо. Но по молитве матери ее не сожгло.

— Па! Вот нож тебе положила. Не забывай: вилок и ножом. Ой, что, обжегся? Это я перестаралась, разогрела, тоже мне. А ты дуй, дыши.

— Рин, покажешь свой катехизис?

— Ага. Конечно.

Марина метнулась к себе, вернулась с большой пластиковой папкой. Отец положил ее справа от своей тарелки, открыл. Механизм папки, похожий на маленький щелкающий капкан, держал под стальными никелированными кольцами пачку разноцветных листов, белых, в клетку, вырезанных картинок. Наверное, какой-то новый творческий подход отца Мефодия: его дочь — составитель, он — редактор и комментатор. Листая, Сумеров углядел и то, упомянутое: «Веру бросили в котел с кипящей смолой... положили на раскаленное железо».

— Па. А как у тебя такая... Альбина Викторовна Терлецкая?

— Что как?

— Ну... она работает?

— Конечно, работает.

— И она ничего тебе не рассказывает?

— Как ничего? Докладывает, почти каждый день...

— Так... Ты гречку доедай. Очень полезная... Па! А можно я потом пойду к вам работать?

— Когда потом? Это, надеюсь, не после школы?

— Нет, я помню, — вздохнула. — После школы надо в институт... Ну а после института можно?

— Ну, если будешь учиться хорошо и в институте выучишься, то тогда можно посмотреть. Напишешь к нам заявление, правильно, как положено.

— Да я уже сейчас могу вам заявления так правильно написать, что ты и не прочтешь. Смотри... — схватила листки и авторучку. — Или нет, не смотри пока. Ты додай котлеты, остынут же!

И через три минуты она торжествующе пододвинула отцу два листка, из которых лишь на одном он и смог разобрать «Mr. Sumeroff», а на другом — причудливая красивая вязь.

— Это заявления о приеме на работу, по-английски и по-гречески!

Греческий она изучала с репетитором. Здесь Сумеров год назад дал только первый толчок и проверить успехи своей «овечки» никак не мог.

— Ну, ну. И как же будет Вера по-гречески?

— Пистис! Надежда — Эллис. А Любовь — Агапэ... Па, а она тебе нравится?

— Кто?

— Альбина Викторовна, конечно!

— Вот те на! Ну... конечно, нравится.

— И... больше, чем мама?

— Рин! И где ж ты набрала корзинку таких глупых вопросов? Ты что, с Альбиной Викторовной знакома?

— Разумеется, — с важно-взрослыми интонациями. — По-моему, очень толковый сотрудник. Ты ей сколько платишь жалованья? — не обращая внимания на хмыканье отца. — Я же приходила к тебе на работу. Несколько раз. Она мне тоже вообще-то нравится. С ней можно говорить. Умная. Ну конечно, не как мама. Но интересная. Ты тоже так считаешь?

— Считаю.

Сумеров продолжал листать катехизис дочери. Обсуждаемая тема тянулась еще от 17 сентября, Дня Веры, Надежды, Любви...

— Рин! А можно я возьму несколько листов... нет, я лучше весь твой катехизис возьму почитать, когда в командировку полечу?

— Что, интересно?! Пригодится тебе? — Торжествующий взгляд, синие глаза распахнулись словно пружинкой кукольного механизма.

— Интересно. Пригодится. Я послезавтра в Лондон должен полететь.

— Надолго?

— Нет-нет. Очень быстро, туда-обратно. Тебе чего из Лондона привезти?

50

Перед необходимым докладом Сумерову о том, что продержавшееся год с небольшим статус-кво разрушено и теперь Игнат определенно догадывается о своей роли, Альбина зашла к Кумихину в лабораторию и несколько минут ходила довольно бесцельно, читая листки, расклеенные по створкам стеллажей.

— Предупредим Румянцева или сразу... — Эдик кивнул наверх. (Универсальный жест обозначения шефов, хотя обычно руководство предпочитает первые этажи, и лаборатория тоже располагалась выше кабинета Сумерова.)

— Сразу. Что господина Румянцева по таким пустякам беспокоить, он же теперь — в Администрации президента!

Сумеров всем платил щедро, направления работы назначил очень разные, но по Андрею они оба сходились на точке растущего раздражения. Сложную задачу охраны, опеки, поддержания ждановского «модус вивенди», его жизненного тонуса, интереса Румянцев свел к элементарной совместной пьянке. Сюда же переехал изгнанный женой, спивающийся экс-капитан Семионов. Бутылочка-вторая, все «за счет фирмы», любая закуска из «служебного ресторана» — вот и все его заботы.

Зато уж со вторым своим направлением, тестированием на детекторах лжи сотрудников Администрации президента, Румянцев так важничал!

— А в чем там фишка, смысл комбинации, я думаю, он и сам не понимает.

— А ты, Альбина?

— Знаешь, я часто словно сажусь к шахматной доске со стороны Сумерова, размышляю над его ходами. Может, это и делает такой, как тут повторяют, серьезной, мудрой... и даже как пугают: это старит меня. Но меня игра завораживает. Но хода с администрацией я пока не понимаю.

— Теоретически если представить... передает он вместе с распечатками полиграмм наши обработанные номера, буклеты — например, этому... Петрову. Тот проникается, через него передают еще выше, и... наш Вадим Сергеевич Сумеров уже... — выразительное молчание.

— Шикарно, Эдик. Или представь другое, тоже теоретически. Если мы перешлем в полном объеме Игнатово внушение Президенту страны, это ж, наверно, будет эквивалентно... «попытке введения самодержавия в Российской Федерации». Да-да Эдик. «Попытка изменения конституционного строя России», статья такая-то.

И они посмеялись над шуткой и логикой их чудного бизнеса...

Доклад Кумихина с Альбиной о новой ситуации с Игнатом Сумеров выслушал почти спокойно, вежливо попросил вечером, после девятнадцати часов собраться. Под угрозой его Проект, самый хитроумный из всех, о каких-либо ей довелось в жизни услышать или прочитать в мировой литературе, под угрозой и астрономические его доходы — и такая выдержка!

Практически же собраться всей «Избранной Раде» означало всего-то лишь прийти им и позвать с собой Румянцева. Четверо, считая Сумерова, мало для порядочного детектива. Процедура возможного выяснения: «Кто продался?» или даже просто «Кто проболтался?» — волновала Альбину весь день, до периодически подступавшей дрожи в пальцах. Хотя она и была уверена, что виноват Румянцев, но сама процедура предстоящего выяснения! А что остается делать Сумерову? Запирать их в... подвальной пятнадцатой комнате? Собирать и сличать доносы на друг дружку? Организовывать очные ставки? Пытать? Током от розетки? Бить какой-нибудь там плеткой?

— Эдуард, Румянцеву... ты скажешь про собрание?

— Могу и я.

— Знаешь, ты не говори ему пока про причину. Просто Сумеров приказал.

— Считаешь...

— Да и ты так считаешь. Румянцева я подозреваю и не потому даже, что он больше всех с Игнатушкой общается, назначенный друг-приятель. Нет. Просто ведь чувствуется, кто в это все, — крутанула головой. За время разговора они дошли до лаборатории Кумихина, — влез по уши! Кто кожей прирос, а кто — так. У меня, например, здесь, честно тебе скажу, просто другая жизнь началась. Интересная, настоящая. Даже когда вон... Лодкин этот намекает: «Ах, Альбина, на новой должности вы так посерьезнели! Даже будто повзрослели, лет на пять-шесть...» Я в тот момент думаю: «Да и черт с ним! Если ты мне сейчас намекаешь, что я, заработавшись на *своего Сумерова*, внешне на эти пять-шесть лет постарела — плевать!» Невероятно для женщины, да? А мне мое прошлое порхание, щебетание: «Блеск! Блеск! Дорогуша!» — вот где сидит! Я даже, Эдик, если придется, очки надену — не испугаюсь! Как тут все рассыпаются по поводу моих «прекрасных серых глаз»... — Она устало потеряла средоточие общественного любования и комплиментарного творчества мужской половины су-

меровской фирмы. — А я если тут и сломаю зрение на буклетах, на этих срочных спецвыпусках — не пикну, буду носить очки, как училка в школе, во-от такие!.. Я правда для Сумерова что угодно готова сделать, и не только потому, что мне на квартиру осталось миллиона полтора-два собрать...

— Помню-помню! Когда еще в подвале восьмой номер пропитывали, ты говорила, как надоело тебе по съемным квартирам таскаться. Но... тогда тебе побольше оставалась сумма. Ты, поди, на солидную квартиру нацелилась?

— Именно. Жилищный комплекс «Корделия», на Беговой. Не за один же голый азарт я здесь готова на все. И уж ладно, Эдик, если ты так хорошо все помнишь, то в качестве бонуса я тебе отвечу и на самый твой животрепещущий тогдашний вопрос. Который ты тогда... затрепетал и задать. Тем более что проистекал он, надеюсь, не из праздного интереса, а из того, что я тебе, Эдик, очень нравлюсь, да? Так вот, заостряя тему... если бы Сумеров тогда мне приказал насчет Игнатушки — дала бы! Точно. Это к тому, что я сейчас говорила об отношении к нашему бесподобному Сумерову и его проекту... Но и ты ведь здесь открыл много интересных страниц жизни. Не жалеешь о своем НИИ?

Лаборатория Кумихина под прикрытием будущей, якобы частной клиники, разрослась до пяти просторных комнат. Первая, его кабинет, была обставлена просто очень щедро. Сумеровский шик. Но в смежной комнате — память о советских НИИ! — была небольшая кухонька со всем причитающимся. Эдик не очень любил спускаться в их столовую-ресторан. Альбина засыпала кофе и нажала кнопки.

— Уж конечно! Тут задача поинтереснее, и бессребреником себя никак не назову.

— Правильно, бессребреники порой опаснее других. Уровнем свободы, особенно если у них под этот уровень ума недостает. Так что и ты, Эдик, здесь, в сумеровских дворцах и катакомбах прочно привязан. И научно, и денежно. Да и меня, свою коллегу, надеешься как-нибудь, когда-нибудь и, того... соблазнить, верно? И может, не совсем беспочвенно надеешься. Ну опять ты краснеть! Прошу — кофе! Ты со сливками? — И Альбина метнулась к холодильнику. — И значит... остается в списке подозреваемых, из тех, кто знает тайну Эффекта Жданова, только Андрюша Румянцев!

— А сам Сумеров?

— Сам? Ну Эдик это уж слишком тонко закрутил. Типа, ему надоест бизнесменов раскручивать, и начнет играть с судьбой?

— Что-то вроде. Как Раскольников, намеки разбрасывать, смотреть, что выйдет. Испытывать, короче. Что-то сегодня он очень спокойно наше известие воспринял.

— Карамазовщина пошла? Да еще сверху со слоем свидригайловщины? Типа, надо сейчас нам спеца, Машку Кондратенко, звать, разбираться?.. Кофе не слишком крепкий? Я-то к такому прирастилась. Дни тяжелые, ни капли не нормированные. Нравится? Так ты вызывай, буду тебе лично заваривать. Синхронизируем наши перекуры, кофе-брейки, а там, глядишь... Эдик, опять?! Прямо алые паруса. Я сейчас пудру тебе достану!

А слова у этой девушки никогда не падали просто так, и она действительно нырнула в сумочку, вытащила косметичку и протянула Кумихину.

— Вот пуховочкой пройдишь по скулам и ушам. Нет, давай я сама.

И оставив чашку, она нанесла несколько косметических штрихов покорному Эдуарду. И потом так же стремительно вернулась к начальному предположению, парадоксу.

— Нет. Сумеров, конечно, человек сложню-ющий. Но сейчас он судьбу подначивать не будет. Такому, да, за голыми деньгами погоня может и надоест. Но... я думаю, — понизила голос, — что он не совсем из-за денег все это затеял.

- А что он?
- Ну мало ли. Власть. Мечь. И не похоже, чтоб ему игра надоела... сейчас.
- Альбин, я Сумерова упомянул так, в строго логическом подходе. Я и сам считаю: Румянцев. У него и правда связей здесь немного. Его больше интересует эта...
- Инопланетно изнасилованная Жанна Рябова?
- Да. Недавно он очень просил сконденсировать для нее Вещество Веры.
- Вот как? Интересно. Что ж ты мне не рассказал!
- Так я же отказал ему. Разумеется.
- А чего он хотел?
- Уговорил Игната сочинить некий рассказик про добрых инопланетян. Которые на своих тарелках прилетели на Землю с самыми лучшими намерениями, и если кого здесь и изнасиловали, то это просто такая форма приветствия. Другая галактика, что с них взять?
- Прикольно. Так он собирался...
- Именно. Чтоб Жданов это зачитал в улавливатель, я собрал бы Вещество, приготовил Рабочую смесь. И он с этим поехал бы свою Жанну разломать.
- А ты?
- Ты, говорю, Андрей, порядок знаешь, иди проси Сумерова.
- А он?
- Видно, не ходил, не просил. Он потом сам сюда, к Жданову привозил эту девушку. Худенькая такая.
- От же мерзавец! Ну влюбился, ну решил помочь, но что ж ты скрытничаешь! В общем дело сбоку, тайком суешься. Да ведь и разрешил бы ему Сумеров, я думаю.
- Наверно, да. Он же сейчас такая важная фигура... Администрация президента... Тесты... Выделил бы, наверно, Сумеров ему Нектара Веры?
- Вот. А он же тайком. А у Жанны отец знаешь кто? То-то. И дружка Игнатова, актерчика, который дочку его... наверняка он и заказал. — Альбина, допив кофе, перевернула чашку и принялась разглядывать узор, «гадая на кофейной гуще». — А главное, Эдик... постой-постой, ведь эта Жанна была самая первая, на которую тогда, еще под следствием, и начал наш Игнатушка выдыхать свое Вещество Веры. И как же это все провел Румянцев? Наверняка безо всякой техники безопасности — ему же только одного нужно было... Нет, Эдик, тебе надо было сразу доложить шефу, как только Румянцев попросил.
- Да собирался. Забыл как-то. Думал, я ж все равно ему отказал.

51

А за два часа до назначенного собрания «Избранной Рады» поступила еще одна «вводная» — уже настоящий удар. Кумихин даже не стал нести к Сумерову укладку пробирок, а доложив, вызвал шефа к себе. И тот, бросив в переговорной всю делегацию «Нефтеойлпетролеума» во главе с гендиректором, через минуту был в лаборатории. Вызванные Альбина с Румянцевым явились столь же стремительно. Может, все они давно втайне ожидали чего-то подобного, если по первым же слогам угадали катастрофу.

— Я пока проверил на четырех образцах. Нет. Смотрите сами.

Под никелированным ящиком, похожим на большой кондиционер, стояла галерея пробирок с мутновато-зеленым, фиолетовым, оранжевым содержимым. Не было только этих, с маленькими ртутно поблескивающими серыми каплями, которые все они с таким восторгом рассматривали в первые дни. К которым потом привыкли, не заглядывая и вовсе, оставляя одному Кумихину лицезреть процесс конденсации Вещества Веры.

Эту новость Сумеров воспринял гораздо хуже, просто покачнувшись. Единственно, что он сумел сделать за десять минут, это набрать заместителя директора банка, и попросил зайти в переговорную, извиниться, сказать, что встреча переносится.

К одному из окон лаборатории был приставлен стол, куда они и уселись. Румянцев и Сумеров по одну сторону, Кумихин и Терлецкая по другую. Похоже на железнодорожное купе, только стол раза в два побольше. У окна — Кумихин и Румянцев, с краю — Сумеров и Терлецкая. Посередине стояла ваза с живыми розами — маленькая слабость ученого. Раз в три дня аккуратные дамы из банковского «рум-сервиса» ставили ему на стол свежие цветы — щедрый, демонстративный стиль Сумерова.

— Что думаешь, Эдуард? И предлагаешь.

— Завтра попросить Игната повторить сеанс, еще раза два, три. Сказать, допустим, файлы затерлись. Тогда только и можно выводы считать достоверными. И потом... может, организовать Жданову какую-то диспансеризацию? Он вообще-то мужчина здоровый, но может же... Ему объяснить я смогу. Он сейчас в больших опасениях живет и такую заботу примет. Одну очень квалифицированную клинику я знаю.

— Хорошо. Андрей с ними завтра съездит. Вроде как — на пару провериться. Даже лучше, достовернее. Вы вместе же пили-закусывали. Скажешь, что-то где-то у тебя не то. И выбери бок, за который будешь держаться.

— Нет. Румянцева нельзя! — вдруг резко вступила Альбина. — Я, Андрей, уже рассказала Вадиму Сергеевичу, что ты сюда тайком привозил Жанну Рябову. Да-да! Тут сейчас не до твоих дворовых, пацанских кодексов чести. Ведь этим ты всех нас подставил.

— Ну ладно, Альбинушка, — вступился Сумеров, — ну привозил. Девушке хотел помочь. Надо было, конечно, меня предупредить, но сейчас давай это забудем. Теперь видишь, какие у нас дела?!

— Я именно с нашими делами это сопоставляю. Вчера вечером Жданов дал нам понять, что он знает, что им манипулируют. Так? Так. А на чем у нас все держалось? Что он только фонтанировал и не мог засомневаться. Его доверие нам шло практически из того же источника, что и доверие себе. Вера. Сомневалка вообще отключена. Сказал — как выстрелил, и забыл, окончательная истина. А тут Румянцев его заставляет вернуться к старому случаю и, главное, заставляет его выдать нечто противоречащее тому первому выбросу. Румянцев ему как бы подставил экран — рикошетом Жданова и торкнуло. Он этим сеансом Игнату сомневалку и включил!

Все замерли, немного пораженные гибкой силой ее мысли. Подбирались они сюда по «аналитическому складу ума», чем гордились. Даже и Румянцев пробормотал с признающей интонацией: «Хитрая бесчувственная стерва». Тихо сказал, но недостаточно тихо для ушей Альбины...

— Еще раз задумайтесь, сопоставьте: Игнат стал догадываться насчет нашего Проекта и одновременно перестал выдавать на-гора свою Веру. Все точно... Приключись такая штука у бандюков — тебя, Андрюшенька, здесь бы, во дворе, и закопали.

— А я тебя, Альбина, прекрасно представляю главарем банды.

— Что, воображение хорошее? Да? Ну тогда и представь, — Альбина налегла на стол, приблизившись к Румянцеву, и продолжила, уставившись ему в глаза, гипнотизируя серым, ртутным блеском ненависти, — что ты сейчас лежишь в яме, руки-ноги стянуты колючей проволокой, а сверху земельку сыплют. Крутишь тупой башкой своей, а уже и рот, и нос забиты, да? Чихнуть, наверно, очень хочется? В последний раз...

— Фу, Альбина! Ты не только Румянцева, ты и меня сейчас запугаешь... Андрей для нас всех сделал тоже... огромное дело...

Сумеров заметно терял силы и уверенность, слегка даже шамкал слова. Может, виноваты были слишком высокая всегдашняя точка сравнения, его почти магическая уверенность, утраченное обаяние сложной силы... Высоко ж ему было падать. И мучительно было смотреть, как он пытается собраться, что-то сказать.

— Я, я же хотел вам всем, друзья. В-вы... если только вы не пропиваете сразу же свои оклады и бонусы — а на это, честно говоря, и не похоже, то, по скромным моим подсчетам, вы все, как это говорят: долларовые миллионеры уже. Извините за напоминание, я ж это впервые говорю, сегодня. Просто хочу призвать: ведите себя спокойно, солидно. Четыре миллиона на троих — это, может, и немного, ведь и вы наверняка прикидывали мои обороты... Но тьфу... что-то я, извините, не по-русски как-то, все на деньги перевел. Извините... Но я же создал такую систему, в которой вы, каждый на своих участках, прекрасно знаете свою абсолютную незаменимость. Некоторые строят бизнес так, чтобы «незаменимых сотрудников не было». А вы, признайте честно, вы же хорошо представляете, ввести кого-то в систему вместо вас — почти невозможно. Это, по-моему, и был наш с вами базис справедливого сотрудничества... И вы могли бы дружно, только дружно, втроем, ко мне подойти, попросить расширения вашего участия. А я бы вам тогда и открыл сюрприз: оказывается, у вас у каждого есть по семьсот пятьдесят акций Инвесткредобанка, да-да!..

Значимую паузу все сотрудники поняли так, что эти акции уже на каждого были записаны, и шеф ожидал сообщить им об этом более приятного случая, чем нынешняя свара.

— Эдуард, а сколько еще остается доз приготовленной «Рабочей смеси»?

— Сорок девять, Вадим Сергеевич. Могу, конечно, сейчас проверить... Да что там! Точно сорок девять.

— Хорошо. Ты, Эдуард, у нас кругом безупречен. Только вот... с прямым своим подчиненным Румянцевым не сумел... доверительного контакта наладить, да. Я ведь вас подбирал такими разными отнюдь не для сражения — не разделяй и властвуй, нет. А по разнообразию талантов. Даже думал, наверняка кто-то, а может и Жданов, в Альбину мою влюбится, может, и свадьбу сыграли бы... Я бы, например, точно влюбился бы... Что ты, Андрей, скажешь нам?

— Что сказать? Эта... которая меня сейчас здесь... закапывала, она ж все вам точно разгадала. Я и сам признаю, очень вероятно, скорее всего, так. Что Игнат после сеанса с Жанной и сомневаться стал, и его Вещество Веры, удои его пропали... Да, я сделал это, потому что и не то бы еще сделал для Жанны. Которая... она ведь самая первая жертва ждановского Эффекта, самая невиновная... Тебе, Альбина, этого просто не понять, у тебя-то самой с веронепроницаемостью, с «сомневалкой» всегда все в порядке, одна она у тебя и есть. Но я всем остальным, и вам, Вадим Сергеевич, скажу: а каково бы вам было, если бы Жанна умерла? И все бы мы прекрасно знали — от чего? Что, «повязало» бы это нас? Как это... «кровью»? И Жаннин отец, рано или поздно, все равно бы это вычислил, докопался бы. Я его характер хорошо представляю. Он уже, например, про Игната в курсе, и не от меня, разумеется.

— Ой ли! От кого ж тогда? — Альбина стегала его своими серыми молниями.

— Не знаю точно, — стараясь адресоваться только Сумерову. — Но кажется, из ГУВД кто-то вас... нас отслеживал и поделился с ним информацией, за деньги.

— Генерал Маникеев? — Вадим Сергеевич с большим недоверием.

— Может, кто из его подчиненных слил?

— Вот еще, разбирайся теперь и с этим... Но зато хоть про убийство Павла Сухотина, артиста этого, теперь уже все ясно.

— А я бы никогда такой подлянки Игнату не сделал бы, он же мне настоящий друг. И так доверяется мне. Но это, Альбина, извини, опять не для твоих прекрасных ушек, это можешь пропустить.

...Но не пропустила.

— Вот что, Вадим Сергеевич, я скажу вам насчет этого... Румянцева. Я и сделаю потом кое-что, но сначала должна ему и вам сказать. — Альбина пододвинула к себе вазу и вполне умиротворенно понюхала розы. — Я ведь тоже собиралась по-использовать Эффект Жданова в личных целях. Мне для Алины, для сестры, очень было нужно. Давно хочу помочь, мечта у нее есть большая. Сейчас ее отправила на жесткий подготовительный курс, но потом... — Она, видимо, купаясь в аромате свежих роз, вытащила туго вбитый букет левой рукою, поднеся, повела по лицу, как пуховкой пудреницы, правая рука осталась держать за узкое горло фарфоровую вазу. — Я хотела дать ей шанс пройти в театральную труппу. А что, вон этот, — ткнула взглядом, — под Игнатовыми парами пролез же в Администрацию президента!.. Собиралась просить вас, Вадим Сергеевич, разрешить это. За мой счет. Чтоб строго вычесть из моих окладов стоимость одной пробирки Рабочей смеси... И теперь у Алины этого шанса не будет... Все, Вадим Сергеевич. Я вам это заранее объяснила, а теперь... теперь... — она привстала и мощным движением плеснула водою из вазы точно в лицо Румянцева... И сразу села, скромно сложила руки... орудие мести оставив при себе. Заметила, как Сумеров не сильным движением, а скорее просящим жестом остановил встававшего из-за стола Андрея Румянцева.

— Все-все-все, Вадим Сергеевич! Я свое отношение выразила. Все, теперь буду еще хоть двадцать пять лет вам верой-правдой служить, вести себя тихо. Прикажите — буду и с Румянцевым работать и не поморщусь даже, когда он будет меня хитрой бесчувственной стервой называть. Да хоть по сто раз на дню будет мне говорить, что только он такой заботливый и знает, что такое любовь... А я же, я сейчас, — усмехнулась, — только землицу с него смыла, которой давеча засыпала...

Щадя и охраняя паузу его задумчивости, а может, даже и — бессилия, Альбина побежала готовить всем кофе. Подала, как вышколенная официантка, Румянцеву так же обходительно, как и другим. Причем ему даже с двумя дополнительными салфетками. Промокнуться.

— Что же, Андрей, от опеки Жданова я тебя... не отстраняю. Просто и не смог бы отстранить, я же недаром тут болтал про полную вашу незаменимость. Но теперь влиять на его образ, распорядок жизни будет еще и Альбина. Игнат действительно стал уж очень сильно пить. Мне еще и вся редакция нажаловалась, коллективное письмо протеста мне написали. Это про случай, что он все их дыхание выпил, — не выдержал наконец, улыбнулся. — И что он главного редактора Лодкина, при всех подчиненных, да еще и при... «исполнении им прямых служебных обязанностей по редактированию журнала», прямо при всех обозвал плоским убогим кретином.

— А вот это неправда. Мы с Эдуардом при этом были. И я точно запомнила: Жданов обозвал Геннадия Исидоровича плоским убогим коротичем.

— А эт-то что?.. Меняет что-то? Это вообще лучше или хуже?

— Не знаю. Но я за предельную точность. Если уж письма протеста писать.

— Да я бы не стал вам про это письмо и вовсе рассказывать. Подумаешь! Да, кстати-кстати-кстати! Снижу-ка я им с завтрашнего дня все цены в столовой... еще на... рубль тридцать пять копеек. Точно!

И не откладывая ни на полсекунды свою личную психотерапевтическую меру, он открыл мобильник и продиктовал:

— Алле, Храпов? Передай сейчас же в хозяйственный отдел и в столовку. С завтрашнего дня все цены, абсолютно по всем артикулам снизить на... на один рубль тридцать пять копеек. Распечатать новые меню. Вывесить по редакции три плаката следующего содержания, записывай: «Пункт первый. Поздравляю весь коллектив трудящихся редакции журнала „Российский фокус“ с Днем примирения и согласия. С сегодняшнего дня цены в нашей столовой снижены! Пункт второй. По результатам писем трудящихся редакции приняты меры. Эссеисту-колумнисту Жданову И. И. поставлено на вид. Председатель правления Инвесткредобанка Сумеров» — и сразу выключил телефон, видно, не планируя услышать с той стороны даже и полслова, кроме самого первого: «СлушаюХрапов».

А еще всем стало понятно, что сия иезуитская игра со столовским меню, с этими «крем-супом из мидий, двенадцать рублей семьдесят четыре копейки, котлетами по-киевски, четырнадцать рублей восемьдесят три копейки...», была какой-то особой, хитрой мерой самонастройки, отдушиной этого сложного человека. Сейчас, отдав сей абсурдный приказ, он заметно успокаивался от потрясений дня, даже напевая что-то из Высоцкого: «*И текли, куда надо, канал-лы... Было время, и цены снижал-ли*».

Альбина вспомнила, как вместе со всеми «господами редакторами» она впервые толклась в столовой, читая то фантастическое меню. Как журналисты вокруг мучительно гадали, представляли Сумерова, сочинившего циничный прейскурант, даже кем-то вроде... Иосифа Виссарионовича Сталина, игравшего советскими писателями накануне их первого съезда. И вот теперь она впервые видела подобный «процесс изнутри», видела игру лица человека, придумывавшего *это*. Словно на волшебной машинке пролетела и подсмотрела тайком за кем-нибудь из недоступных героев ЖЗЛ... И еще раз поблагодарила судьбу за подаренный интересный, захватывающий период жизни.

— Итак, друзья, на чем мы остановились? Ах да! Игнат Жданов стал много пить. И что теперь его стилем и распорядком жизни будет заниматься еще и Альбина Терлецкая. Теперь второе. Предложение Эдуарда по комплексной диспансеризации Жданова принимается. Может, у парня Эффе́кт его пропал — от здоровья пошатнувшегося, тут дело неизведанное. Но поездка его с Румянцевым в клинику отменяется. Эдуард, ты решаешь вопрос, чтобы они с бригадой, аппаратурой приехали сюда. Скажешь Трошину, чтобы выдал тебе наличными... сумму не уточняю, главное, чтобы твои айболиты были здесь завтра вечером. Типа... Диспансеризация трудового коллектива. Вместе со Ждановым проверить еще... человек пять. Так, а теперь у нас Альби-ии-на... Я тебе сейчас и приказываю, однозначно, как ты любишь: чтобы всю эту неделю, до следующей среды включительно, Жданов не выпил бы ни грамма спиртного! Способы, средства на твое усмотрение. Сколько понадобится по наличным деньгам, тоже скажешь Трошину, без ограничений. А Эдуард Кумихин проводит повторные сеансы. Вопросы есть?

— Вадим Сергеевич, мне для повторных сеансов, наверно, и не надо, чтобы Жданов не пил вообще. Может, такая резкая завязка даст какой-нибудь стресс. Раньше он выпивал умеренно, и все было в норме. Нужно только, чтобы не так много, как в эти недели.

— Принимается. Суточную норму Жданова согласишь с Кумихиным.

— Есть согласовать!

— А все равно ему больше Луизка Кошелева нравится, — пробурчал Румянцев, — а тебя он просто — боится.

— А это, старинушка, не твоя печаль. Да, он же к ней собирался поехать, Луизианой ее называет.

— Спасибо, Андрей. Альбина!

— Я!

— И еще один тебе вполне определенный, как ты любишь, приказ: с Луизой — не допустить! Понимаю-понимаю. У тебя, Альбинушка, самое сложное задание. Как у нас во внутренних войсках шутили: «Сержант Петров! Берите пару солдат и оцепляйте стадион!» И чтобы ближайшую неделю, нет, три Игнат вообще не покидал это здание. Дальше я решу вопрос более фундаментально. Средства — опять на полное твое усмотрение. Ясно?

— Так точно! А что значит «более фундаментально»?

— А не знаю пока! Может, поднимемся и всем составом уедем в гарнизон к Василенко. А может, и на Кипр, как в «лихие девяностые» туда всем составом махнул наш славный «Союзплодоимпорт», оттедова русской водочкой по миру и торговали.

— А теперь — из Лондона, — мрачно процедил Румянцев.

— Да! — оживленно вскинулся Сумеров. — Вот уж совпадение. Напомнил ты мне, Андрюша, я ведь послезавтра в Лондон лечу. Понимаю-понимаю, обстановка сейчас в нашем... Проекте не самая спокойная, но я буквально на полтора-два дня. Туда-обратно. Вам я тут все спланировал? Я вчера дочку спрашиваю: что тебе из Лондона привезти? Она смешалась, перебирает пластинки своих английских ансамблей, бормочет: «Да все у нас есть...» И знаете, что попросила? Шапку эту медвежью, мохнатую, в которой их гвардейцы королевские ходят на парады. Теперь и думаю, где ее там найти? Не в курсе, у них там есть вроде Арбата нашего с сувенирами?

— Есть. Наверняка есть. Вы у портье спросите, — все наперебой. — У вас где будет гостиница?

— А не знаю. Вот бумаги... Дайте сюда... так... Кэмден-Лок, — вслух прочитала «остающаяся за старшую».

— Ну а вам-то, други мои, что из Лондона привезти?

— Романабрамовича! Ну хоть немно-ожечко! — и все прыснули на молниеносную шутку Альбины.

51-а

Оставленной «на хозяйстве», взявшей с места в карьер полномочной начальнице Альбине утром следующего дня Кумихин вручил флешку: все новосозданные или обновленные файлы, вытасканные с обоих Игнатовых компьютеров. В том числе удаленные им, в том числе и отправленные «окончательное удаление» — программа-жучок в тех случаях салютовала Игнату: «ОК! Выполнено», но копия файла переправлялась на компьютер Кумихину.

В разъездах между переговорами этих дней, может, вечерами, а может, и ночью, Альбина собиралась прочитать, пропустить через себя все, что насочинял Игнат за последние два месяца. Похвала Сумерова за вчерашнюю гипотезу-догадку, вспоминаясь, вновь и вновь опаляла Альбинины щеки румянцем, раззадоривала, гнала ее, как хорошую служебную собаку, за новым поощрением. Пользуясь хранящимися в спецификациях файлов датами и даже точным до минуты временем обновлений, она решила вычислить: когда и как, при написании какого текста Игнат потерял свое «моджо», перестал выдавать на-гора Вещество Веры.

«Как там Вадим Сергеич вчера наставлял? Бог создал нас разными, чтобы мы

нуждались друг в друге... Что ж, Сумеров! Ты будешь во мне нуждаться! Сильнее, чем в ком-либо!» — думала, почти вслух бормотала Альбина, перегружая на свой планшет вереницу файлов.

— Что-что? — переспросил Кумихин.

— Н-нет, я так... а что это за фельетон у него: «Волки и свиньи»?

— Х-ха! — засмеялся. — Это помнишь, его подталкивали про ММВБ, валютную биржу, написать? Вадим Сергеевич, наверно, хотел там как-то сыграть. На повышение или понижение — уж это я не в курсе.

— И-и...

— А ты не помнишь? Хотя проектик был несостоявшийся, отложенный, — и видя по-прежнему поднятые Альбинины брови, Кумихин пояснил: — Играющих на бирже в мире принято называть «быки и медведи». Кто работает на понижение биржевых курсов — медведи. На повышение — быки.

— Нет, ну это-то я...

— А Жданов, вишь ты, решил попутно припечатать. Дескать, наши биржевики не быки-медведи, а волки-свиньи... Альбин, не хочу еще раз жаловаться, но... и это все — румянцевское влияние. Ты же знаешь, ну какой наш Игнатушка политик? Смех один. А этот его и тянет. Пользуется ждановской изоляцией, вливает ему в уши. Зюгановец, если не сказать — лимоновец.

— Ладно-ладно, Эдик. Еще устроим мы тут «чистку партии».

На заднем сиденье сумеровского, оставленного ей БМВ, предчувствуя большую пробку сразу за Хорошевкой, она загрузила файл недельной давности, довольно внушительный, триста восемьдесят пять килобайт текста:

Пятнадцатилетний педофил

Сей мемуар начну с того единственного в жизни периода, когда я имел законное право интересоваться маленькими девочками: четырнадцатилетними «нимфетками», тринадцати- и даже двенадцатилетними... Заигрывать, трогать, собирать коллекции невинно подстроенных касаний, заглядываться часами, совершенно не опасаясь статьи «педофилия», — и все легально, просто как... их ровесник. Кха-ха-ха... Счастье, что ювенильная либеральная мысль пока еще не заползла с этого боку, не довела свои тезисы до абсурдно-логического финала. Ведь если запрещены приставания, касания и... литературные их описания (!) — в отношении тринадцатилетних девочек, значит, доводя это (как и все у них) до сияющих вершин идиотизма, получим... двенадцатилетнего мальчика, осужденного за «педофилию». Так что держись, Игнат: когда-то избежал «статьи» как действующее лицо, но еще получишь как автор.

В шестом классе, когда девочки определялись со своими растущими «формами», я определялся (меня кто-то определял) со вкусами, предпочтениями. Иначе говоря, когда они наполняли собой школьную форму, коричневые блузки с белыми воротничками... кто-то мне наполнял «конкретикой» словосочетание «красивая девочка».

Каштановый вьющийся хвост, совсем недавно по разрешению матери собранный из стандартных косичек, карие глаза, блеставшие из-под припухлых век, атласная кожа лица — если и кукольного, то какой-то очень дорогой куклы... в общем, Лена была точно «красивая девочка».

Альбина промотала несколько страниц. Вращивая в себе настрой строгой служебно-розыскной собаки, бдительно вынюхивающей все следы, что могут быть

нужны хозяину, она постаралась безучастно пропустить эту придорожную колючку ревности: присутствие в Игнатовом рассказе Луизки Кошелевой, хотя бы и в качестве «базы сравнения», хотя бы и не в ее пользу сравнения, но все равно — присутствие... Ну а по делу пока — ничего...

— Уф-ф! Тут еще двадцать три страницы, но, в общем, все ясно. Плач Игнатушки... «Женить его надо!» — это годы, новая работа, ответственность, хлопоты с сестренкой добавили Альбине прямой и простой бабской мудрости. «Жанить его». Но додумав, тут же спохватилась: «Куда ж его женить?! Уведет его какая-нибудь от Сумерова, выведет из дела. Нет, Игнатушка, помучайся еще. Поработай. Тем более, что ты себе еще и зарабатываешь — Имя. Во всеямосковские пророки выбираешься...»

Так, а вот файл, кажется, что-то поактуальнее:

Пожизненное — Николасу Кейджу! Оскар — кинокомпании «ЦРУ Пикчерс»!

В этой, похоже, недавней, довольно гневной статье по поводу ареста нашего Виктора Бута журналист Игнат изливался сарказмом на америкосов, глядящих в мир сквозь голливудские штампы и, соответственно, на русского бизнесмена — как на «Оружейного барона», сыгранного Николасом Кейджем в одноименном фильме.

Все обвинение Виктора Бута построено на провокации, инсценировке заманивших Бута в Бангкок, «на переговоры», под жерла скрытых телекамер (а... вот откуда «кинокомпания ЦРУ Пикчерс»!). В бангкокском отеле «Sofitel» Бут был арестован... Даже наш правозащитник Лев Пономарев определил суть дела: жестокое наказание на основе провокации.

Но как обстояли дела со «вживанием в роль»? Преподают ли цээршникам «систему Станиславского», которая с 1920-х годов «принята на вооружение» поколениями американских актеров? Какова была «сверхзадача роли», как ЦРУ-агенты выстраивали мизансцену, чтоб не услышать знаменитое: «Не верю!»

Важный пункт ускользнул от внимания всех театрально-судебных «рецензентов». Сцена с «колумбийскими повстанцами» имела место в... бангкокском отеле «Sofitel Silom Road». А вспомним нью-йоркский «Sofitel»... сцена «Изнасилование софителевской горничной Стросс-Каном». Уже второй «Софителю» становится театральными подмостками... Похоже, у режиссеров «ЦРУ Пикчерс» завязки именно с этой сетью сценических площадок. Мхатовскую «Чайку» «Софителю» пририсовать в эмблему, наверно, нельзя («защищенный товарный знак»), но какие-нибудь узкие дамские трусики, стринги, напоминающие парящую чайку, вполне. Вспомните другой голливудский хит: «Хвост виляет собакой» (Wag the Dog) с Робертом Де Ниро, Дастином Хофманом, о выдуманной угрозе, спецоперации, о вторжении «второй реальности» в «первую» и о том, что «молчаливое большинство» уже давно их не различает...

В это время сумеровский водитель, выискивающий подобно полярному капитану хоть двадцать метров свободной ото льда воды, углядел просвет и рванул со светофора так, что Альбину словно ручищами какого-то любовника-атлета вдавило в замшевую спинку БМВ, и она перескочила на следующий файл.

Директору МВФ Доминику Стросс-Кану, жертве другой провокации, ранее повернувшегося, казалось, лишь для сопоставления обстоятельств ареста, Игнат посвятил еще две статьи. «Секс, власть, Валютный фонд» — здесь он вцепился в целое поколение политиков-«секс-скандалистов», израильского президента Моше Кацава, Берлускони, Клинтона, вытягивая сходство судеб из периода их молодос-

ти, из 1960-х, из «Секс, драгс, рок-н-ролл»... А в день Доменикового повторного ареста во Франции за «сутенерство» Жданов ехидно-мстительно припомнил случившийся точно там же и с тем же обвинением арест миллиардера Прохорова — в статье, называвшейся «Сам себе сутенер».

И совсем поздно вечером, пролистав еще семь файлов с его автобиографическими пассажами, Альбина вдруг поняла: а ведь Игнат всегда именно этого и хотел. Подполья. Взгляда из Подполья, записок из Подполья, редких и потому впечатляющих, почти наркотических, галлюциногенных выходов из Подполья.

Конечно, с Сумеровым у него (да и у нее, Альбины, у всех «наших») вышло приключение просто невероятное. Но ведь и до этого у Игната была Бутырка, куда он почти сам себя загнал. И две последовательно унаследованные квартиры — казалось, уж на что заурядное событие, ведь сколько народу стареющей Москвы живут бабушкиными да тетушкиными кэвэ метрами! Но и эти наследования оборачивались Игнату не допингом, помощью, «стартовым капиталом»... а алкогольно-поэтическими запоями, годовыми изъятиями себя из общества, придавая ждановской жизни, сочинительству, «карьере» характер какой-то штрихпунктирной линии. А его взгляду — черты искренней ошарашенности.

— Впервые за три месяца вышел из дому дальше магазина, да еще сразу — аж на Тверской бульвар проехался! И оказалось, что темный слух о каком-то массовом помешательстве или зомбировании верен! Среди отогревающихся на мартовском солнышке голубей с воробьями туда-сюда одиночно сновали люди, смотревшие прямо перед собой и энергично что-то говорившие. А громкий разговор с собой считался приметой помешательства столь же верной, как и слюна, текущая из углов рта...

— Ага. Этот фокус, значит приключился с ним на Твербуле. Публика продвинутая, первыми понакупили гарнитуру «хэндс фри», понацепили, не предупредив Игнатушку. И бубнят, орут себе в микрофоны под куртками, сбивая беднягу с катушек... А раньше он точно так же проспал период наплыва первых мобильных. Страниц десять назад описывал, как на даче покойного дружка Сухотина. Типа сторожил ее почти год, сбежав от первой жены... Вот так, Игнатушка. Поймаешь на бульваре сумасшедшего, а он: отстаньте! Это у меня вай-фай и айфон с хэндс фри!

Альбина сняла углом салфетки кофейную кляксу, под которой открылись мерцающие цифры сегодняшнего числа и времени: один час двадцать семь минут.

— Боже, полвторого ночи!.. — Она оглянулась, но не смогла заставить себя донести до кухни блюдце с остатками паштета, колоду нарезанного сыра, чашку и давно остывшую турку...

— Весь окружающий воздух переменялся. Иной страшно и представить, как его в любую секунду, каждую миллионную долю, прорезают во все стороны миллиарды килобайт слов, сигналов эсэмэсок. Глупое спокойствие, нечуткие слоновьи уши не укроют от кошмарного факта: ты еще мечтаешь о чем-то... в тот самый момент, когда сквозь твоё тело, твои липкие мозговые извилины, сквозь студенистые глазные шарики, ухающее сердце и вспархивающие легкие, сквозь изготовленные два плевка спермы с копиями твоей личности, как через проходной двор, без спросу и жалости продираются они, те, от кого ты надеешься дешево отделаться, произнеся «электромагнитные волны». Нетерпеливо заглядывая в окошко микроволновки на курицу, жарящуюся в этих «волнах», ты не видишь подобия, а жаль... «Смерть идет по проводам» — старая страшилка, а вчера я нарочно проследил — Весь Путь. Медный проводок, нить Всемирной Паутины, вползшая в мой дом, заканчивалась розеткой под письменным (да каким «письменным»! — компьютерным) столом. Нет, еще двадцать пять сантиметров от розетки к роутеру, черному ящичку, подмигива-

ющему двумя, красным и зеленым, глазами, а от него дальше — только нагоняющие меня волны. Гуляя по квартире с ноутбуком, вообразил было его — своим серфом, доской, бегущей по волнам, но скоро забыл об этой глупости, усевшись на диван, спиной к разноглазому роутеру. Я тогда скачивал фильм, сто лет его хотел посмотреть, да все не получалось или забывал. Режиссера Лени Рифеншталь тот самый фильм, «Триумф воли» (ну... это про то, как Гитлер бросил курить). Столько толков было о нем когда-то, разговоров — а вот ведь... клик-клик, и «идет загрузка... 30 %... 50 %... 75 %... 90 %... 98 %... Выполнено».

Нынче всякие философы выводят Бессмертие человека, то есть Души, из неумиротворимости Информации. ВСЕ витает ГДЕ-ТО... Где-то — здесь! Значит, и этот фильмец с твякающим Адольфом, и юные барабанщики продолжили свою жизнь в виде вибраций... маршируют в моих печенках и яйцах. Да что Адольф! Электроны и фотоны, посланцы Всемирного Вай-Фая, триллиарды слов, каждую микросекунду царапаясь, продираются сквозь твои мускулы, сосуды и извилины, безжалостно спрямляя себе дорогу. Они-то и стали воздухом, которым... принимая его за прежний, как-то еще пытаются дышать эти несчастные спамоносители...

Реклама коммерческого Ново-Котляковского кладбища. После перечня всех удобств и скидок: «Бесплатный Вай-Фай», «Free Wi-Fi». Или...

Платный нудистский пляж в Серебряном Бору: «Free Wi-Fi»...

Здесь уж Альбина в голос захохотала. Пляж этот она хорошо знала. В свой содержанский, у Артура-Мони, период часто там бывала. Точнее, это Моня, извращенец гребаный, выгуливал ее там, хвастался, ловил и считал воспаленные взгляды, мысленно перепродавая ее всем, кто пожелает... Мажорная публика, ходят, потряхивая вторичными половыми признаками, болтают по мобильникам, действительно похоже на выставку-конкурс собак. Некоторые слушают свои айфончики, из надетого у них — только наушники. И представить эту публику «безо всего», но с компьютерами в руках... все такие... подключенные, «держашие руку на пульсе», рассылающие и принимающие свои идиотские письма, «посты»... а кто-то «фрилансерный», может, шлет по редакциям свои политологические или маркетинговые обзоры»... Это действительно тянет на символ эпохи... голые с ноутбуками. Тут ты, Игнат, прав.

— Сумеров меня точно избегает. Но не боится же! После всего, что для меня сделал! Избегает, наверно, опасаясь, что я буду слишком назойлив, рассыпаясь в благодарностях.

Андрей просто потряс меня: вся эта история с добрыми-предобрыми инопланетянами нужна была для... Привез вчера, девчонка, худющая как смерть, смотрит пронзительно. Пригляделся — да это же Жанна! Из-за которой я в Бутырке, а Пашку убили недавно. Села, в подлокотники вцепилась — пальцы аж белые. А Андрюха дергает меня за рукав поминутно, оттаскивает в угол, тоже совершенно ненормальный, и яростным шепотом объясняет, и всякий раз — разное. То он хочет расследовать то дело об изнасиловании, себя как следователя реабилитировать, потом — нет, убийц Пашки, заказчиков найти. То вообще дикость — вроде жениться хочет на этой Жанне. Чего от меня хотели?!

Такие вот Вера-Надежда-Любовь. И мать их Софья...

И если ты не веришь в любовь, то и я не люблю твою веру. Синтетика.

«Вера же... — по слову апостола — есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»! Вера — трепетание ветвей и поклоны деревьев, за пять минут до прибытия ветра... Ты живи только пять минут и всегда будешь купаться в море Веры.

— Может, здесь была твоя потеря, Игнат? Что-то стал много рассуждать о Вере.

— Спина — парус, наддуваемый восторженными взглядами. Мой Золотой Век: улыбочивые фиксатые земляки из поселка Торфобриккет. Но был и более давний, Плюшевый Век: портьеры, мягкие игрушки, детство.

А остаток моей жизни будет настоящее шоу.

— А вот это точно, Игнат. Фирма... Сумерова — гарантирует!

52

Около одиннадцати часов утра, открыв дверь Альбиного кабинета, к ее столу довольно резво подошел Игнат Жданов.

Альбина работала сегодня с восьми, но взгляд ее, поднятый на Игната, был полон самого свежего, доброжелательного и даже немного... чисто женского интереса. Так, во всяком случае, истолковал это Жданов, полагавшийся на визуальный контакт. С собой он захватил какие-то листки, но, увидев в руках прекрасной редактрисы верстку своего эссе, сразу же почувствовал шум и толчки крови, словно с его «мотора-сердца» (*«сердца выстывший мотор»*) сняли глушитель. Ведь буквально позавчера, поздно вечером, Альбина, принимая листки и флешку с новой порцией его творчества, посмотрела на него как-то особенно. Вызвав... Зародив... Первый всплеск на сейсмографе.

В этом он был абсолютно уверен, уж он-то знает, уж настолько привык за год к ее деловому, бесстрастному тону, отношению, чтоб почувствовать даже и мельчайшее изменение... А это было и не мельчайшее...

— Альбина! Ну и как тебе мое — новое? Твое личное впечатление, а?

— Это которое? Что с такими тонкими аллюзиями на акмеизм?

— Ну да, конечно. То, что ты сейчас читала. А ты, выходит, и акмеизм разглядела? Да, я всегда считал и считаю тебя одной из самых умных женщин, которых я знал. Это настолько само собой разумеется — что тут и повторять! Но ты же, согласишься, всегда была со мной такою сдержанной. Почти никогда не делилась впечатлениями от моих... творений. Молча забирала, и все. Понимаешь, границы наших вкусов, знаний, они же нащупываются в процессе живого разговора... Вот я, извини, и не знал, насколько ты знакома со всем этим... Акмеизм! Мандельштам! Ахматова!

— А Николай Гумилев!? А Сергей Городецкий с Георгием Ивановым! А Михаил Зенкевич?!

Хотя не столь опьяненные слух и зрение, возможно, и различили бы в этой обиде нечто утрированное. И последнее в блестящем списке знаменитых поэтов-акмеистов «А Зенкевич?!» прозвучало уже совсем похоже на шуру-балагановское «А Козлевич?!».

На многочасных совещаниях столы вроде этих от щедрот Сумерова дают руководителю необходимую защиту и дистанцию, удобную позицию для наблюдения за рассевающимися на жердочке — примыкающем основании буквы «Т». Но для разбора текста тет-а-тет с автором он подходит не очень, и, собрав листки верстки, Альбина поднялась и пошла к тому из двух замшевых диванов, что стоял у окна. Она не обернулась пригласить Жданова, но весь контекст предыдущего разговора наталкивал его на то, что надо тоже подниматься, идти, тоже присаживаться, правда, непонятно — на каком расстоянии.

Быстрым движением, напоминая девушек-крупье в казино, она разложила листки на стеклянном журнальном столике подле дивана и непринужденно продолжила, полуобернувшись влево, — и как раз на этом месте и оказался подошедший Жданов.

— Игнат! Этот спецвыпуск, как я понимаю, адресуется нашим медиамагнатам, и тема борьбы за культуру, страх ее утраты будут пронизывать весь наш блок журнала. По адресной и ВИП-рассылке, как я слышала, его получают хозяева издательств, руководители телеканалов, продюсеры... и здесь твой эпатаж будет очень уместен... где ты это пишешь, погоди... ага, вот: «Бессонница, „Плэйбой“. Тугие телеса. Я список потаскух прошел до середины...» Ве-ли-ко-леп-но!

— Нет, правда? Альбина, правда?!

— Правда-правда. Прекрасно тебя понимаю! Мандельштам тосковал по утраченной связи с европейской культурой, а мы утрачиваем и связь с Мандельштамом! Вообще, эта тема утрата утраты у тебя прекрасно раскрыта!

— А у меня, Альбина, и еще есть (картина: «Приободренный хвостун»), есть штучка, тоже на базе Мандельштама, по поводу СМИ. Помнишь, меня на ток-шоу приглашали? Вадим Сергеевич дал добро, мы с Румянцевым ездили. Там еще экспертов было много разных. Болтали! Кто о чем! Оглянутся испуганно на ведущего — и давай дальше пиариться! Вот, значит, мои впечатления. Игнат вскочил и, кашлянув пару раз, начал: «Мы идем, на ходу приспуская штаны. Наши визги бывают далеко слышны. А сюжетная нить разговорца, глядь ушла на... Людовико Сфорца... Или дальше — зависит от „полулюдей“ и размеров „эфира“ пришедшим триндеть...»

Видно, Игнат готов был читать ей и на трапедии, под куполом, и на канате... но Альбина жестом прервала это токование.

— Игнат, это сейчас к делу не относится. И кстати, эти твои стихотворные вставки, «Бессонница, „Плэйбой“...», должны более органично связываться с дальнейшим прозаическим текстом. Вот смотри...

Смотреть пришлось плотнее придвинувшись, и минуты этого «органического связывания» трясли Игната, как листок в школьных электростатических опытах. Румянец давеча был отчасти прав (насчет Игнатова страха), но теперь... бурные одобрения Альбины по поводу его текста как-то толкнули правую Игнатову руку... и — прямо на бедро заместителя главного редактора.

Альбина спокойно дочитала страницу со своими комментариями и наконец обернулась влево.

— Игнат. Я абсолютно, ну просто... статистически точно знаю, что девяносто из ста мужчин и даже женщин посчитают меня красивее твоей Луизианы. Не менее девяносто из ста выберут меня. А если нас с твоей Луизианой будут сравнивать обнаженными, то, возможно, и все девяносто девять из ста.

— А ты... что же... хриплым, ломающимся голосом спросил потрясенный Жданов, — видела ее обнаженной?

— Я себя видела.

— Н-но ты что же? Так уверенно говоришь... Ты уверена, что я не окажусь этим... одним из ста?

Альбина еще раз оглядела его, словно того требовала мера ответственности, и продолжила так же медленно и взвешенно:

— Нет, я думаю, ты вполне нормален. Хотя долгое воздержание, возможно, и начинает сказываться. Но думаю, ты не окажешься одним из ста.

— И-и как же... Твое, Альбина, заявление, твое такое ответственное, надо бы подтвердить... и... ну... в общем... эк-кспериментально.

Выиграть у Луизы Кошелевой конкурс в жанре «ню»... Но ладно. Если тут у некоторых витают какие-то сомнения, то, наверно, придется внести это дело в список приоритетов и организовать это самое... эк-к-кс... пер...

Все это время рука Жданова оставалась на бедре Альбины, единственно, что

была проделана меленькая операция. Медленным археологическим или, если угодно, саперским, аккуратным миноискательским движением ждановская правая спустилась сначала до колена, нащупав край шерстяной юбки, и, нырнув под него, совершила возвратное движение, замерев где-то на полпути, успев там даже согреться. Остального Жданова трясло.

— Ну так и когда? И как ты это видишь технически? Скажем — организационно? И где вы с Луизой будете...

— Фу, Игнатушка! Давай не будем переходить к ролевым играм. Я ж сказала о конкурсе, да? Его вполне можно провести и по фотографиям... И ты, Игнат, сам отлично знаешь — это обычная практика, многие газеты и журналы такие конкурсы проводят, голосования. Раньше особенно часто, «Комсомолка» и таблоиды разные... Да-да, Игнат, фотографии, конечно, будут в жанре «ню». Наверно, восьми-десяти штук тебе хватит для определения?

— В-восьмидесяти?

— Ну-у, господин эссеист, ты и маньяк! Я сказала: восьми тире десяти! Ненасытный ты мой.

— А Луизы-то... фото?

— Ну, разумеется, достанем и Луизины.

— А и как же ты собираешься это сделать?

— Ну, конечно, не фотографировать ее самой. Через ее шефа, Семена Гарина, и достану.

— То, что Гарин на вечере на тебя очень крепко запал, это видели все. Но фотографии-то ее как ты заполучишь? купишь, что ли?

— Купить? Слушай, спасибо за идею! Было бы проще всего. И правда: тупо купить!.. Хотя, боюсь, все же не продаст... Он, конечно, сутенер, но несколько иного формата... Да, вряд ли....

— Хорошо, а как ты сама думала решить вопрос фотокарточек?

— Я просто выпрошу их у Гарина. Я же сказала, что вполне представляю их «социально-классовые роли». Более того, не буду перед тобой разыгрывать такую всевидящую, всезнайку, но на том... твоим вечере я ведь и сама расспросила его. И получила вполне удовлетворительные ответы.

— И насчет Луизы?

— И насчет.

— И ты уверена, что у него... такие фотографии найдутся, есть?

— Уверена? Не то слово! То есть если бы вдруг у него их не оказалось, то это только потому, что на прошлой тусовке он их уже кому-то всучил! Так что вопрос будет минутный: распечатать еще. А если в электронном виде, то и того быстрее.

— Ну так как же... именно ты их выпросишь?

— Ну например... посулю им какого-нибудь большого клиента. Он же знает наш круг общения, связей. Скажу, надо показать товар лицом... и всеми остальными местами.

— А как ты тогда сдержишь слово насчет клиента? Что, ради этого конкурса, ради... меня будешь ее кому-то предлагать?

— Знаешь, Игнат, день-то у меня рабочий. Мы уже час тут с тобой. Хорошо, сказала же тебе, что конкурс будет, значит, будет! Я просто... тупо выменяю их у Гарина — на свои. Вот только лишние копии сделаю и выменяю. Бартер. Тут, может, и получится так, как ты ослышался: восемь тире десять моих, на восемьдесят ее... Все. Ты, Игнат, в школе когда-нибудь марками менялся? Или этикетками со спичечных коробок? Или открытками артистов? И еще будет один у нас чейндж, бартер. Я устраиваю тебе этот конкурс, решительно и бесповоротно доказываю тебе

то, с чего мы начали этот разговор. Ну а ты, хотя бы уж до выяснения результатов, не видишься с этой Луизианой. Ни разу! Идет?

— Идет.

Довольно быстро согласился Жданов. Скорей всего, он по-прежнему, и особенно после убийства Павла Сухотина, боялся высунуть нос за пределы сумеровской крепости. Возможно, в душе, после остережений Румянцева и нынешних Альбининых, он стал побаиваться и этой стремной Луизы. И просто решил: «Фотки — тоже неплохой результат».

— Я знаю, Игнат, что несколько месяцев ты жил здесь безвылазно и какие-то перемены, новшества расценю не только как нарушение нашего с тобой уговора, но и как сугубую нелояльность Вадим Сергеичу. А в «Русском шелкопере», уж поверь, твой век был бы недолог... Во всех смыслах.

Закончив свой экспромт на такой угрожающей ноте (несколько неожиданно даже и для себя, просто к слову пришлось), она почувствовала необходимость и подсластить пилюлю.

— А я первые свои фотографии подыщу, может быть, даже и сегодня вечером. И завтра тогда принесу. Нет, все не обещаю, надо еще и вспомнить, где они. У меня же комплекта наготове нет. Извини. Умеешь, однако, убалтывать...

Вернувшись за стол, она энергично полистала ежедневник, припоминая инструкции Сумерова.

— Так кому же сначала? Ага, сначала заместителю директора Миражкомбанка. А потом по результатам разговора звоню в Научно-производственное объединение «Энтропия», нашему космическому флагману...

И помахала эссеисту ручкой... не совсем прощальным жестом, а примерно как отгоняют мух от варенья.

53

С чувством законной гордости возвращавшуюся с переговоров в Миражкомбанке Альбину на диванчике близ ее кабинета поджидал Кумихин.

— Альбина! Завтра вечером Лариса Казанцева может у нас выступить. Но договаривался я, конечно только предварительно. Теперь дело за тобой.

— Заходи-заходи, Эдуард. А что за мной?

— А ты должна разрешить это. Сказать Храпову и Александрову.

Боже! Альбина не могла привыкнуть к своей роли на эти три дня. Что это была не шутка, не сон, что Сумеров накануне своего лондонского вояжа действительно оставил ее за старшую.

— Погоди, Эдуард, а как с организацией, с оплатой?

— Да какая организация! Приедет с гитаристом. В нашей столовой стулья передвинем, и все. Когда ее на вечер ждали, а Сумеров отменил, я и подумал: а чего усложнять? Все скинулись по четыреста рублей, и готово. Имеем же мы право вечером после работы задержаться, двух человек пригласить?

— Нет, хорошо-хорошо. Я скажу Храпову. Извини, Эдик, мне самой так непривычно... Начальствовать.

Она виновато улыбнулась, полезла в сумочку, открыла кошелек, потянула деньги:

— Это восемьсот. Я Алину завтра приглашу. Она у меня в музыкально-поэтическом отношении совсем запущенный случай. Эдик, буквально еще два звонка и бегу к Храпову. Решим. Рустам, два кофе, пожалуйста. Давай вместе с тобой, Эдик, и сходим.

В своей лаборатории Кумихин отказался от такого селектора, потому и до сих

пор удивлялся: пропустишь, не заметишь маленькое движение руки к кнопке — и вот человек, продолжая говорить с тобой, дружески глядя прямо тебе в глаза, чередует фразы со служебными распоряжениями.

Повелителя всех четырех проходных сумеровского комплекса на Версильском переулке, начальника охраны Храпова они встретили в коридоре совершенно растерянными.

— Альбина Викторовна! А ваши-то... все уходят!

— Что? Куда уходят?

— Говорят, на обед уходят. Говорят, в городе будут обедать.

Да, это был первый случай с тех самых времен, как Сумеров, перевезя редакцию журнала к себе на Версильский и жесточайше ограничив пропускной режим, подавил общественное недовольство, учредив столовую-ресторан.

— Двадцать три человека ушли в город. Сказали, что имеют полное право на обеденный перерыв. Что их профсоюз может... — докладывал, семена сзади, Храпов.

Первое, самое смутное ощущение, подозрение, что сия проблема как-то связана с их совещанием накануне отъезда Сумерова, мелькнуло у Альбины, когда они подходили к кабинету главного редактора.

— Так ведь и Геннадий Исидорович вместе с ними, с ушедшими. Можно сказать, «во главе».

Напротив приемной главреда, накрывая почти всю доску объявлений, висел плакат с текстом приказа, как раз и продиктованного Сумеровым позавчера... «Пункт (1) Поздравляю коллектив... Цены снижены! Пункт (2). По результатам писем... поставлено на вид... Председатель правления...»

Вспомнила пропажу удоев ждановского «Вещества Веры». Как и без того выбитый из равновесия Сумеров в ответ на открытое письмо возмущенных сотрудников диктовал по телефону: «Пункт первый. Поздравляю весь коллектив трудящихся редакции журнала... цены в нашей столовой...» И далее-далее... как он, иезуитски улыбаясь, только трубка — не изогнутая, курительная, а — прямая, антрацитово-блестящая, телефонная... продолжает диктовать: «Передай сейчас же в хозяйственный отдел и в столовку. С завтрашнего дня цены по всем артикулам снизить на... на один рубль тридцать пять копеек! Распечатать новые меню! Вывесить по редакции три плаката!» Все точно! Альбина уже почти догадалась.

— Приказ Вадима Сергеевича мы выполнили, как всегда. Мгновенно и абсолютно точно! — рапортовал Храпов.

На красивой резной перегородке у таблички «Касса» висело и обновленное меню. Теперь уха из осетрины стоила девять рублей девяносто четыре копейки, а любимый Альбинин крем-суп из мидий — одиннадцать рублей тридцать девять копеек... и вот... ближе к концу, на третьем листке меню, Альбина и увидела буквальное и цифровое подтверждение своей догадки... салат витаминный стоил теперь минус четырнадцать копеек. салат московский — минус девять копеек. Компот вишневый — минус одиннадцать...

Все ясно. И с этим меню, и с происхождением отрицательных цен... а уж с психологией оскорбленной «русской творческой интеллигенции», ушедшей сегодня обедать в город, и того яснее!

Но... похоже, что, неосторожно перейдя эту точку — «ноль», пусть и всего-то на семнадцать, двенадцать, девять, четырнадцать копеек, он погрузил своих работников на совершенно новую глубину нравственного страдания, «Марианскую впадину» унижения, и потому сегодня в почти пустой столовой Альбина увидела только... трех человек из вспомогательного персонала.

Альбина устало попросила себе котлеты по-киевски.

Что-то взяли себе и Храпов с Кумихиным и, аккуратно присев рядом с начальницей, принялись за еду.

— Да. Я ведь должна была сообразить, вспомнить сказать ему, — задумчиво сказала Альбина, обращаясь или к Кумихину, или к себе. — Но, признаюсь, я тогда просто им... любовалась. Понимаете... это обаяние... сложной силы? Именно, что — силы, и — сложной. Сейчас ведь популярно такое представление: если сила, то грубая, первозданная. А если уж сложность, интеллигентщина, то это как хлипкая шея Семена Гарина... А тут... наверно, он и спортсмен... А вы же с ним служили Храпову, он каким видом спорта тогда занимался?

— Это как его... лыжи... футбол. Ну самбо, конечно, это мы все...

— А наши «униженные и оскорбленные», значит, отреагировали вот так. Ну да, они же коллективное письмо ему написали, как их всех Жданов оскорбил, как назвал плоскими, убогими... А Вадим Сергеевич отреагировал, если произвести необходимые арифметические действия, получается: «Выдать всем по семнадцать копеек!» Конечно, в свете вековых традиций русской интеллигенции... Белинский, Чернышевский, Илья Эренбург... это и прямой вызов, и посягательство.

— И надо ж, Альбина Викторовна, это ведь именно случилось, когда наш Вадим Сергеевич в отъезде!

— Да, Храпов, да. Ужасно. На броненосце «Потемкин» все как раз-то и началось с отказа матросов обедать в корабельной столовой. Мясо, кричали, червивое. У нас-то с этим как? В отсутствие Вадима Сергеевича!..

И подцепив вилкой кусок котлеты по-киевски она подняла на свет, покрутила, высматривая червей.

Между тем легкий гомон свидетельствовал, что мимо по коридору возвращались на работу протестанты, диссиденты демонстранты, во главе с Геннадием Исидоровичем... Некоторые из протестно обедавших в городе, правда, заскочили в столовую купить к чаю эклеров и профитролей, наверно, полагая, что «это не считается». Пирожные, впрочем, были вкуснейшие, на агар-агаре, сливочном масле и к тому же стоили порядка трех-четырех рублей, так что их сумеровская насмешка еще не обратила в отрицательные величины...

— Смеетесь, Альбина Викторовна! А что мне с ними делать?

— А... как на броненосце: накрыть брезентом, и ужасно всех расстрелять...

Дождавшись, когда обиженный Храпов поднимется и уйдет, Альбина продолжала:

— Да, Эдик! А как результаты Игнатовой диспансеризации?

— Те результаты, что готовы, почти все — в пределах. А... вот верхнее давление немного выше нормы, шумы в сердце. Уж и не знаю, влияет ли это. По-моему, у Игната все дело здесь, — постучал пальцем по виску. — И еще там... уж не буду показывать тебе. Опять же, сопоставь. Больше года он был у нас в эдаком равновесии. А в последнее время смотри: пьет сильно и за женщиной той как потянулся!.. Хотя еще раз скажу: главная догадка, напрямую выводящая нас к проблеме, твоя! Что сеанс с Жанной Рябовой, где его, получается, заставили дать задний ход — основная причина. А мерами по здоровью мы только косвенно пробуем вернуть равновесие. Нет, Альбина, честно скажу, год я с тобой знаком и не перестаю на тебя изумляться...

— Спасибо, Эдик. А что ты хотел уточнить, когда Вадим Сергеевич объявил было «сухой закон» по Жданову?

— А, это! Говорил, что и не нужно, чтобы напрочь. С Румянцевым они и правда слишком уж зашибали. Это действительно повлиять могло. Но и полный «сухой закон», к тому ж резко стартовавший, может вызвать дополнительный стресс.

- Да, Вадим Сергеевич и велел мне с тобой согласовать его норму, так?
- Думаю... в сутки можно бы ему грамм десять-пятнадцать, в пересчете на девяностошестипроцентный этиловый...
- А в пересчете на то, что он предпочитает?
- Две рюмки водки. Или два бокала вина.

54

До приезда сестры Альбина решила на один очень долго, почти суеверно откладываемый разговор. Даже просто — звонок. Она уже несколько месяцев «пробивала» по Интернету «Элитный жилищный комплекс „Корделия“», подолгу рассматривая фотографии четырех рядом стоящих тридцатидвухэтажных зданий, похожих на поставленные на попу вафли «Артек», изучала транспортную схему, план застройки с аккуратно прилаженными у подножий гигантских «вафель» игровыми площадками, детским садом. И «в реале», сворачивая на редакционном БМВ направо от Беговой улицы, она каждый раз оглядывалась на палево-золотистые (если было солнечно) башни с гигантским плакатом: «Квартиры. Телефон...». Всякие схемы покупки квартиры на «нулевом цикле», «долевого участия» ее не устраивали. Только покупка готовой квартиры «под ключ»... и позвонит она в «Принцстрой», только имея на всех трех своих счетах сумму, как она определила для себя, — девяносто пять процентов от стоимости своей «двушки».

Подсчет на прошлой неделе, приуроченный к получению ее очередной премии за идею насчет НПО «Энтропия», зажег в мозгу Альбины некую зеленую лампочку: «Пора». И так совпало, что с тех пор она уже три раза вспоминала о «Принцстрое» только после семи-восьми вечера. Вряд ли остающийся в это время какой-нибудь дежурный клерк мог бы сказать ей больше, чем вывешено на их сайте. Но сегодня все сошлось, и переговоры в НПО прошли «на ура», и времени — начало пятого... Альбина позволила себе и, позвонив, получила адрес управляющей компании, имя, фамилию, номер сотового сотрудника, который съездит с ней на объект.

«Отпрошенная» у Нартова «курсант Алина» приехала около пяти, за два часа до концерта Ларисы Казанцевой и теперь заворуженно озиралась на стены сестриного кабинета.

- А меня все спрашивали: что за концерт? Что за Лариса Казанцева? А я и не знаю, что отвечать, сестра, говорю, пригласила. Нет, а правда, кто такая?
- А вот и кстати. Сразу, чтобы не забыть. Давай сюда свой плеер.
- Вот. У меня на телефоне.

Альбина взяла ее мобильник, подключила к своему ноутбуку.

— Вот тебе, Алинка, и маленький примерчик активной жизненной стратегии, мелочь абсолютная, но из них она и строится. Вот ты вернешься в гарнизон, будут тебя подруги спрашивать что да как, а ты раз — и сразу сможешь им завести. Понравится или нет — это совершенно десятый вопрос! Главное, что ты не забыла о них, о подругах. Ты с ними... Сейчас я тебе все и скачаю... Помнишь, я к Нартову приезжала и наставляла тебя? Учила же, как ты должна уметь всегда заинтересовывать собой. А ты еще отвечала: «Альба, я не умею, как ты».

— Ага. А ты мне: «Да я и сама не умею, как я!»

— Потому что это идет уже от инстинкта. Но ничего, и инстинкты прививаются. Понимаешь, отношения — они как струны, всегда должны быть натянуты, аж звенеть. Чуть тронули струну — и ты на связи, глаза горят. И тебя все помнят, и ты... Как у тебя с подругами? Выходишь из аутсайдеров? Как «Мисс Энгельс»?

— Хорошо. Нормально.

— Что нормально? Ты уже живешь с ней в одной комнате, а не с Дашей?

— Ну, Альба! Ты такая прям реактивная. Нет, живу я пока в комнате с Дашей, но на занятиях я уже чаще сижу вместе с Ксюшей, с «Мисс Энгельс» твоей. И на фитнесе, и когда мы пресс качали на соседних тренажерах — она со мной много разговаривала... Только она меня все больше о тебе спрашивает. Так что хоть ты и приказала мне втереться к самому лидеру и общаться с ней, но все равно разговоры у нас пока получаются... Видишь. Слушай, Альба, а как ты вообще ее углядела?! Она разве что, по-твоему, самая у нас красивая?

— Тьфу. Опять ты не про то. Она самая у вас... как тугая струна, в каковые я и тебя, дуреха, тяну.

— Ага, струна. Как щипанет!

— И когда будут приезжать к вам с разными кастингами, вот увидишь, ассистенты всякие будут выбирать — ее.

— Ага, — вздохнула. — Уже два раза и выбирали. И вчера еще на одну телевикторину, призы выносить. А мне и Дашку очень жалко. Она вся такая... как вздрогнет, как уставится в одну точку и сидит так десять минут.

— Переписала, держи. Погоди-погоди... Что у тебя еще тут?! «Блестящие»? Билан?! А это? Группа «Хай Фай»? Ужас... Да... вот и еще один фронт работы: ты ж в актрисы мечтаешь, Алиночка! И какой тут может быть Билан?! Актриса — профессия творческая. Духовный мир нужен, какие «Блестящие»? Так, что еще тут? Кир... коров? — продолжая разыгранную сестрами аналогию «щенка», можно было сказать, что Алина поджала хвостик. — Знаешь, как нам журфаке на эту тему довольно грубо говорили?.. Если вы пришли домой от станка, от трактора — можете читать что хотите, хоть Донцову. Но если есть поползновение в журналистику — вы уже не вольны в своем чтении, и такая дрянь забьет ваши эстетические индикаторы! Это пример по чтению, но он ко всему подходит. И заметь, Алин, речь не о том, что те, от станка, люди — второй сорт и пусть слушают, читают дрянь, нет! А речь о том, что они — вольны. Могут слушать и дрянь. Но человек с творческими поползновениями — не так волен...

55

Пройдя еще шагов двадцать, Альбина вдруг поймала себя на непонятном, но довольно сильном, девятибалльном волнении: сейчас она будет давать распоряжения Александру Александрову, шефу отдела безопасности. Хотя рослый, эффективный «Джеймс Бонд» ее никогда особо не интересовал — но так в чем же дело? Что меня сейчас так бьет? Неужели власть, даже столь краткая, условная, «закавыченная», так меняет природу женщины, словно ведьмино зелье перед шабашем? И таблицы оценок надо заполнять наново?.. Альбина, минуты назад читавшая сестре лекцию о струнах человеческих отношений, и сама сейчас чувствовала себя звенящей, натянутой-перенатянутой тетивой. И за это новое чувство она тоже мысленно благодарила Сумерова... Полная ясность обстоятельств, почти физически осязаемая подконтрольность всего и всех сочетались с дрожью полной неизвестности.

— Александр, тщательно следите, пожалуйста, за Ждановым. После концерта будет небольшое чаепитие. Так вот для Жданова оно и должно быть — чае-питием! Конечно, основной контроль, ответственность — за мною. Но на всякий случай. Меня будут дергать, спрашивать. Могу отлучиться, извините, и в туалет. На вас, Александр, надеюсь. Тот вечер со стихами и шампанским вы провели просто изумительно. Честно, я наблюдала мельком и просто восторгалась, сколько вы тогда

ситуаций разрушили. Сегодня, кстати, задача прямо противоположная, в смысле... — она коснулась горла.

— Редакционный бар закрыт?

— Да.

— Нужно и стеллаж, и барную стойку в ресторане — аналогично. Нет, лучше унесите оттуда спиртное, оставьте Рустаму только компоненты для безалкогольных коктейлей, он у нас мастер... Так что еще? В переговорной в шкафчике коньяк стоит.

— Запрет, Альбина Викторовна.

— Все?

— У редакционных у всех в комнатах есть алкоголь. Даже у Софьи Генриховны...

— Что у Софьи Генриховны?

— Бутылка мартини начатая, полбутылки рижского бальзама и... две бутылки водки по ноль семьдесят пять, одна — полная.

Первый раз за время доклада бесстрастный Александр Александров позволил себе что-то вроде... вроде ноль двадцать пять улыбки.

— Вряд ли редакторы будут сегодня Жданова приглашать. Они теперь в больших контрах, с чего, собственно, все и началось. Но учтем, спасибо. Да и обязательно следите за Семионовым. Сам-то он меня волнует постольку поскольку. Но если он напьется, может и Жданова напоить. Или Игнат увидит теплого Семионова, присоседится.

— Ясно, Альбина Викторовна. Семионову тоже все варианты отрубим.

— Да, и передайте это Храпову, на все проходные. Жданов, Семионов живут здесь практически безвылазно, но если сегодня-завтра попробуют выйти в город — задержать. С карточками, мол, что-то не то, если сейчас выйдут, то и впустить обратно будет нельзя... Ну, примерно. И сразу звоните мне.

— Есть, Альбина Викторовна.

Она чувствовала, будто на ней не юбка, топик, жакет, а генеральская форма. А интересно бы увидеть себя хоть раз в военной форме!

56

Игнат сидел перед компьютером, Румянцев полулежа тренькал на гитаре. На столике, так и есть, стояла початая бутылка водки. Увидев Альбину, Румянцев встал, отложил гитару и почти демонстративно покинул комнату. Показалось даже, что иронически козырнул ей в дверях. Если так, то очень глупо с его стороны.

— Чё, Альбин, фотки принесла?

«Нет, объективно, прямо другое состояние у меня», — Альбина сравнивала прошлый тет-а-тет со Ждановым у себя в кабинете, не чувствуя сейчас и четверти вчерашней победительной уверенности. «Бери себя в руки... Теперь что? Ах, да, фотографии. На ноутбуке у меня лежало несколько»

— Нашла, Игнатушка, нашла!

— Так что? Посмотрим сегодня? — Теперь пришла очередь дрожать и эссеисту.

— В электронном виде. На ноутбуке.

— Ладно, можно пока и на экране глянуть.

— Да хоть сейчас. Побрейся только. И не забудь — сегодня концерт.

— Лариса Казанцева? Ув-важаю! Правда. У меня два диска ее есть. А кто ж ее к нам организовал?

— Кумихин. Иди брейся.

Под удаленное жужжание Альбина быстро соображала, куда бы припрятать их

бутылку. Ничего лучше, чем за томик Бродского не сообразила. Прикрыла стеклянную створку... В оставшиеся секунды «Мата Хари» заглянула в экран его компа:

— Князь Курбский. «Выбранные места из переписки с друзьями».

Хоть Чехов и говорил насчет раба... но сколько из себя ни выдавливай по капле, а последняя все равно капает в штаны.

О применении бисера в свиноводстве...

«А... типа заготовок к будущим эссе», — сообразила Альбина.

«Н-да... сколько он в своем монастыре, без женщин? Год уже, наверно...»

Вошедший Игнат заметил изменение в комнате (есть такая игра) — в первую же секунду.

— Не. Я так не играю. Верни бутылку. Ты, конечно, начальница у нас и вся крутая, может, и круче Луизки, и красивее... Но и я вам не мальчик на побегушках и представляю, сколько вы с Сумеровым на моих эссе зарабатываете.

«Еще одна опасная новость! Новая, как выражается Валим Сергеевич, вводная».

— Ладно-ладно, Игнацио! Уж и поиграть нельзя. А сам найдешь? Слабо? По запаху?

— Типа я такой алкан — по запаху водяру искать?

— Хорошо Игнацио! Доиграем в эту игру по-нормальному, ну как в детстве играли. Я читаю тебе три строчки, это будет точный намек. А ты находишь. Идет?

Похоже, это имеет объективно терапевтическое значение — вид красивой, пусть даже не совсем понятной, даже совсем непонятной женщины. Помявшись с полминуты, Игнат немного посветлел лицом и сказал:

— Идет. Давай намекай.

— Так-так-так. Погоди. Ага... «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» Тьфу ты, забыла дальше. Ага!.. «Теперь мне сорок. Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной...»

— Хорош-хорош, не забили пока. — Игнат уверенно поднялся, подошел к книжному шкафу и, отодвинув том Бродского, достал пол-литровую бутылку-фляжку. Водрзил ее снова на столик, но тотчас наливать не стал. — Так, Альбин, а на что мы с тобой сейчас играли?

— А ведь и не на что!

— Ну, давай тогда выпьем — за наши игры и наши конкурсы!

— Погоди, погоди. Не гони, если вправду хочешь, чтобы я с тобой выпила.

— А что?

— А то. Вы по сколько сегодня уже с Румянцевым пропустили?

— Да по одной только. Ну ты, вообще, генеральша! Куда там Сумерову!

Альбина посмотрела на полоску уровня. Похоже, и правда по одной.

— Концерт же будет, Игнат! Ты ведь знаешь. Казанцева — не какая-нибудь попса галимая, которую только под этим делом и слушать. А у меня и сестра приехала. Так что решено. Мы сейчас выпиваем с тобой ровно по одной рюмке, и я забираю эту бутылку... Нам же еще надо зайти ко мне за ноутбуком.

Альбина взяла фляжку и медленно, Игнату — чуть меньше, разлила... Закусили маслинками со шпажек.

— А знаешь, ты меня на своем вечере так тогда напоил, я потом два дня просто никакая была. Работать надо, показывать шефу проект спецвыпуска, с твоим же, между прочим, эссе. А меня крутит и крутит.

— Я!! тебя напоил?!

— А кто же тогда еще? — изумилась хитрая черно-бурая лиса, округлив глаза на эссеиста-Буратино. — Нет, ты, конечно, тогда больше хотел свою Луизиану спить. Бедняжка весь туалет обтошнилась... я тоже тогда набралась.

- Правда?
- Представь, а я такая вся... бессердечная стерва, я даже сняла ее там на телефон.
- Покажешь?
- Покажу.
- Когда?
- Когда придумаю, что с тебя поиметь за это.
- Да-а, Альбин! Интересно с тобой... Правда. Ты такая вся... Ты вся как Божия гроза! Молниеносная, молниевидная. Быстрая. Точная... А правда, что Сумеров злился, что Луиза с Гариным пришла?
- Нет. Сумеров злился, что *Гарин с ней пришел*, вот разница! Не она с ним — он ее таскает, как торпеду самонаводящуюся. Как же Сумерову не злиться, ведь ниши наших журналов почти совпадают. Конкуренты!
- Понимаю. Вадим Сергеевич правда вел расследование, кто их пригласил?
- Ну да. Допросил всех, но почему-то так и не выяснил.
- Потому что это я их вставил в список.
- Так я и думала. Только как ты исхитрился?
- Я к Александру Александрову подошел, вручил листок. Сказал, что это Вадим Сергеевич вставил Семена Гарина и Луизу Кошелеву.

«Ах вот оно что, — уяснила Альбина, — теперь понятно, почему и “служебное расследование” зашло в тупик. Видно, тогда ждановский Эффект бил еще на полную мощность, и в организационной суматохе шеф “секуритаты” не только внес в итоговый список этих неразлучных Базилио–Алису, но еще и как-то для себя зафиксировал, будто это и правда не Игнат, а сам Вадим Сергеевич их вставил».

— Фу, Игнат, уже пятнадцать минут осталось. Это же полное свинство! Всех бросила. Я же пока начальствую над всем этим заведением! А если там вопросы возникли? Я и поприветствовать их как-то должна, не делай ты меня полной свиньей.

Они быстро спустились к ней. Альбина перед Игнатом демонстративно, примерно как фокусник, показывая: «Господа! Смотрите сами! Все пока честно», открыла сейф, поставила туда ждановскую фляжку, закрыла. Из шкафчика достала бутылку шампанского «Д. П.»: «С твоего еще вечера. Надо ж Казанцевой подарить что-нибудь!» Потом подошла к столу, взяла ноутбук и скомандовала: «Вперед».

57

Изменили ресторанный расклад, все столы в одну сторону, стулья — рядами перед небольшим, в одну ступеньку возвышением. Пришло и человек пятнадцать банковских. В аппендиксе Альбина увидела рядом с Кумихиным невысокую девушку с каштановыми волосами и крепкого лысоватого дядьку — Казанцева с гитаристом.

Даже и без своего сегодняшнего обостренного состояния она почувствовала бы легкую волну враждебности, плеснувшую от журнальных коллег. Выбилась. Начальница. Оттирает, интриганка, нашего Геннадия Исидоровича. И еще заявила сегодня под ручку с этим хамом, при ней же оскорбившим всех нас... Да может, это и она сама, как-нибудь сидя на коленях у своего солдафона Сумерова, подсказывала ему, играя пальчиком, диктовала это циничное меню: «А давай выдадим им всем по семнадцать копеек! И посмотрим, проглотят ли?» Прямо Аракчеев и его фаворитка Минкина. Но ничего-ничего! Мы эти ваши «военные поселения»...

И еще сюрприз. Среди банковской группы, нейтрально или даже благожелательно ей улыбавшейся, она вдруг увидела и Марину Сумерову. Кто-то, верно, общается, может, даже дружат семьями. Интересно, кто ж? Ближе к Марине стоял Трошин, к которому Вадим Сергеевич, раздавая перед отъездом приказания, велел обращаться за деньгами... В памяти Альбины снова прозвучала сладкая музыка последнего совещания... Только проконтролируй Игната! Любые расходы, скажешь: «Приказ Сумерова». Сумму не называю. Мастер царских жестов. И правильно, что со Сталиным сравнивают. Марина на него все-таки похожа, немного. А как Трошина по отчеству? А ладно...

И она, как была, с ноутбуком, тяжелой полторалитровой бутылкой шампанского, с Игнатом под ручку подошла к ним.

— Здравствуйте, Павел м-м... Позвольте вам представить нашего лучшего, неуловимого и полулегального эссеиста — Игнат Жданов!

— Очень, очень приятно. А это дочь Вадима Сергеевича, Марина... А это, Марина, правая рука твоего отца, Альбина Викторовна.

— А мы с Мариной знакомы уже!

Марина покраснела, но — дочь своего отца! — быстро овладев собою, важно обратилась к Игнату:

— Папа приносит домой журналы. Я все ваши эссе читаю.

— Ну и как вам?

— Очень, очень интересно. У вас такой кругозор! То о политике, то о страховых компаниях, то о спорте... И знаете, Игнат, всегда кажется, что это для вас — только случайный повод, будто кто-то вам подсказал тему, но вы все равно пишете о своем. Ой, уже рассказываются, пойдёмте?

Первые три ряда оккупировали «господа редакторы», явившиеся как на митинг протеста. Банковские, сегодня гости, перешедшие через Версильковский переулок по арочному переходу из пуленепробиваемого стекла, занимали галерею. Альбина с Игнатом прошли по этому социально-профессиональному водоразделу к АLINE, сидевшей в четвертом ряду. Трошин с подопечной Мариной и девушками из кредитного отдела уселись ровно позади. Кумихин, видно, ориентируясь еще по первоподшедшей АLINE, зарезервировал себе посредством большого букета местечко ровно впереди Альбины. Справа... справа, подобно милицейской мигалке, ревнивые взгляды бывшей подруги Маши Кондратенко. Да, Альбина сегодня под ручку с ее «князем Мышкиным-Подмышкиным»... Аккуратно установив бутылку шампанского под креслом, отдав свой ноутбук Игнату, она подключилась к прибою аплодисментов...

— Здравствуйте, все! Друзья мои, сегодня мы будем исполнять песни замечательного поэта, композитора Михаила Константиновича Щербакова. — Просвещенные, в основном в первых рядах, похлопали. — А также других известных авторов, Алексея Иващенко и Георгия Васильева, с которыми мы познакомились во время работы над мюзиклом «Норд-Ост»...

И концерт начался, сразу же сбив с толку всех малосведущих. Барды? Но никакой банальщины про «палатки, дожди, как здорово, что все мы...». Голос? Тоже ничего «вокругострового» и близко. Богатый, гибкий, может, эстрадный или как раз из этих мюзиклов. Интонаций, настроений, точности, иронии — «вагон».

Путь не длинный, не короткий, посвист плетки, запах водки.
Кратко-времен-ный ночлег, скрипы сосен корабельных,
всхлипы песен колыбельных, дальний берег, прошлый век...

Потом минута — перевести дух, себе, слушателям перенастроиться и:

Погрузить бы в корабли, затопить бы в океане
Все песеты и рубли, все иены и юани.
Этот хлам из разных стран ни к чему и задарма нам,
Все сокровища обман, а прожить нельзя обманом...

Игнат недоверчиво косился на вытянувшуюся струной Альбину. Привыкнув за год к ее отстраненному, даже снисходительному отношению к нему, он подсознательно переносил ведь *это* и на Поэзию вообще. Видно, творческая мания величия, пересекаясь с другими комплексами, выдает такие отводы, коленца, в которых и не всякий сантехник разберется.

...Все рассыплется в момент, измельчится при размене.
Лишь один эквивалент в этом мире неизменен,
Только он в потоке дней абсолютно одинаков.
Без портретов королей. Без гербов и водных знаков...

Алина восторженно и благодарно сжимала ее левую руку...
— Боже! Ну я и уселась! Слева — сестра, справа — главный подопечный... Спереди Эдуард в паузах ревниво оборачивается. Сзади — дочь Вадима Сергеевича. Струна...

...И не споря о цене, не теряя ни минуты,
Конвертируешь ты мне нашу тайную валюту.

Игнат положил ей руку на бедро. Уверенней и тяжелее, чем тогда, в кабинете.

Пусть тощает мой карман, если рядом ты со мною.
Все сокровища — обман! И не что-нибудь иное...

Наверно, восприняв *это* как некий антимонетаристский гимн, стоявший в левом проходе Геннадий Исидорович, скрестив по-наполеоновски руки, гордо поглядывал на банковскую галерку.

— Спасибо-спасибо, друзья. Мне так хорошо, интересно петь тут у вас. Я перед началом гуляла по вашему... что это у вас? Это у вас столовая или ресторан?

— Ресторан! Столовка! А и так и так — обидите!

— Правда? Я тут у вас такое смешное меню видела. Котлеты по-киевски — четырнадцать рублей восемьдесят три копейки, а салат витаминный — минус семнадцать копеек! Это у вас игра такая, да?

Тут все «редакционеры» так дружно и злорадно оглянулись на Альбину, что Игнат испуганно отдернул руку.

— Да, Лариса Рюриковна. Игра. — Оставленная за начальницу отвечала удивленной артистке и своему озирающемуся коллективу. — Что-то вроде смеси: «Веришь-неверишь» и «Вышибалы».

Интересно. А сейчас, друзья, мы с вами сыграем еще в одну игру... и опять с песней Михаила Константиновича Щербакова...

Мало ли чем представлялся и что означал
Твой золотой с бубенцами костюм маскарадный,
В годы, когда италийский простор виноградный,
Звонкие дали тебе, чужаку обещал...

Рука труса, наглеца и поэта опять приземлилась на ее бедре, да еще и начала блуждать, дрейфовать. Альбина взяла ее, сжала и, чуть повернув, провела ребром

его ладони черту на своем бедре, а потом отпустила, уложив ниже, у самого колена. Лишь когда эта операция повторилась третий раз, Игнат понял, что прочерчивалась граница дозволенного ему. И, приняв очередное условие, стал гладить ее коленку.

Мало ли что под руками твоими поет,
Скрипка, гитара, шарманка, волынка... челеста,
Время глядит на тебя как на ровное место,
Будто бы вовсе не видит, но в срок призовет.

«Вот и не верь после этого в телепатию, — подумала Альбина. — Какая же умница! И поет будто и не ртом, а — глазами!»

...В срок призовет тебя время, но прежде, прежде
Даст оправдаться и только потом умертвит...
...Время стремится к забвению, как ты к забвению.

Лариса Казанцева объявила, будто попросила, перерыв. Несколько человек встали размять ноги. Игнат, включив, развернул к ней ноутбук: «Ну показывай! В какой они у тебя папке?»

— Игнат! Люди же, — прошипела Альбина.

— С боков отвечает, а спина у меня пока не прозрачная.

— Да ты реальный маньяк... — обернулась, — Лин, сестричка, принеси нам, пожалуйста, по «Мохито». Рустам сегодня безалкогольные делает.

Сестрица надула губки, но пошла. Альбина вернулась к своему озабоченному подопечному:

— Ну?

— Во-первых, Альбин, мы ж договаривались. Я, например, Кошелевой не звонил. А во-вторых, и это главное, ты, похоже, меня... вдохновляешь.

— Да-а? — так же приглушенно, но уже с гораздо большим интересом протянула Альбина. — Вот с этого места, Игнатушка, пожалуйста, поподробнее.

— Понимаешь, я чувствую. Я будто весь этот год иссякал. И ты об меня тоже ноги вытирала. И вся эссеистика эта меня стала утомлять, ты не представляешь как...

— Ну, а... теперь ты... — как учительница, вытягивающая двоичника у доски.

— Да я прекрасно вижу, что я как мужчина не очень-то тебе интересен. Ну и прекрасно! И твоя холодность, трезвость, рассудочность нравятся мне больше, чем любой жар-пожар.

— Да-а? — протянула Альбина с сомнением...

Рустам на время антракта включил громко-тягучий индийский инструментал. «Вроде и глушит наш с эссеистом разговор, но все равно, Эдуард впереди как-то нервно ерзает». Оглянулась. Сзади Трошин что-то увлеченно рассказывал Марине... Справа и чуть спереди — проблесковый маячок ревнивой Машки Кондратенко.

— Понимаешь, это ведь — точно мое. Другое может быть у всякого мужика, а это — только у меня! Ради этого и стоит быть поэтом... вот главное отличие, а не строчка в трудовой книжке!

Альбина присматривалась к его пышущему взгляду. Эти вот проблески, пошедшее дыхание — не долгожданное ли Вещество Веры? Хотя сейчас его веди на сеанс к Кумихину. Ну это был бы успех! Не только отшить Луизку, не дать напиться, но еще и «Веру» вернуть!! Сумеров бы тогда... мне... просто...

— Ну что ж. Быть Музой — к этому я отношусь сверхсерьезно. — И Альбина протянула руку и, коснувшись клавиш, погнала курсор по лабиринтам своих файлов. — Ага, вот эта папка. Ой, там даже пять штук. Ну, сегодня ты мой должник... Экран-то не свети по сторонам...

58

Немного погрустневшей, кажется, вышла к аудитории корпоративного концерта и Лариса Казанцева. Песни ее — маленькие кусочки жизни, и сколько ни срывай аплодисментов, каждый отрывной листок приближает к финалу.

— Итак, друзья, вторая часть нашего альбома, концерта...

А где-то далеко, за далью и за пылью
Остался край чудес, там человек решил,
Что он рожден затем, чтоб сказку сделать былью.
Так человек решил, да, видно, поспешил...
И сказку выбрал он с печальной развязкой,
И призрачное зло в реальность обратил.
Теперь бы эту быль — обратно сделать сказкой,
Но слишком много дел и слишком мало сил.

И когда эхо последнего аккорда песни, ткнувшись бильярдным шариком по всем четырем стенам столовой, уже тонуло в поднимающейся волне аплодисментов, вдруг поднялся Семионов.

— Уважаемая артистка Казанцева! А не могли бы вы спеть эту песню еще раз. Она меня очень-очень волнует.

Оказывается, он сидел сзади, в пятом ряду, на четыре места левее Трошина с Мариной. На него зашикали. Понеслось: «Здесь тебе не радио по заявкам!», «А это наш...» — как бы объяснения Ларисе Казанцевой. И друг другу по рядам: «Трезвый!», «Нет, сегодня трезвый!», «Трезвый!»

— Да, трезвый! — расслышал этот шелест Семионов.

— Я лучше потом подарю вам пластинку с этой песней, — нашлась Лариса Казанцева.

Семионова ткнули, заткнули, усадили, концерт продолжился.

Вчера, и сегодня, и завтра, и после. Почти незаметно,
Всегда неизменно. Почти не начавшись, кончаются сроки...
...Мы свиделись с вами в гостях у какого-то странного века,
И нынче меж нами обряды, обеты, законы, запреты.
Мы были друзьями, мы стали чужими — путного ветра...

Лодкин захопал первым, «редакционеры» завертели головами. Похоже, сегодня все песни Щербакова имели для них оттенок «Марсельезы»... «Бунт! Бунт на корабле! — неслось по натянутым нервам капитана. — Зачинщиков — за борт! Кто первым отказался есть котлеты по девять рублей, и салаты по минус семнадцать копеек?! Накрыть брезентом и расстрелять!»

И совсем не стало покоя Семионову. В каждом песенном перерыве он поднимался, извиняясь, протискивался, наклонялся, подсаживался, спрашивал. Вот Софья Генриховна покачала головой. Потом Лодкин. Теперь и Кумихин шикнул на него. И вежливо, лицом к залу, Семионов начал выбираться из третьего ряда. Футболка на этот раз на нем: «Мосметрострой. 60 лет».

Боже, ну откуда он их выкапывает!? То «Красноярскстройдортехника», то эта... Мосметрострою-то уже давно лет семьдесят или семьдесят пять!

Нервически обостренный слух дал Альбине различить и комментарий сзади. Трошин, нагнувшись, пояснял Марине: «Это Семионов. Они служили вместе. Он... как бы контуженный немного на службе. А твой отец, видишь, взял его в хозяйственники. Пожалел. Такой у тебя папа... Хозяйственники? Это которые следят за электриками, слесарями. Хранят у себя все ключи».

«Да, контуженный, — подумала Альбина. — И еще один тревожный, но пока непонятный, нерасшифрованный знак: звук, звяк ключей... Хранят у себя все ключи...»

К ней обернулся Кумихин. Может, просто желая вмешаться в их с Игнатом идиллию, спросил о первом попавшемся:

— Альбина, забыл спросить... ты же сегодня днем ездила в Миражкомбанк. Как прошло? Вручила экземпляры?

— Экземпляр. Один. Теперь их надо беречь. Сколько Рабочих смесей у нас осталось?

— Сорок одна пробирка.

— Мне чуть ли не на колени к нему пришлось сесть, но добилась. Взял на личное, срочное ознакомление. Клялся, что прямо сегодня вечером распечатает и прочитает наш журналчик. Значит, — глянула на часы, — если в этой жизни *мущинам* еще можно верить — сейчас он и читает. Может, уже и прочел.

Дождавшись, когда Кумихин отвернется, ее дернул Жданов:

— А где это ты? Декорации такие красивые...

Альбина наклонилась, глянула на экран и увидела себя на фоне старинного замка. Из одежды — только шляпка со страусиным пером, красные башмачки с золотыми пряжками, рядом двое в костюмах каких-то средневековых пажей с хорошо разыгранным обожанием смотрят на нее.

— А, это? — с полным равнодушием. — В павильоне каком-то. Фильм они заканчивали, название, как его... ну помнишь, мы еще репортаж о нем давали, в майском, кажется, номере. Я приезжала интервью записывать, режиссер какой-то там вроде знаменитый, с рядовыми корреспондентами не разговаривал...

Игнат молча повернул к ней экран ноутбука. Видно, пробежав уже несколько кругов по великолепной пятерке ее фотографий, он открыл текстовый редактор, выбрал самый гигантский шрифт (№ 72) и написал на весь экран: «**КОГДА?**»

Первой мыслью Альбины было — ответить ему не менее «изячно». Она протянула руку к клавиатуре и набрала было перед игнатовским словом букву «**Н**», но далее задумалась. Какая из приставок была бы лучше: «**НЕ**» или «**НИ**»? Похоже, серьезность ее задания, ее положения и (возможно) поступившего сейчас предложения требовали устного, развернутого, хотя и шепотом, ответа.

— Игнат, как официально сегодня приглашенная тобой на роль Музы должна заявить следующее. Общеизвестно, что именно сдержанная сексуальность у мужчин обращается выбросом творческой энергии. Я, может, и не боюсь стать деревом, в которое ударит твоя молния. Но ты же так восхищался моим расчетливым умом, холодной ответственностью! Я буду беречь твое электричество. Ну-ка...

Альбина забрала свой ноутбук, тронула клавишу.

Пятью строчками ниже гигантского «**КОГДА?**» шел текст, набранный обычным шрифтом, видно, Игнат делал пометки, выплескивал впечатления в копилку будущих эссе.

Евангелие от Мента... но тридцать серебряников были помечены специальным химическим раствором, и когда взятый в оперативную разработку гражданин Иуда

Искарriot взял их, он был изобличен в присутствии понятых. Однако по недосмотру охраны подследственный повесился в следственном изоляторе.

Показания четверых свидетелей: Марка, Матфея, Луки, Иоанна — совпадают...

Генерал Сумеров.

— Вот видишь! Это же небось от ревности к Вадиму Сергеевичу у тебя сложилось, когда я тебе ответила: «...нет, пока нет». Ну и прекрасно, пригодится для твоих эссе, не забудь скачать себе. Я тебя такими импульсами обеспечу. Пиши свои тексты так, чтобы люди восхищались не меньше меня. И обязательно, чтобы... *верили* им... Идет?.. Ну ладно, давай слушать Казанцеву.

Дай Бог вам счастья или чуда — за скитания,
Но вы Туда, а мы — Оттуда. До свидания...
...Грехи как камни из реки... сосет под ложечкой.
Не отпускай мне все грехи, оставь немножечко...

— Ой, Алинка, аж больно! Ну, у тебя и пальчики. Ты о чем сейчас думала?

— О многоженстве.

«Веселенький вечер! Еще и с ней разбираться!»

— И что же ты думала о многоженстве?

— А то, что если бы наш папа... женился на твоей маме, родил тебя, а потом женился бы и на моей, но с вами не разводился бы. Представляешь, мы жили бы вместе! А то ведь у меня целых... шестнадцать почти с половиною лет не было сестры!!

Слезы так мгновенно, внезапно ударили по глазам Альбины, словно это со стороны кто-то брызнул из детского водяного пистолетика. Она крепко-крепко сжала руку сестры, свободной полезла за платком.

— Лин, посмотри. Как у меня... тушь?

— Ну-ка. Дай сюда, — и самым уголком она протерла под левым. — А ты чего это?

— Да так. Песни классные же? Нравится?

— Очень, Альба...

Альбина еще раз оглянулась — и опять Трошин что-то болтал Марине Сумеровой.

И чего это он тут с дочкой *ее* Вадима любезничает?! Вот как возьму сейчас — и прикажу, чтобы он прямо в эту минуту сбегал и выдал бы мне м-м... четыреста тысяч рублей! Вадим Сергеевич велел! Любые суммы! Это у *меня* сейчас самое важное дело! И беги тогда к своим сейфам! Гречи ключами!..

Да, к сейфам! Да, ключами! — и опять звук, знак тревожного напоминания о чем-то, звяк связки ключей? Ах да! «Семионов! Алкаш-хозяйственник! Отец пожалел!» И вдруг связав концы струн, она наконец сообразила. Чувствительно шлепнула по плечу Кумихина.

— Эдик! А чего к тебе Семионов прилезал?

— Спирту просил из лаборатории. Его все уже послали, даже Софья Генриховна водки не выделила...

— Так... И ты опять мне не сказал.

— Да у меня и не осталось почти спирта. На той неделе собирался заказывать... Хотя теперь... «Веры» нет — что растворять? Из чего Рабочую смесь...

— Значит, опять не дал и опять не сообщил. Эх, Эдик-Эдик!.. — Всплывшая аналогия с недавней к нему просьбой Румянцева добавила еще пару тревожных нот к пригрезившемуся звяку ключей на связке алкаша-хозяйственника... Боже! Она оглянулась, просканировала зал. Семионова не было. Не было ключника-хозяй-

ственника, и параллельно со сгущающейся, конденсирующейся ртутной каплей тяжелого предчувствия она быстрым шагом покинула зал, а в коридоре перешла и на бег... Добежав, дернула дверь лаборатории. Заперто. Да лучше бы он сюда залез! Альбина метнулась к лестнице, проскакала по двум пролетам и через десять секунд была у двери в подвальный коридор, тот самый, где месяц тому назад они с Мариной Сумеровой тащились в ацетоновых парах склеившимися сиамскими близнецами... Она распахнула створку и в тусклом свете дежурного освещения увидела, прочитала первую строчку своего приговора. Дверь в их «святая святых», хранилище их «Вещества Веры», была открыта. Она и с тридцати пяти метров поняла, что это дверь именно с табличкой «Комната № 17», куда ж еще!.. И Альбина, секунды назад буквально летевшая по коридору первого этажа, лестничным пролетам, оставшиеся подвальные метры прошла на ватных ногах, как до помоста с гильотиной...

Она. Ведь именно она будет ответственна за этот невиданный крах. Завтра утром придет Вадим... Голова закружилась, и кровь подбежала к щекам, собралась вокруг глазных впадин едва ли не сильнее, чем в тот вечер, когда ее до нитки облили ацетоном... Она, оставленная здесь «за главную», еще три минуты назад счастливо купавшаяся в бурлящем море ответственности, переживавшая все удаchi дня, она завершает свое царствование полным крахом, как в древнегреческой трагедии...

Все точно. В маленькой комнатке между раскрытым сейфом и столом — Семионов. На столе брошенная связка ключей, валяющиеся пустые пробирки с номерами. Ближние к Альбине: «Рабочая смесь №...», «...№ 6», «№...»

— А! Альбина Викторовна! — Семионов браво отсалютовал ей, подняв стакан. Правый его локоть по-гусарски, по-военному высоко поднят, отставлен. — Ваше здоровье!

Она было потянулась к нему ватной рукой, беззвучно, как рыба, открыла рот... Из сорока одной пробирки «Рабочих смесей» набралось примерно на три четверти семионовского стакана, и вторым присестом, мощным глотком за ее здоровье, он допил все «Вещество Веры», но видела это оседавшая по рельсе дверного косяка Альбина Терлецкая уже в странном, искривленном, сильно увеличенном изображении, как сквозь линзу слезы.

Николай ГОДИНА

* * *

Выеживаясь, как небритый кактус,
От холода и злости — в тон гитаре
Бренчу на тех, с которыми я, каюсь,
Сидел когда-то на одном гектаре.

Грехами средней тяжести нагружен,
Хочу взнестись, но не по тяге сила.
У Господа сейчас, наверно, ужин
При звездах — у господ всегда красиво.

Цыганским солнцем опалило древо,
Прижатое ко мне спиной коряво,
Где речка убегала долго влево,
Пока не оказалась скоро справа.

* * *

Озерняются за озером овсы.
Как от пули, уклоняюсь от осы.
Озорной в куге утиный переклик.
Глина белая. По-нашему — белик.

Накопал ведро в углу саманных ям.
Мать побелит хату, охрою взбодря,
А потом пройдет с литовкой по репьям,
Чтоб не парили несущки втихаря.

Своенравец пес раздружится с котом,
Петуха шугнет неправедно потом.
Мать вздохнет над мальвой, постоит в траве
И меня погладит вдруг по голове.

Николай Иванович Година родился в 1935 году на Полтавщине. Горняк по образованию. Четыре года служил на кораблях Балтийского флота. Первое стихотворение опубликовал в газете «Кронштадтская правда», посещая литобъединение. Автор около тридцати книг стихов и прозы. Заслуженный работник культуры РФ. Почетный гражданин города Миасса. Лауреат литературных премий им. Мамина-Сибиряка, Бажова и др. Внесен в энциклопедию «Лучшие люди России». Участник Международного конгресса поэтов в Санкт-Петербурге. Живет в Челябинске.

* * *

Потому как понабрался всякого
Мусора на вихревом веку,
Уважаю дедушку Аксакова,
Кланяясь родному языку.

С острым приступом недоумения
В книгу современную гляжу.
Посылаю венчанного гения
По ругательному падежу.

Обменяюсь чувствами с березою,
На которой весело, навзрыд
Пушкинским стихом, лесковской прозою
Голосная птица говорит.

* * *

Все-то у русских не как у людей.
Все перед всеми во всем виноваты:
То за рассаду бесплодных идей,
То за цветы ядовитой навады.

Дождь поновил за оградой траву.
Выгадал время, пока я газету
От возмущенья по буковку рву,
Грязную в принципе сплетницу эту.

Только при чем здесь, не знаю, она —
Злая бумага в свинцовом изъяне,
Если Россия теперь лишь страна,
Где не по чину живут россияне.

* * *

Какой национальности — не знаю,
Блажная птица скляночно звенит.
Внизу плоится рослая лесная
Трава, чей цвет присвоил хризолит.

Почти за ботаническим пределом
Орленой медью плавится сосна.
И пруд, играя мускулистым телом,
Вылизывает отмель доясна.

Сюда бы хатку с верною лелекой,
Избушку ли с соседством соловья,
И — пусть скрипит арбой или телегой
На кочках жизнь уклонная моя.

* * *

Задабриваю печень коньяком.
Щекочат грубо залестные речи.
Я был, без шуток, классным мужиком,
Но был давно, от этих мест далече.

Теперь вот смачно варешку жую,
На мемуарном жанре солодею.
Вот родина, а я не узнаю,
Как в зеркале себя, ее идею.

Изнетил век охотку и кураж.
Не радуют демисезонные письма.
Еще топчусь потешней, чем мураш,
Заслуженный строитель коммунизма.

* * *

Женщина, красивая как лошадь,
Цокая железом каблуков,
По диагонали взрезав площадь,
Привела в смятенье мужиков.

Да, не все пропито и проето,
Иногда искрит еще внутри:
Помнят слабо гены и «про это»,
Но ведь помнят, черт их побери!

Недоразумение природы,
Вот стою и думаю — о чем?
А вокруг меня шумят народы
И толкают вежливо плечом.

Юрий КОНЬКОВ

ПАРКОВЫЙ САЛЮТ

в какой-то день сырого января
взойдешь в белесом небе, как заря,
не принятый, не званный до сих пор, и,
как шар стеклянный, лопнет голова,
и медленно раскатятся слова
под равнодушным взглядом Пассифлоры.

жизнь коротка, как парковый салют.
пожалуйся слепому звонарю
на скудость слов и матовость созвучий,
свали на малоемкий патронташ
все молоко. оскомину плода
спиши на несчастливый случай.

артерии уже сковало льдом.
зачем так долго ты не строил дом,
зачем ты к роднику приладил камень.
куда-то ведь река уже текла,
когда трещали тонкие тела
под грузовыми облаками.

теперь всегда до времени темно
и на безрыбье даже домино
отрадой и спасением не станет.
лес погубив, не заготовил дров,
чужую картотеку катастроф
с бессильной завистью листая.

ты лег в сугроб, покорно смотришь вверх,
но черных рук не греет фейерверк,
такие тут печальные законы.
под шаркающий шепот звонаря
умрет в тебе последняя заря,
и будет мрак, холодный и знакомый.

Юрий Александрович Коньков родился в 1976 году в Москве. Один из организаторов ЛитО «Рукомос» (2002). С 2009-го по 2012-й главный редактор сайта «ТЕРМИТник поэзии». С 2012 года главный редактор литературного журнала «Ното Legens». Участник поэтических фестивалей «Киевские лавры» (Киев, 2010), «Фестиваль поэзии на Байкале» (Иркутск, 2010), «Петербургские мосты» (Санкт-Петербург, 2012), литературного фестиваля им. М. А. Волошина (Коктебель, 2012). Публиковался в журналах «Нева», «Октябрь», «Современная поэзия», «Дети Ра», альманахах и коллективных сборниках. Автор книг стихов «Ржаворонок» (М.: Библиотека журнала «Современная поэзия», 2009) и «Лепесток» (М.: Текстура-пресс, 2011). Живет в Москве.

ЧИСТИЛИЩЕ

заснуть сдаешься, зажигаешь свет,
проходишь в кухню, наливаешь, куришь.
как лунный свет теряется в листве,
теряешься меж комнатой и кухней.
глядишь в окно, но никого в окне.
читать берешься, но читать не можешь.
ее тут нет. и никого тут нет.
и смерти нет, хотя на смерть похоже.

звенит в ушах ночная тишина.
квадрат окна, как черный лист альбома.
здесь жизнь была, когда была она,
но так давно, что года не упомнить.
берет в тиски привычная тоска,
двор не метен, и дом давно не тоplen.
луна не спит. ей неохота спать.
и ты не спишь. а толку-то, а толку.

ВЕЧЕР

Так сладко в голове, как будто кто-то дышит
Иль опухоль растет, невидная пока.
Лежанка, и свеча, и слабый запах книжный,
И вкрадчивый тик-так настенного сверчка.

Тихонько подойдя к порогу мироздания ,
Обнимет небосвод стареющий простор
И голосом глухим, для неба очень странным,
Пойдет ему читать на языке простом.

И весь огромный край вечерний станет тише
Соседского кота и скажет про себя:
«Так сладко в голове, как будто кто-то дышит...»
А после он уснет без горя, без следа.

СОЧЕЛЬНИК

Который день из стен сочится свет —
Совсем не страшно, только непонятно.
И снимок утра весь в каких-то пятнах,
Которым тоже объяснения нет.

Мои безумцы, давние, родные,
Потерянные в омуте годов,
Я слушать вас и дальше был готов.
Такая тишина, что небо стынет

И трескается, обретая жизнь,
Похожее на стариковы пясти.
Такого, что ли, спрашивал ты счастья
У Дед-Мороза, искренне скажи?

Ответом на небесные канаты
Весь мир размечен в длинные канавы,
Которыми стремимся, как вода.
И всякий сам, и каждый кто куда.

ХОЛОДА

Снова, снова холода,
А настенный календарь
Отстает уже на месяц.
Голова моя тверда,
Только некуда повесить.

Глянь, шаман, на потрох сучий,
Как бороться за живучесть,
Если помер капитан?
Не научит, не научит,
И вода, одна вода.

Тучи разное несут.
Ты там где-то варишь суп,
Нежная и молодая.
Я овец своих пасу
На заснеженном Алтае.

Будут выгоды и люди,
Будет «любишь» и «не любишь»,
Ласки, песни, города...
Не забудешь, не забудешь,
Не забудешь никогда.

ПЕРВЫЙ ЛЕД

С утра сосед в предчувствии грозы
Умасливает старые засовы.
Мой бедный друг, ужель пора нам снова
Переходить на ласточкин язык?

Какая осень в високосный год —
Восходит рано и пребудет долго.
Зашить бы рот — да не найти иголки,
А значит, нам не избежать невзгод.

И ходят, и бормочут, и поют
Черновики несотворенной расы,
Покуда молодые фортепьяны
Из ножен справедливость достают.

Истомы стон и первый скрипкий лед
Звучат неразличимо и ужасно.
Вот ангелы над городом кружатся,
Но город им посадку не дает.

Вячеслав Рыбаков

УТОПИИ и УПРАВЛЕНЦЫ

Немного об утопиях

Чем дальше, тем труднее становится не замечать, что наше движение в будущее, вразрез с тем, в чем мы были убеждены совсем недавно, все менее напоминает продуманное, осторожное и вдохновенное восхождение дружной связки альпинистов к сияющим вершинам. Скорее мир похож на громадную, под завязку набитую ширпотребом фуру, что, сбившись с трассы, потеряв управление, стремглав набирает скорость, без руля и без ветрил скатываясь то ли в овраг, то ли... От малейшего толчка на каждом ухабе туго упакованное барахло люто грохочет, сотрясаясь и крошась, уклон все растет, а сколько осталось до дна и что, собственно, на дне поджидает — никто не знает и даже не хочет знать. Ведь любые размышления на сей счет грозят замедлить процесс товарооборота и тем затормозить рост ВВП внутри кренящегося то влево, то вправо, скачущего, лязгающего и вот-вот грозящего развалиться контейнера.

Более того. Любой намек на необходимость хоть как-то попробовать перейти к осмысленному продвижению встречается в штыки, потому что осмысленное продвижение — это прежде всего координация усилий. Та, в свою очередь, подразумевает признание некоей общей цели, достичь которой в результате этих усилий хотелось бы. Ну, а тут уж всегда наготове штампы: общая цель — это очередное «светлое будущее», а мы этим враньем сыты по горло. Слов «позитивный проект», «мир, в котором хотелось бы жить» или тем более «утопия» в интеллигентной аудитории произносить вообще нельзя, потому что любая дальнейшая дискуссия сразу блокируется рефлекторным запуском постоянно стоящих на боевом дежурстве противоракет «пэтриот». Это же опять подавление инакомыслящих! Это опять тоталитаризм! Это опять реки крови! Красно-коричневым снова неймется! В СССР утопия у власти уже была, дорвались кровавые упыри до руля — хватит!

Так попугай из «Острова сокровищ» чуть что хлопал крыльями и кричал: «Пиастры!»

В попугаев нас превратило агрессивное, предельно идеологизированное вдальбивание исторической безграмотности, начатое еще рупорами перестройки и вполне себе продолжающееся по сей день. Четверть века назад я и сам ахал, читая «Огонек» и млея от вдруг открывавшихся новых, наперебой сляпанных истин, камня на камне не оставлявших от прежней, веками выношенной и выстраданной якобы лжи. «Бедняга Маркс! Твое наследство / Попало в русскую купель, / Где цель оправдывает средства, / А средства обо...рали цель...» Знание подобных максимум и признание их истинными, неоспоримыми, как «дважды два четыре», делало

Вячеслав Михайлович Рыбаков родился в 1954 году в Ленинграде. Окончил восточный факультет ЛГУ, работает в Институте восточных рукописей, доктор исторических наук. Прозаик, публицист, киносценарист. Лауреат нескольких литературных премий и Государственной премии РСФСР по кинематографии. Живет в Санкт-Петербурге.

человека рукопожатым, служило пропуском в интеллигентную среду. Кто с недоумением кривился, услышав такое, сразу становился чужаком.

Хотя ведь вовсе не большевики, а Макиавелли за несколько веков до них писал: «Когда на весы положено спасение родины, его не перевесят никакие соображения справедливости или несправедливости, милосердия или жестокости, похвального или позорного...»; «О совести мы не можем вспоминать, ведь кому, как нам, угрожают голод и заточение, тот не может и не должен бояться ада». Так что с претензиями насчет цели и средств — это не к Сталину. Просто у хлипких итальянских герцогов, для которых Макиавелли творил, не получилось, а у России, Макиавелли не читавшей, многократно до последнего времени получалось. Чего ей, натурально, ни один европейски образованный интеллигент простить не может в принципе.

Что же касается целей...

За две с половиной тысячи лет европейская цивилизация породила мощный корпус утопических произведений. Но для демонстрации основных тенденций и контрастов достаточным будет опереться лишь на три фундаментальных труда: «Государство» Платона (IV в. до н. э.), «Утопию» Томаса Мора (1516 г.) и «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы (1602 г.).

Зададимся на первый взгляд диковатым, но донельзя актуальным вопросом. Почему в Утопии завскладами не воруют, а в Городе Солнца медики, ответственные за подбор сексуальных партнеров, не утопают в подарках и подношениях?

В отличие от азиатских империй, средиземноморская цивилизация со времен самой архаичной античности и до относительно недавней эпохи становления национальных государств практически не сталкивалась с проблемами развитого, разветвленного, живущего своей жизнью управленческого аппарата. Все возникавшие за несколько тысячелетий властные, что называется, вертикали в основном сводились либо к немногочисленным выборным должностям полисов с их совершенно незначительным низовым техническим персоналом, либо к горсткам вольноотпущенников при римских императорах, либо к относительной вольнице феодальных иерархий, обслуживаемых не более чем челядью. Все эти вертикали строились либо на личной ответственности перед избравшими управленца членами его общины, либо на всякого рода персональных клятвах верности, личной преданности вассала сюзерену, личной зависимости мелких чиновников от крупного, поставленного у власти верховным владыкой тоже на чисто персональной основе.

Может быть, именно поэтому европейские авторы идеальных моделей общественного и государственного устройства столь единодушно и столь безбоязненно вверяли целым сонмищам управленцев дотошную, мелочную, каждодневную регламентацию общественной и частной жизни.

Неверно думать, разумеется, будто роль утопий исчерпывается тем, что некие не от мира сего мечтатели¹ выдумывают некие модели, записывают их в качестве текстов, а потом люди, читая эти тексты, либо заражаются чужими мечтаниями и начинают претворять их в жизнь, либо, напротив, отворачиваются от них со смешком или гадливостью, и утопия остается втуне, единственно в качестве материала для размышлений будущих культурологов.

На самом деле в утопиях культура осознает то, о чем она мечтает.

Однако сама мечта начинает ощущаться и вызревать куда раньше своей текстуальной фиксации. И, как всякая мечта, она представляется естественной и заманчивой для того, кто мечтает, и при том вполне может выглядеть нелепо, а то и чудовищно в глазах тех, кто мечтает о чем-то ином или не мечтает вовсе. Утопия —

предельное выражение, квинтэссенция тех или иных тенденций данной, и только данной культуры. И если мечта укореняется достаточно прочно, пропитывает культуру достаточно долго, раньше или позже она реализуется, хотя, как правило, отнюдь не буквально.

Например, европейская цивилизация едва ли не с рождения больна идеей изъятия детей из семей и передачи их специалистам, профессионалам, которые, как не раз и не два постулировалось, сумеют воспитать куда лучших граждан, чем это делают малообразованные, невнимательные к нуждам подрастающего поколения, обуреваемые собственными низменными заботами и страстями родители. Эта идея варьировалась в том или ином виде на протяжении тысячелетий, от древних греков до советской фантастики прошлого века.

Именно эта давняя навязчивая идея прорвалась в современную европейскую реальность в виде ювенальной юстиции.

Поправка на явь сказалась в том, что отбирать у родителей ВСЕХ без исключения детей оказалось бы слишком бессмысленным и, главное, слишком накладным. Современное государство не любит неприбыльных телодвижений. Но тем не менее оно зарезервировало за собой право по первому сигналу, при первой же сколь угодно малозначительной или даже просто иллюзорной, надуманной, одной лишь идеологией (а то и политикой) обусловленной возможности вторгаться в жизнь семьи и само судить, кому, когда и на каких условиях передать конфискованного у родителей ребенка. Не тверди многие поколения мечтателей и реформаторов о том, что государству лучше знать, как воспитывать детей, идея эта никогда не нашла бы политического воплощения.

Или другой пример.

При всем уважении к социалистическим грезам, при всем понимании неизбежности и оправданности их возникновения трудно вообразить более бесчеловечные и деспотические общественные системы, чем описаны, например, у Мора или Кампанеллы. Ни в какое сравнение с ними не идут поздние антиутопии Замятина, Оруэлла или Хаксли. Миров страшнее, чем те, что предлагались в качестве идеальных в начале Нового времени, человеческая фантазия, пожалуй, не создала.

И на фоне их вопиющей антигуманности одним из существеннейших свойств этих миров является присвоение права безапелляционно судить, какое из окружающих их соседних государств является неправильным, тираническим, — и по одной лишь этой причине военной силой «освободить» их, сразу после освобождения принимаясь перекраивать по своему образу и подобию.

Мор:

«Они не затевают войну зря, а разве только когда или сами защищают свои пределы, или же прогоняют врагов, или когда они жалеют какой-нибудь народ, угнетенный тиранией, — тогда своими силами они освобождают их от ига тирана и от рабства (это они делают из-за человечности). ...Но действуют гораздо более жестоко, когда купцы дружественных народов под предлогом неблагоприятных законов или же пагубного искажения хороших законов, где бы то ни было, под видом справедливости подвергаются несправедливому обвинению»².

«...Привлеченные этими их добродетелями, соседние народы, которые свободны и живут по своей воле (ибо многих из них утопийцы уже давно освободили от тирании), просят себе у них должностных лиц».

«...Отказавшихся жить по их законам утопийцы прогоняют из тех владений, которые предназначают себе самим. На сопротивляющихся они идут войной. Ибо утопийцы считают наисправедливейшей причиной войны, когда какой-нибудь народ сам своей землей не пользуется, но владеет ей как бы попусту и напрасно, зап-

решая пользоваться и владеть ею другим, которые по предписанию природы должны здесь кормиться».

Кампанелла:

«На том же острове находятся еще четыре царства, сильно завидующих их благополучию... Тамашнее население стремится жить по обычаям Соляриев и предпочитает быть под их властью, чем под властью собственных царей...»

«...Победителями всегда выходят Солярии. Как только они подвергаются насилию... или призывают их (Соляриев. — В. Р.) на помощь другие города, находящиеся под гнетом тирании... начинается война против нарушителей естественного права и религии».

«Они охотно прощают вину и оскорбления своим врагам и, одержав над ними победу, оказывают им благодеяния. Если постановлено... казнить кого-нибудь из неприятелей, то это производится в самый день победы над врагами, после чего они непрестанно оказывают им благодеяния, говоря, что целью войны является не уничтожение, а совершенствование побежденных».

«Все имущество покоренных или добровольно сдавшихся городов немедленно переходит в общинное владение. Города получают гарнизон и должностных лиц из Соляриев и постепенно приучаются к обычаям Города Солнца...»

Не хочется опускаться до перечисления войн последних десятилетий, начатых ради освобождения кого-нибудь от некоей «тирании» наследниками той культуры, в лоне которой творили оба великих утописта. Но очевидно, что по этому параметру их идеальные образы оказались практически реализованы и реализация их продолжается; похоже даже, что год от году она нарастает. Манящий образ себя, светивший евро-атлантической цивилизации в течение многих веков, перешел на новую стадию осуществления. Не за горами, вероятно, и войны за обладание территориями, которыми с точки зрения нынешних утопийцев кто-то владеет «как бы попусту и напрасно».

А вот еще вопрос денег и частной собственности.

Платон:

«Прежде всего никто не должен обладать никакой частной собственностью...»

«...Ни у кого не будет ничего собственного, но все у всех общее... Никто не должен ничего приобретать...»

Мор:

«Любой глава хозяйства просит то, что надобно ему самому и его близким, притом без денег, вообще безо всякого вознаграждения уносит все, что только попросит».

«Оттого, что здесь нет скаредного распределения добра, нет ни одного бедного, ни одного нищего. И хотя ни у кого там ничего нет, все, однако же, богаты».

«Совсем уничтожив само употребление денег...»

Кампанелла:

«Дома, спальни, кровати и все прочее необходимое у них общее».

«Община делает всех одновременно и богатыми, и вместе с тем бедными: богатыми — потому что у них есть все, бедными — потому что у них нет никакой собственности...»

Реальное, объективно возникшее экономическое своеобразие европейской цивилизации исходно было в вопиющем противоречии с этой грезой. Возможно, оттого греза и повторялась от утопии к утопии столь настойчиво, что именно чрезвычайно раннее и чрезвычайно интенсивное развитие товарно-денежных отношений еще с эллинских времен демонстрировало европейской культуре все безобразные черты подобного уклада. Но именно в Элладе встав на товарно-денежный

путь — во многом просто благодаря ландшафту, мелко нашинковавшему подвластные всякой отдельной общине угодья, что с самого начала вынудило каждую из них строить экономику на торговле — европейская цивилизация уже не могла с него свернуть; наоборот, товарно-денежным водоворотом она втягивала в свой кильватер всех, кто впоследствии попадался ей на пути.

Последним исторически значимым всплеском обобществляющих мечтаний суждено было оказаться учению Маркса. Последней же исторически значимой попыткой «преодолеть человека», создать вместо себялюбивой корыстной обезьяны нечто новое, грандиозное и прекрасное, было ницшеанство — с известными последствиями. Вскоре после этого непреодолимый экономический тренд перемолол в Европе все утопии. Но мечта не умирала в течение многих веков и, будучи вместе со всей европейской культурой трансплантирована в Россию, где доминировали государственное регулирование и общинное сознание, именно она на новой, куда более благоприятной, нежели европейская, экономической и культурной почве породила грандиозную и чудовищную попытку реализовать давнюю выдумку на деле.

Роль управленцев

Если присмотреться более пристально ко внутреннему устройству миров Платона, Мора и Кампанеллы, то поражают прежде всего сугубая зарегулированность их моделей и, соответственно, постоянные ссылки на тех, кто это регулирование призван был осуществлять.

Платон то и дело поминает «стражей». У Томаса Мора это некие «сифогранты» и «траниборы». Кампанелла не мучил неологизмами ни себя, ни читателя, но едва ли не в каждой его фразе упоминаются «начальники и начальницы», «должностные лица», а то и просто «маститые старцы со старухами».

Для вящей пользы народа и государства все в утопиях происходит не хаотично, не самопроизвольно и не само собой, но под чутким руководством всеведущих и вездесущих силовиков и аппаратчиков.

У Платона это прежде всего — идеологический контроль. И хотя великий грек при описании тех или иных нововведений, направленных на организацию идеального порядка, частенько говорит своим собеседникам по диалогу просто «мы», понятно, что реальное осуществление предлагаемых действий возложить будет не на кого, кроме как на стражей — или на еще более высокое, уже над самими стражами главенствующее руководство.

«Мы уговорим воспитательниц и матерей рассказывать детям лишь признанные мифы...»

«...Поэтов надо заставить не отклоняться от этого в своем творчестве».

«Мы заставим поэтов утверждать, что... Пусть и не пытаются у нас внушить юношам убеждение, будто...»

Второе главное занятие стражей — сортировка человеческого материала.

«Даже в их детские годы, предлагая им занятия, надо наблюдать, в чем кто из них бывает особенно забывчив и поддается обману».

«...Мы подберем людей, здоровых телом и духом, и воспитаем их на возвышенных знаниях и усиленных упражнениях...»

«...Лучшие мужчины должны большей частью соединяться с лучшими женщинами, а худшие, напротив, с самыми худшими и... потомство лучших мужчин и женщин следует воспитывать, а потомство худших — нет, раз наше небольшое стадо должно быть самым отборным. Но что это так делается, никто не должен знать,

кроме самих правителей, чтобы не вносить ни малейшего разлада в отряд стражей. ...Надо будет установить законом какие-то празднества, на которых мы будем сводить вместе девушек и юношей, достигших брачного возраста... и заказать нашим поэтам песнопения, подходящие для заключаемых браков. ...А жеребьевку надо, я думаю, подстроить как-нибудь так, чтобы при каждом заключении брака человек из числа негодных винил бы во всем судьбу, а не правителей».

«Все рождающееся потомство сразу же поступает в распоряжение особо для этого поставленных должностных лиц...»

«Нельзя также позволить нашим воспитанникам быть взяточниками и корыстолюбцами. ...Нельзя, чтобы они слушали, как воспевается, что “всех улаживают дары — и богов и царей величайших”».

«...Всех, кому в городе больше десяти лет, они отошлют в деревню, а остальных детей, оградив их от воздействия современных нравов, свойственных родителям, воспитают на свой лад, в тех законах, которые мы разобрали раньше. Таким-то вот образом всего легче и скорее установится тот государственный строй, о котором мы говорили, государство расцветет, а народ, у которого оно возникнет, для себя извлечет великую пользу».

Понятно, что такие масштабные, изошренные и постоянные усилия невозможно осуществить без развитой и чрезвычайно добросовестной бюрократии. Причем бюрократия эта сильнейшим образом расслоена, и низшие ее уровни сознательно дезинформируются верхними ее уровнями как бы для пользы общего дела. У Оруэлла подобные уровни назывались внешней и внутренней партиями. Элита лжет непосредственным исполнителям, а те, в свою очередь, воспитывают народ на благих примерах. Каким образом при таком раскладе не позволить людям становиться взяточниками и корыстолюбцами — вопрос. Вряд ли, если им не спеть о том, что «всех улаживают дары», они при такой жизни сами раньше или позже об этом не догадаются.

А вот сколько важнейших вопросов организационного и экономического характера вверено управленческому аппарату в Утопии Мора.

«Главное и почти что единственное дело сифогрантов — заботиться и следить, чтобы никто не сидел в праздности. Но чтобы каждый усидчиво занимался своим ремеслом...»

«...Туда каждое хозяйство свозит определенные свои изделия, и каждый их вид помещают в отдельные склады».

«Экономы из каждого дворца в определенный час приходят на рынок и получают провизию сообразно с числом своих людей. Первая забота, однако, о больных, которых лечат в общественных приютах».

«...Потому что все они занимаются полезными ремеслами и для этого достаточно весьма малой затраты труда, выходит, что у них всего вполне вдоволь; иногда огромное количество людей они отсылают исправлять общественные дороги...»

«Сенат... как только установит, что и в каком месте имеется в избытке и, напротив, чего где уродилось меньше, тут же восполняет недостаток одного обилием другого».

«И если у кого-нибудь появится желание повидать друзей, живущих в другом городе... разрешение легко получить у своих сифогрантов и траниборов, разве только помешает этому какая-нибудь причина. ...Отправляется... с письмом от правителя, который удостоверяет, что дано разрешение на отъезд и предписан день возвращения. В дорогу дают повозку и общественного раба... Несмотря на то, что утопийцы ничего не берут с собой в дорогу, у них, однако, всего вдоволь, ибо они повсюду дома. Если в каком-нибудь месте они задержатся дольше чем на один день,

то каждый занят там своим делом, и ремесленники, занимающиеся тем же трудом, обходятся с ними наичеловечнейшим образом. Если кто уйдет за границу по собственной воле, без разрешения правителя, то пойманного подвергают великому позору: его возвращают как беглого и жестоко карают».

В сущности, вся экономика блаженного острова управляется и регулируется должностными лицами. Перемещения по острову также подконтрольны властям, то есть облеченным властью людям. А одна лишь фраза о том, что разрешение на перемещение получить легко, если только не мешает какая-либо причина, сразу разворачивает перед мысленным взором современного читателя обширнейший набор радужных перспектив, встающих перед теми, кто по долгу службы дает такие разрешения и властен судить, есть причина отказать в поездке или нет ее.

Или такой вопрос: как, кто и на каких правовых основаниях отлавливает в чужих странах экс-утопийцев, самовольно ушедших за границу? Как их переправляют через кордон обратно?

В Городе же Солнца по воле Кампанеллы творится вот что.

«...Через каждые шесть месяцев начальники назначают, кому в каком круге спать и кому в первой спальне, кому во второй...»

«...Распределением одежды сообразно с условиями необходимости ведают врачи и хранители одежды...»

«Часто также моют они свое тело по указанию врача и начальника».

«Ведению... подлежит, во-первых, деторождение и наблюдение за тем, чтобы сочетание мужчин и женщин давало наилучшее потомство».

«Пожилые начальники и начальницы заботятся об удовлетворении половых потребностей более похотливых и легко возбуждающихся... Однако же разрешение исходит от главного начальника деторождения — опытного врача...»

«Вечером приходят мальчики и стелют им ложа, а затем их ведут спать согласно приказанию начальника и начальницы. ...Спят в отдельных комнатах до самого часа совоплощения. Тогда встает начальница и отворяет снаружи обе двери».

«...Производство потомства имеет в виду интересы государства, а интересы частных лиц — лишь постольку, поскольку они являются частями государства; и так как частные лица по большей части и дурно производят потомство, и дурно его воспитывают, на гибель государства, то священная обязанность наблюдения за этим, как за первой основой государственного благосостояния, вверяется заботам должностных лиц».

«...Никакой телесный недостаток не принуждает их к праздности, за исключением преклонного возраста... хромы несут сторожевую службу, так как обладают зрением; слепые чешут руками шерсть, щиплют пух для тюфяков и подушек; те, кто лишен и глаз и рук, служат государству своим слухом, голосом и т. д. Наконец, ежели кто-нибудь владеет всего одним каким-либо членом, то он работает с помощью его в деревне, получает хорошее содержание и служит соглядатаем, донося государству обо всем, что услышит».

«...Учат обращаться с оружием мальчиков, достигших двенадцатилетнего возраста и уже до этого приучившихся к борьбе, бегу, метанию камней и т. д. под руководством низших наставников».

«Женщины также обучаются всем этим приемам под руководством собственных начальников и начальниц».

«Все имущество покоренных или добровольно сдавшихся городов немедленно переходит в общинное владение».

Здесь речь идет уже не только о полном огосударствлении экономики (существующей в Городе Солнца, как явствует из последней цитаты, в немалой степени

за счет военного грабежа), но и о централизованно проводимой в жизнь евгенической программе, и об организации системы поголовной взаимной слежки и доносительства, и о полной милитаризации общественной жизни.

Представления о мотивациях

При первой же попытке хоть как-то, пусть лишь ради мысленного эксперимента, представить все предлагаемые гениальными утопистами области государственного контроля воочию, голова идет кругом от тех широчайших и невозбранных возможностей для злоупотреблений, которые открывает идеальная упорядоченность тем, кто в ответе за ее претворение в жизнь.

Вряд ли творцы утопий совсем упускали из виду угрозы такого рода. Конечно, они перекраивали реальность нещадно и не очень-то задумываясь о реальных средствах и способах такой перекройки — но, безусловно, ощущали, что для жизни в перекроенной реальности нужны будут и перекроенные люди, иначе новая реальность не заработает. Недаром у Платона встречаются даже такие формулировки, как:

«Мы уже достаточно поговорили об этом государстве и о соответствующем ему человеке? Ведь ясно, каким он, по-нашему, должен быть».

Однако время от времени вопрос о том, чем мотивирован соответствующий новому миру человек и тем более чем мотивирован новый управленец, все же всплывал. Ибо совсем обойти его вниманием было невозможно. Слишком уж зависели рядовые новые люди от новых управленцев. Слишком велики и разнообразны были управленческие прерогативы и области контроля.

Платон:

«Нашим делом было бы отобрать тех, кто по своим природным свойствам годен для охраны государства».

«Даже в их детские годы, предлагая им занятия, надо наблюдать, в чем кто из них бывает особенно забывчив и поддается обману. Памятливых и не поддающихся обману надо отбирать, а кто не таков, тех отвергнуть. ...Надо также возлагать на них труды, тяготы и состязания и там подмечать то же самое».

То есть, во-первых, нужна селекция, начинающаяся с наблюдения за детьми еще в самом нежном возрасте. Другими словами, немалое упование возлагается на спонтанно возникающую порядочность, добросовестность, чинопочитание и стремление к государственному служению. Есть, оказывается, люди, «по своим природным свойствам» годные для охраны государства. Просто надо их вовремя выявить.

Селекция не ограничивается детским возрастом.

«...Среди людей любого возраста надо нам подмечать, кто способен быть на страже таких воззрений, так что ни оболщения, ни насилие не заставят его забыть или отбросить мнение, что надлежит делать наилучшее для государства».

«...Из стражей надо выбрать таких людей, которые, по нашим наблюдениям, целью всей своей жизни поставили самое ревностное служение государственной пользе и ни в коем случае не согласились бы действовать вопреки ей».

Но надежда на одни лишь природные склонности не дает ощущения надежности. Надлежащим склонностям надо помочь проявиться надлежащим образом и в надлежащем количестве людей. В первую очередь такая помощь заключается в создании искусственно сконструированной культурной среды.

«Мы уговорим воспитательниц и матерей рассказывать детям лишь признанные мифы, чтобы с их помощью формировать души детей... А большинство мифов, которые они теперь рассказывают, надо отбросить».

«Вовсе не следует излагать и расписывать битвы гигантов и разные другие многочисленные раздоры богов и героев с их родственниками...»

«...Младшим полагается молчать при старших, уступать им место, вставать в их присутствии, почитать родителей...»

Однако любая фильтрация прежде бытовавших воззрений, как их ни цензурируй, как ни дрессируй поэтов, явно недостаточна для грандиозных задач создания нового общества. Необходима совершенно новая коллективистская идеология.

«Я попытаюсь внушить сперва самим правителям и воинам, а затем и остальным гражданам, что все то, в чем мы их воспитали и вырастили, представилось им во сне как пережитое, а на самом-то деле они тогда находились под землей и вылепливались и взращивались в ее недрах — как сами они, так и их оружие и различное изготовляемое для них снаряжение. Когда же они были совсем закончены, земля, будучи их матерью, произвела их на свет. Поэтому они должны и поныне заботиться о стране, в которой живут, как о матери и кормилице и защищать ее, если кто на нее нападет, а к другим гражданам относиться как к братьям, также порожденным землей».

Социальная мобильность, предусмотренная для идеального государства, если и существует в нем, то только на основе еще более фантастических допущений.

«Хотя все члены государства братья (так скажем мы им, продолжая этот миф), но бог, вылепивший вас, в тех из вас, кто способен править, примешал при рождении золота, и поэтому они наиболее ценны, в помощников их — серебра, железа же и меди — в земледельцев и разных ремесленников. Вы все родственны, по большей частью рождаете себе подобных, хотя все же бывает, что от золота рождается серебряное потомство, а от серебра — золотое; то же и в остальных случаях. От правителей бог требует прежде всего и преимущественно, чтобы именно здесь они оказались доблестными стражами и ничто так усиленно не оберегали, как свое потомство, наблюдая, что за примесь имеется в душе их детей, и если ребенок рождается с примесью меди или железа, они никоим образом не должны иметь к нему жалости, но поступать так, как того заслуживают его природные задатки, то есть включать его в число ремесленников или земледельцев; если же рождается кто-нибудь с примесью золота или серебра, это надо ценить и с почетом переводить его в стражи или в помощники. Имеется, мол, предсказание, что государство разрушится, когда его будет охранять железный страж или медный».

Следовательно, никакого сколько-либо объективного и формального критерия, позволявшего бы на единой основе, по единым, понятным населению показателям регистрировать принадлежность кого-либо то к золотому, то к медному социальному слою, нет. Отнесение ребенка ли, взрослого ли к определенному металлу оставляется на произвол правящих идеальным государством мудрецов. Сам человек никаких сознательных, осмысленных усилий по самопреображению предпринять не может в принципе; нет ориентира, нет критерия, согласно которому он мог бы знать заранее: такие-то успешные действия на благо общества дают ему возможность переквалифицироваться в серебряные, такие-то — в золотые; а такие-то неблагоприятные деяния, наоборот, опустят его из золотых в серебряные или даже в медные.

Именно и только людям, воспитанным в русле означенных воззрений и затем отфильтрованным неким высшим начальством, вверяются управленческие функции. А чтобы неколебимое стремление стражей приносить благо обществу и впрямь никогда не поколебалась бы, им нещадно обеспечивается полное бескорыстие.

«...В образцово устроенном государстве жены должны быть общими, дети —

тоже, да и все их воспитание будет общим; точно так же общими будут военные и мирные занятия... Ни у кого не будет ничего собственного, но все у всех общее. ...Никто не должен ничего приобретать...»

«...Они служат только за продовольствие, не получая сверх него никакого вознаграждения...»

«Прежде всего никто не должен обладать никакой частной собственностью, если в том нет крайней необходимости. ...Им... не дозволено в нашем государстве пользоваться золотом и серебром, даже прикасаться к ним, быть с ними под одной крышей, украшаться ими или пить из золотых и серебряных сосудов. Только так могли бы стражи остаться невредимыми и сохранить государство».

Кто бы объяснил, однако, что имеется в виду под «крайней необходимостью» иметь собственность, каковы критерии этой необходимости, какие инстанции полномочны их применять и в каких пределах частной собственностью согласно этим критериям наделять? Налицо еще одна широчайшая лазейка для произвола и того, что ныне называют коррупцией.

Кто бы объяснил, на худой конец, как реально обеспечивается вроде бы простенький с виду запрет «даже прикасаться» к золоту и серебру?

При всем том дальнейшие характеристики общественной жизни окончательно сводят к нулю все прежние, вполне, казалось бы, здравые и практичные апелляции к братству, к семейному старшинству и младшинству, равно как и к старательной охране всего комплекса этих связей и отношений силой эпического искусства.

«...Всякий будет называть своими сыновьями и дочерьми мальчиков и девочек, родившихся на десятый или седьмой месяц от дня его вступления в брак, а те будут называть его своим отцом; их потомство он будет называть детьми своих детей, а они, соответственно, будут называть стариков дедами и бабками, а всех родившихся за то время, когда их матери и отцы производили потомство, они будут называть своими сестрами и братьями...»

«Ну, а как же у твоих стражей? Найдется ли среди них такой, чтобы он считал и называл кого-нибудь из сотоварищей чужим? — Ни в коем случае. С кем бы из них он ни встретился, он будет признавать в них брата, сестру, отца, мать, сына, дочь или их детей либо дедов».

«...Причиной величайшего блага для нашего государства служит общность детей и жен у его защитников».

Другими словами, братство граждан идеального государства обеспечивается тем, что никто не знает, кто на самом деле его брат. Охрана идеологией авторитета старших и исполнительности младших нужна для того лишь, чтобы любой старший мог быть для младшего как отец родной, а любой младший для любого старшего — преданным и покорным сыном. То есть на словах все родные, а по сути — все чужие, и родных нет вообще.

В реальности же подобное братство, мягко говоря, лишено всякой теплоты и искренней преданности.

«Тому, кто постарше, будет предписано начальствовать над всеми, кто моложе его, с правом наказывать их. ...А младший, за исключением тех случаев, когда велют правители, никогда не решится, да оно и естественно, применить насилие к старшему или поднять на него руку, и думаю, что и вообще никогда его не оскорбит».

Снова встает вопрос, не имеющий отношения к высокой философии: когда, по какому случаю и в каких пределах правитель может приказать младшему поднять руку на старшего, то есть, в сущности, сыну на отца? Почтительность к старшему в этих условиях превращается не более чем в отсутствие приказа перестать быть по-

читательным. Получение же приказа, надо полагать, снимает все моральные обязательства, всякое уважение к бесчисленным отцам.

Если попытаться подытожить, можно сказать, что добросовестное, бескорыстное, свободное от личных пристрастий и предпочтений выполнение стражами своих обязанностей в идеальном государстве Платона обуславливалось следующими факторами:

- мощнейшей идеологической обработкой, говоря современным языком — промывкой мозгов, осуществляемой с самого раннего детства, причем, что очень существенно, убедительность индоктринируемого комплекса идей и воззрений, выдуманных искусственно и нарочито, оставляет, мягко говоря, желать лучшего; поэтому для их внедрения неизбежно потребовались бы силовые методы, каждодневное применение которых неизбежно оставляет широчайший простор для произвола;

- постоянным контролем за поведением и духовным состоянием детей, подростков, а возможно — и вообще всего населения с тем, чтобы своевременно выявлять тех, кто поддается идеологической обработке лучше всего; именно их затем предполагалось вовлекать в процесс управления, причем мерила оценки такой пригодности совершенно неясны, а для самих кандидатов в стражи, даже при их полной добросовестности и искреннем стремлении преуспеть, неведомы;

- лишением непосредственных руководителей всякой возможности сознательно, с учетом известных и понятных постоянных ориентиров и критериев, строить свой карьерный рост и прикидывать виды на собственное будущее;

- лишением непосредственных руководителей реальных человеческих отношений с их избирательностью, нелицемерной преданностью, неформальным бескорыстием и впитанным с молоком матери чувством действительной, а не провозглашаемой на словах общности, сопричастности и солидарности;

- лишением руководящей деятельности всяких материальных стимулов ввиду обобществления имущества, жилья и даже семейных отношений;

- лишением руководящей деятельности всяких шансов на возможность передачи хотя бы каких-то достигнутых на ее поприще результатов по наследству, на возможность поделиться ими с родными и близкими;

- полным отсутствием перечня действий, однозначно относимых к недопустимым, и унифицированной, понятной системы наказаний: старшие наказывают младших по своему почину и усмотрению;

- фактическим произволом высшего руководства, по крайней мере, в двух весьма чувствительных сферах общественной жизни — по вопросу наделения в силу неких неясных обстоятельств частной собственностью тех, кому она, вообще говоря, никоим образом не положена, а также по вопросу возможности поднять руку на старшего — тоже неясно когда, почему и зачем, просто в силу приказа сверху.

Очевидно, что эта система стимулов, во-первых, провоцирует развитие далеко не лучших человеческих качеств, во-вторых, полностью оторвана от всех предыдущих систем такого рода. Те складывались в течение многих тысяч лет в естественных, возникших еще в доисторический период иерархиях: семье, роде, племени, протогосударстве, и потому в той или иной модификации впитались во все без исключения культуры и в самое естество человека. Подлинное функционирование новых мотиваций потребовало бы полной смены человеческой психологии.

А это вряд ли возможно. Во всяком случае, пока хваленый научный прогресс не осчастливил нас чипами в мозгах.

Здраво рассуждая, не приходится сомневаться, что в таких условиях идея обще-

ственного блага — на преданности которой, собственно, все и стоит — очень быстро стала бы пустым звуком и выродилась в объект постоянных словесных манипуляций, целью которых оказались бы в первую очередь лишь, что называется, аппаратные игры. Даже минимально приемлемая добросовестность работников с подобным психическим складом и подобной системой мотиваций реально может быть обеспечена только угрозой наказания, если попался, и стремлением угодить тому, кто наделен правом произвола; ни о какой работе не за страх, а за совесть тут вообще говорить не приходится.

Посмотрим, что предлагает в этом же смысле едва ли не два тысячелетия спустя Томас Мор.

Предлагает он на удивление мало. Хотя его Утопия в мелочах, быть может, наиболее разработана (указано, например, даже то, как и в каком порядке следует расставлять люльки с младенцами во время общих трапез), проблема мотивированности непосредственных управленцев, судя по всему, вообще не представлялась Мору значимой.

«...Пребывание на виду у всех создает необходимость заниматься привычным трудом или же благопристойно отдыхать».

«...Весь остров — как бы единая семья».

И напрямую об управленцах:

«Кто хочет обманом получить какую-нибудь должность, лишается надежды на любовь. Живут утопийцы в любви, оттого что должностные лица не надменны и не страшны; их называют отцами, так они себя и держат. К ним относятся как подобает: почет оказывают добровольно, а не исторгают его насильно...»

«...Если благополучие... и погибель зависят от нравов должностных лиц, то можно ли выбрать кого-нибудь разумнее тех, которых нельзя отвратить от чести ни за какую мзду?»

Отвратить утопических управленцев мздой от чести нельзя по очень простой причине:

«В других местах, если даже и говорят повсюду о благополучии общества, то заботятся о своем собственном. Здесь же, где нет ничего личного, утопийцы всерьез заняты делом общества... Ибо в иных местах каждому человеку известно, что если он сам о себе не позаботится, то как бы ни процветало государство, он все равно погибнет от голода; поэтому необходимость побуждает его прежде принимать в расчет себя, а не народ, то есть других людей. Наоборот, здесь, где все принадлежит всем, ни у кого нет сомнения, что ни один отдельный человек не будет иметь нужды, если только он позаботится о том, чтобы были полны общественные житницы».

Воспитание бескорыстия сводится вот к чему:

«Из золота и серебра не только в общих дворцах, но и в частных домах — повсюду делают они ночные горшки и всякие сосуды для нечистот. К тому же утопийцы из этих металлов изготавливают цепи и тяжелые оковы, которые надевают на рабов. Наконец, у каждого, кто опозорил себя каким-нибудь преступлением, с ушей свисают золотые кольца, золото охватывает пальцы, золотое ожерелье окружает шею, и, наконец, золото обвивает его голову. Так они всеми способами стараются, чтобы золото и серебро были у них в беславии...»

«Совсем уничтожив само употребление денег, утопийцы избавились и от алчности. ...Даже сама бедность, которой одной только, казалось, и нужны деньги, после полного уничтожения денег тут же сама исчезнет».

Еще один корень пороков, помимо алчности, — гордость. С ней тоже удалось разобраться.

«Чудище, наставник и правитель всякой погибели — гордыня. Она измеряет счастье не своими удачами, а чужими неудачами. ...Они (утопийцы. — В. Р.) вместе с прочими пороками выкорчевали корни честолюбия и партий, над ними не висит никакой опасности пострадать от домашнего разлада...»

«Выкорчевали» — звучит многообещающе.

В сфере наказания преступлений иных, нежели прелюбодеяние и незаконные добрачные связи (для тех разработана весьма сложная карательная система), предусмотрена максимальная простота.

«За остальные злодеяния никакой закон не предписывает никакого определенного наказания, но когда совершается какой-нибудь жестокий и непростительный поступок, то кару определяет сенат. Жен учат мужья, родители — детей, если только не допустят они такой большой вины, за которую положено там карать прилюдно».

То есть опять-таки за проступки мелкие и средние оступившегося члена общины по своему разумению карает сама ячейка общества, не имея для определения тяжести наказания никакой формальной обобщенной основы, а за преступления тяжкие — ровно так же карает высший орган Утопии. Всякое наказание определяется, видимо, «только для данного случая». Судят «по справедливости», «по понятиям», а не «по закону».

А с другой стороны:

«Утопийцы отвращают людей от злодеяний не только страхом наказания, но и почестями, которые видны всем, они призывают к добродетелям. Мужам, которые знамениты своими особыми заслугами перед государством, в добрую память об их подвигах и для того, чтобы вместе с тем слава собственных их предков подстрекала и побуждала потомков к добродетелям, утопийцы воздвигают на площади статуи».

И в конце концов при описании богослужений подводится несколько неожиданный итог:

«Чтобы дети... не проводили в детских забавах то время, в которое им надлежит проникаться священным страхом к всевышним³, потому что это главнейший и почти единственный путь к добродетели».

Таким образом, набор инструментов для создания соответствующего идеальному обществу идеального управленца невелик. При том, что в руках этих самых управленцев находится вся хозяйственная жизнь Утопии, комплекс идеальных управленческих мотиваций формируется всего лишь:

- постоянным пребыванием трудящихся утопийцев на глазах у других трудящихся утопийцев;
- бесплатным распределением;
- дискредитацией драгметаллов;
- отсутствием частной собственности и денег;
- надеждой отвести душу, освобождая кого-нибудь от какой-нибудь тирании;
- престижностью благих примеров прошлого, увековеченных в наглядной агитации;
- угрозой навечно лишиться права на занятие любой из должностей в качестве возмездия за предпринятую по собственной инициативе попытку какую-либо из них получить;
- непредсказуемостью и произвольностью внесудебных карательных санкций, при которых реакция уголовного права на неблагоприятные поступки или просто служебные промахи непрогнозируема;
- искоренением честолюбия (но при этом «утопийцы отвращают людей от

злодеяний не только страхом наказания, но и почестями, которые видны всем», то есть игрой на честолюбии, похоже, там все же пользовались; да и фраза «почет оказывают добровольно» намекает на то же);

– страхом Божиим.

Даже в самом лучшем случае управленцем вновь движет здесь единственно идея общего блага сама по себе, не подкрепленная и не конкретизированная ни какими-либо личными стимулами, ни каким-либо личностным творческим порывом.

И Кампанелла основные надежды на пробуждение людей к общественной деятельности, в том числе управленческой, возлагает все на то же обобществление.

«Они (Солярии. — В. Р.) утверждают, что собственность образуется у нас и поддерживается тем, что мы имеем каждый свое отдельное жилище и собственных жен и детей. Отсюда возникает себялюбие, ибо ведь, чтобы добиться для своего сына богатства и почетного положения и оставить его наследником крупного состояния, каждый из нас или начинает грабить государство, ежели он ничего не боится, будучи богат и знатен, или же становится скрягой, предателем и лицемером, когда недостает ему могущества, состояния и знатности».

«Дома, спальни, кровати и все прочее необходимое у них общее».

«И хотя общность жен и не установлена среди остального населения... у них самих она принята на том основании, что у них все общее».

«Община делает всех одновременно и богатыми, и вместе с тем бедными: богатыми — потому что у них есть все, бедными — потому что у них нет никакой собственности; и поэтому не они служат вещам, а вещи служат им».

«Торговля у них не в ходу...»

Второй фактор обеспечения добросовестности — это отрыв от семьи и конкурентно-коллективистское воспитание, а также тщательное астрологическое обеспечение распределения по трудовым занятиям.

«Вскормленный грудью младенец передается на попечение начальниц, если это девочка, или начальников, ежели это мальчик. ...На восьмом году переходят они к естественным наукам, а потом и к остальным, по усмотрению начальства, и затем к ремеслам. Дети менее способные отправляются в деревню, но некоторые из них, оказавшиеся более успешными, принимаются обратно в город. Но в большинстве случаев, родившись под одним и тем же расположением звезд, сверстники сходятся и по способностям, и по нраву, и по наружности, отчего проистекает великое согласие в государстве, поддерживаемое неизменной взаимной любовью и помощью друг другу».

«Так как должность каждого определяется с детства сообразно с расположением и сочетанием звезд, наблюдавшихся при его рождении, то благодаря этому все, работая каждый в соответствии со своими природными склонностями, исполняют свои обязанности как следует и с удовольствием, так как для всякого они естественны».

Воспитанием в строго определенной, весьма суровой системе ценностей исполнительская добросовестность доведена до абсурда.

«Всякую службу называют они учением, говоря при этом, что одинаково почтенно ногам ходить, заду испражняться, а глазам видеть и языку говорить; ведь по необходимости и глаза выделяют слезы, а язык — слюни, подобно испражнениям. Поэтому каждый, на какую бы службу ни был он назначен, исполняет ее как самую почетную».

«Скажи, пожалуйста, а не бывает ли в их среде зависти или досады у тех, кого не выбрали в начальники или на какую-нибудь другую должность, которой они добивались? — Нисколько. Ведь никто из них не терпит никакого недостатка не только в необходимом, но даже и в утехах».

И при этом:

«Должностные лица сменяются по воле народа».

То есть любая карьера может быть в любой момент прервана еще и народным волеизъявлением.

В результате:

«Всего у них избыток, потому что всякий стремится быть первым в работе, которая и невелика, и плодотворна, а сами они очень способны. Тот, кто главенствует над другими в каком-нибудь... занятии, называется у них царем. Достойно удивления, как все, и мужчины и женщины выступают отрядами и во всем подчиняются своему царю, не проявляя при этом... никакого недовольства, ибо почитают его за отца или за старшего брата».

Снова мы видим простодушную попытку установить отношения социальной субординации по образцу отношений субординации семейной, но при том — словно бы в беспамятстве. Откуда может взяться почтение к отцу или старшему брату там, где новорожденных сразу забирают начальники и начальницы, а сексуальных партнеров подбирают и сводят для контактов врачи и должностные лица?

Закрадывается подозрение, что вот откуда:

«Все по отдельности подсудны старшему начальнику своего мастерства. ...Все главные мастера являются судьями и могут присуждать к изгнанию, бичеванию, выговору, отстранению от общей трапезы, отлучению от церкви и запрещению общаться с женщинами».

«Для наблюдения за исполнением всех обязанностей... приставлены маститый старец со старухой, которые распоряжаются прислуживающими и имеют власть бить или приказывать бить нерадивых и непослушных; и в то же время они замечают и отличают мальчиков и девушек, лучше других исполняющих отдельные обязанности. Вся молодежь прислуживает старшим, кому минуло сорок лет. И вечером, при отходе ко сну, и утром начальник и начальница отправляют одного из молодых людей по очереди прислуживать в каждую отдельную спальню. Друг другу молодые люди прислуживают сами, и горе уклоняющимся!»

Кто следит за соблюдением последнего правила, какого рода горе ожидает уклоняющегося, кто и как определяет меру этого горя — не уточнено. Зато из этих описаний делается вывод, выглядящий для современного человека несколько парадоксальным:

«Столько друзей, братьев, сыновей, отцов и матерей живут вместе в такой степени, благообразии и любви».

Похоже, основной побудительной силой руководства со стороны руководителей и подчинения со стороны руководимых следует полагать именно взаимную любовь. И горе тем, кто от любви уклоняется.

«...Они беспощадно преследуют врагов государства и религии как недостойных почитаться за людей».

«На третий день... приговор вступает в законную силу, причем ответчик примиряется со своими обвинителями и свидетелями, как с врачами своей болезни, обнимая их, целуя и т. д.».

«Смертная казнь исполняется только руками народа, который убивает или побивает осужденного камнями, и первые удары наносят обвинитель и свидетели. Палачей... у них нет, дабы не осквернять государства. Иным дается право самим лишать себя жизни: тогда они обкладывают себя мешочками с порохом и, поджегши их, сгорают, причем присутствующие поощряют их умереть достойно. Все граждане при этом плачут и молят бога смягчить свой гнев, скорбя о том, что дошли до необходимости отсесть загнивший член государства. Однако же виновного

они убеждают и уговаривают до тех пор, пока тот сам не согласится и не пожелает себе смертного приговора, а иначе он не может быть казнен. Но если преступление совершено или против свободы государства⁴, или против Бога, или против высших властей, то без всякого сострадания приговор выносится немедленно».

Практических вопросов возникает тут просто море. Ну хоть вот: кто, как и с какой честностью ведет учет бездн конфиската, возникающих, когда «все имущество покоренных или добровольно сдавшихся городов немедленно переходит в общинное владение»?

Или: по каким критериям тех, кого народу надлежит побить камнями, выносящие приговоры должностные лица отличают от тех, кому они обязаны дать право самим лишиться себя жизни при помощи самоподрыва на мешочках с порохом? А если эти критерии расплывчаты или произвольны — нельзя ли тут поживиться во время принятия решений?

Конечно, в тексте сказано:

«Распределение всего находится в руках должностных лиц; но так как знания, почести и наслаждения являются общим достоянием, то никто не может ничего себе присвоить».

Но как реально это отсутствие возможности достигается? Неужели единственно тем, что все общее? Разве пожива может быть только материальной? Как можно, например, сделать общими знания, почести и наслаждения — и не найдется ли как раз именно здесь очередной лазейки для того, чтобы порадовать себя, попытаться по каким-то параметрам стать «равнее» остальных?

Можно сказать, что здесь мотивационная основа управленческой деятельности выглядит наиболее убогой и неубедительной. Ее составляют:

- внедренная в сознание в процессе коллективистского воспитания гипертрофированная, самозабвенная исполнительность, полностью, похоже, заменяющая реальный интерес к своей работе, увлеченность своей работой, гордость своей работой;

- полное бескорыстие, обеспеченное отсутствием частной собственности, семьи и искоренением честолюбия (однако понятие «почестей» тем не менее каким-то образом сохраняется);

- всеобщая любовь;

- назначение всех и каждого на ту работу, которая, согласно астрологическим прогнозам, для них наиболее естественна;

- надежда отвести душу, освобождая кого-нибудь от какой-нибудь тирании и затем ограбить освобожденных, передав их имущество в коллективное пользование Соляриям;

- постоянная угроза снятия с должности «по воле народа»;

- постоянный страх бессудного наказания неизвестной и непредугадываемой суровости, применяемого просто «в рабочем порядке»;

- чудовищная жестокость по отношению к тем, кто оказался признан «врагами государства и религии, недостойными почитаться за людей».

Ясно, что при отчаянной зарегулированности утопических миров, где едва ли не все происходило по воле начальства, с его ведома и под его контролем, предусмотренные для этих миров системы стимулов управленческой деятельности совершенно не способны были бы обеспечить мало-мальски качественных управленческих услуг.

Может быть, это утверждение прозвучит нелепо, напоминая подсчет количества ангелов, помещающихся на острие иглы, но невозможно отделаться от мысли, что одной из самых серьезных причин неосуществимости всех подобного рода со-

циальных конструкций является их полная несостоятельность в сфере предложения идеальным управленцам мотивационной основы для добросовестного выполнения ими своих бесчисленных идеальных обязанностей.

Управленец нового типа, способный выполнять свои функции при той системе стимулов, которая предусматривалась для него утопиями, никак не в состоянии был возникнуть в рамках реального мира и его традиций, ценностей и межлических отношений. Без нового управленца утопия не могла функционировать, но только уже благополучно функционирующая утопия могла породить нового управленца.

При отсутствии всех реальных стимулов, сориентированных самоутверждением, честолюбием, творческим порывом, удовольствием от работы, заботой о родных и понимаемой максимально широко корыстью, набор мотиваций управленца не мог не свестись к всего лишь двум: во-первых, маниакальное, сродни вызванному гипнозом, стремление к некоему общему благу и, во-вторых, постоянный страх непредсказуемой кары. Работать эти факторы могли в лучшем случае лишь внутри «прекрасного нового мира», пока тот сохранял зомбированное единство и карающую силу; сделаться таким сам, самостоятельно, без давления извне, внутри обыденной реальности, управленец принципиально был не в состоянии.

Для того чтобы стать достойным стражем или сифогрантом, человек, как янычар, должен был быть с детства вырван с корнем, с кровью из реально существующей культурной традиции и погружен в новую, радикально отличную и созданную искусственно; но этой новой традиции вообще не существовало нигде, и попытаться создать ее на руинах старой могли лишь те люди, которые сами-то были плоть от плоти этой старой традиции и культуры, просто против нее восстали.

Европейские утопии — это классические приглашения перемахнуть пропасть в два прыжка.

В значительной степени именно в силу данного противоречия всякая европейская попытка реализовать утопию требовала прямого насилия, вырождалась в прямое насилие и затем неизбежно приобретала характер, по меньшей мере, драматический. И в итоге приводила к результатам, что оказывались прямо противоположны желаемым.

И второе.

Внутренний мир управленца, его духовный посыл, его личные, индивидуальные этические ориентиры совершенно выпадали из рассмотрения утопистов. Психология управленца не то что не волновала конструкторов идеальных миров; для них и проблемы-то такой не существовало. Чиновник, его переживания и его работа ни в малейшей степени не были встроены в общую этическую картину положительной социальной перспективы.

Однако это был существеннейший просчет.

Побудительными мотивами конструирования утопии являются два естественным образом присущие человеку стремления: избавиться от нежелательного и достичь желаемого. Одно является продолжением другого.

Мало того, что управленцу ни в малейшей мере не был предложен его положительный, заманчивый, призывный образ. Но ведь для избавления от нежелательного человек истари придумал методики куда более эффективные, нежели единовременное катастрофическое переконструирование всего общества в целом. А именно — системы табу, комплексы освященных традицией запретов и в конце концов — уголовное право. В этом смысле уложения о наказаниях являются косвенным описанием приземленных, половинчатых утопий; реально существующие общества асимптотически стремятся к ним как к своим предельно позитивным, предельно благополучным состояниям.

Однако не имея позитивного проекта, безукоризненного образа себя, принципиально невозможно придумать хотя бы один-единственный уголовный закон. Пока мордобой или расхитительство считаются в обществе нормой, никому и в голову не придет устанавливать за них уголовные наказания. Чтобы дойти до мысли об осуществляемом от лица государства возмездии за нанесение увечья или использование служебного положения в личных целях, правящая элита должна видеть в туманной дали впереди сообщество людей, которые не могут поднять друг на друга руку или стащить из вверенного общественного амбара меру зерна для голодного племянника. Вне выношенной данной культурой мечты о ее собственном идеальном состоянии, а стало быть, и об идеальных образах составляющих данное общество людей невозможно придумать, за что карать, что отсекают угрозой наказаний и их применением.

Лишь за счет проработанного представления об идеале можно по-настоящему тщательно и адекватно отградуировать степени вины за то или иное отклонение от него. Говоря проще, для того, чтобы сформулировать, как НЕ НАДО, прежде всего надо иметь более или менее панорамное представление о том, как НАДО. Только представление о том, как НАДО, дает возможность предписывать, как НЕ НАДО.

Скажем, если бы мир Кампанеллы каким-то чудом вдруг оказался реализован, он непременно столкнулся бы с необходимостью силовыми методами блокировать уклонения от исполнения действий, опорных для всей его общественной морали. И стало быть, в его уголовном уложении непременно должно было бы найтись место законам, предписывающим суровые наказания, например, для тех, кто, будучи признан виновным, откажется обкладывать себя мешочками с порохом и самому просить себе смертного приговора (но как можно добавить наказание тому, кто и так обречен на эту чудовищную смерть?), равно как и для тех, кто не станет при этом стоять вокруг места казни, уговаривать несчастного умереть достойно и при том плакать от сострадания к нему же.

Понятно, что описанное Кампанеллой нормативное поведение противоречит всему, что мы знаем о естестве человека, и, стало быть, для нормальных людей искреннее его исполнение невозможно; оно исполнялось бы ТОЛЬКО под страхом наказания, стало быть, провоцируя массовые уклонения от участия, калеча души всем реально способным к состраданию людям и превращаясь в лицемерный фарс. Исполнять эту мерзость легче всего было бы подонкам; порядочные люди бежали бы от нее, как могли, и раньше или позже все либо стали бы подонками, либо оказались виноваты и, в свою очередь, подверглись карам. Уже одно это доказывает полную ирреальность предлагаемого мира. Ведь никакой прагматической социальной ценности, никакой осмысленной результативности все эти колоссальные усилия по принуждению не имели бы.

Но зато какой простор они предоставляют для произвола со стороны тех, кто обеспечивает исполнение этих идущих наперекор всем реальным культурным традициям требований! Тех, кто следит за своевременностью и интенсивностью уговоров взорваться и рыданий по поводу необходимости совершать эти уговоры, тех, кто выясняет причины неисполнения столь важного общественного долга (по болезни, в состоянии аффекта, по злему умыслу, по предварительному сговору) и определяет наказания за такое неисполнение!

Коррупционная составляющая законов, требующих от человека вывернуться наизнанку, везде и во все времена равна ста процентам.

Оставив в практически полном небрежении образ идеального управленца и то, что им движет, ради чего он живет, что его вдохновляет и что обескураживает, европейская утопия лишила себя столь мощного средства помочь человеку побеж-

дать соблазны, как уголовное право. Неспроста все упоминания о наказаниях в утопиях носят столь общий, столь аморфный характер. Ни разу не упомянуты специфические и специально для чиновников предназначенные меры пресечения. Нет ни единого упоминания о том, что деятельность управленца должна или хотя бы может регулироваться некими особыми, не имеющими касательства к рядовым гражданам нормами — потому что, собственно, и за самой этой деятельностью не признано никакого своеобразия. А следовательно, непонятно и то, когда, за что и при каких условиях управленца можно упрекнуть в том, что он психологически, мотивационно или поведенчески не соответствует своему назначению и положению.

Сложившийся и возобладавший в культурной традиции образ правильной жизни обеспечивает статистическое доминирование надлежащих, уважаемых, одобряемых намерений и действий. Формирует сердцевину работоспособной реальности. Уголовное право отсекает от этой сердцевины все лишнее, все уродливое. Если нет сердцевины, лишнее не от чего отсекается.

А это, собственно, значит, что в зависимости от индивидуальных представлений или просто от настроения вышестоящего начальника отсекается можно все что угодно.

Последующее усложнение системы государственного управления и развитие бюрократии свалились на Европу как снег на голову. В ее этической картине мира не было места для кадрового управленца. Идеалисты предшествующих веков не озаботились тем, чтобы предложить управленцу какие-то его собственные, специальные «плохо» и «хорошо». Чиновнику не показали ни манящих его грез, ни его отвратительных образин. И лишь пробуждение национализма, по времени совпавшее со складыванием первых бюрократий мало-мальски современного типа, частично скомпенсировало этот пробел, кое-как заполнило этот вакуум: штатные бюрократы получили возможность ощутить себя пусть хоть и бледными, но все же подобиями таких блистательных *enfants de la Patrie*, как, скажем, гусары. Возможно, это совпадение по времени не случайно; если бы усложняющиеся государственные образования не принялись апеллировать к народным чувствам, не стали бы провозглашать себя прибежищами и детищами наций, бюрократу и управленцу, не предложи ему роль патриота, в его новом количестве и качестве просто не для чего оказалось бы работать.

Ну, разве что для себя и своего кармана — но как раз о том-то и речь.

Проблема перспективы

Попробуем представить две семьи, живущие в пустыне. У них один родник на двоих. Обе — вполне славные, любящие, крепко спаянные, исполненные родственной любви и уважения. Да и друг к другу семьи относятся доброжелательно, по-соседски. Не без соперничества, конечно, не без шумных споров и едких подтруниваний, не без стычек на межах. Живые же люди, как иначе?

Но вот родник начинает пересыхать.

Вопрос: как без насилия, без колючей проволоки, без КПП, где каждый должен под дулом автомата предъявлять талон на свою жалкую суточную норму, без призывов к толерантности и прочих пустых словес добиться того, чтобы семьи не перессорились, не начали ненавидеть друг друга и друг другу вредить, а, напротив, стали бы еще сплоченней и доброжелательней одна к другой?

Ответ только один: подать им идею выкопать колодец, где воды хватит на всех.

Значит — такой большой колодец, такой глубокий, что отрыть его можно лишь

предельным напряжением всех сил всех членов обеих семей. Вот тогда все и каждый примутся пылинки друг с друга сдувать — и не на словах, а на деле, в поту и грязи. Ведь каждая пара рук на счету. И их товарищество будет длиться, уж во всяком случае, до того момента, пока сохраняется надежда и впрямь докопаться до воды.

Конечно, когда колодец будет выкопан или тем более когда выяснится, что воды так и нет, междусемейная конкуренция может вспыхнуть сызнова. И даже внутрисемейная. И даже вражда не исключена. Но, может, и нет. Может, за это время они так сроднятся, что затем даже в случае всякого рода неприятностей их все равно уже не поссорить. А может, кто-то из них, пока суд да дело, откроет методику опреснения воды из близлежащего океана, и им всем вместе снова придется засучить рукава и строить опреснительную станцию...

Проблема наличия или отсутствия перспективы имеет самое прямое отношение к проявлению человеком своих самых положительных и самых отрицательных качеств.

Чтобы иметь силы противостоять собственной апатии и собственному эгоизму, как отдельному человеку, так и обществу стране нужно куда-то расти. Когда те общие усилия, обеспечению которых призваны служить бескорыстие, верность, способность к самопожертвованию ради общего блага, духовная и профессиональная активность, целеустремленность, способны приносить плоды, эти качества действительно могут самовоспроизводиться в обществе. Если же объективная ситуация лишает общество шанса на рост, развитие, подвиг, если появляется отчетливое ощущение того, что все усилия тщетны и ничего более нельзя создать, можно лишь так или иначе цепляться за уже созданное (тем более — созданное другими), то эмоционально манящим и престижным становится не свершение, а стяжание.

Когда исчезает ощущение перспективы, любые личные усилия превращаются в чистое насилие над собой и быстро затухают, завершаясь полной апатией, а то и иррациональной агрессией. А усилия государственные превращаются в рутину, утрачивая вдохновляющий привкус последовательных шагов в бескрайний простор. Когда достигнут и пройден предел роста, следование идеалам и предполагаемым ими добродетелям теряет наглядную эффективность, окрыляющую результативность, притягательную плодотворность. Любая неэгоистичная деятельность теперь может совершаться лишь из-под палки. Любая идеология формализуется и мертвовет. Ее одухотворяющее воздействие сходит на нет. Ее ритуалы превращаются в фарс.

Простейшим видом обретения государством перспективы является территориальная экспансия, но рост подвластного пространства и населения отнюдь не исчерпывает перечня видов роста, способных придавать смысл индивидуальной и коллективной жизни.

С подобного рода тупиком столкнулся в свое время Рим. Пока республика, а затем империя шла вперед, пока побеждала и объединяла народы, приобщала варваров к передовой на то время культуре, при всех хорошо известных издержках знаменитые римские добродетели работали. Когда окружающий мир уперся и перестал пускать империю дальше, когда установилось равновесие, римская элита начала от бессмысленности бытия впадать в апатию или куролесить кто во что горазд. Да и не только элита.

Новую перспективу открыло христианство.

Оказалось, что лучшие человеческие качества могут приносить результат не только и не столько в мире сем, сколько в мире горнем. Положительная перспек-

тива обнаружилась за гробовой доской. Открылся совершенно новый сияющий простор, который можно было покорить, только проявляя максимум веры, верности, честности, стойкости, бескорыстия и братской любви. Стремление в этот простор создало европейскую цивилизацию.

Секуляризация и Просвещение если не лишили Европу потустороннего простора, то во всяком случае серьезно поставили его под сомнение. Перспектива оказалась на грани закрытия. В этом тупике возник галантный век с его рационализмом, торжеством изящно упакованного себялюбия, беззастенчивой корысти, безудержной похоти и ядовитого, порой — откровенно злобного ерничанья надо всем, что было святынями в течение почти двух тысяч лет.

Но с поразительной своевременностью практически именно в это самое время европейская цивилизация выдвинула совершенно новую идею — концепцию прогресса. Согласно ей, история не есть топтание на месте или бег по кругу, но поступательный и — что самое существенное — в значительной степени управляемый процесс восхождения из мира менее совершенного в мир более совершенный. Перспективой стал отныне не загробный рай, но посюстороннее светлое будущее.

Стоит предложить некий вариант будущего общественного устройства, с той или иной степенью убедительности доказать желательность и возможность его построения — и буде найдутся люди, для которых это будущее окажется эмоционально притягательным, которые захотят общими усилиями попытаться достичь его, все они окажутся братьями по новой вере, дающей, как и всякая чисто религиозная вера, столь необходимый индивидууму надындивидуальный смысл бытия. Лучшие человеческие качества снова востребованы. А если брат поведет себя по отношению к брату аморально, новый бог накажет: желаемое всеми братьями будущее может не сбыться.

Не приходится удивляться тому, как скоро и уверенно старые утопии пропитали все предлагавшиеся в XIX–XX веках идеальные модели сознательно конструируемого будущего. Давние мечты и, не побоюсь этого слова, мании культуры никуда не делись за прошедшие века и зажили в якобы рациональных моделях новой жизнью — хотя в каждой из них по-своему.

Ныне все эти модели безвозвратно скомпрометировали себя. Ни одной общей перспективы, манящей хоть сколько-нибудь значительное число людей, снова не осталось. Их предлагают лишь, как встарь, традиционные религии, но роль и влияние религий в нынешнем обществе, что ни говори, радикально отличны от средневековых.

Снова, как бывало уже не раз, человеку не для чего быть бескорыстным, самоотверженным, верным; все эти качества опять не приносят ему ни радости, ни выгоды, ни престижа, ни любви окружающих; но самое главное — они объективно безрезультатны. Потому что нет ни малейшего общего представления о результате как таковом. Столь желанный ныне для каждого личный успех есть стремление хоть и одинаковое, но не общее. Одинаковое стремление порождает конкуренцию. Сотрудничество порождается лишь стремлением общим.

В этих условиях о добросовестности и бесребреничестве управленца говорить просто смешно. Управленец, во-первых, такой же человек, как и все остальные, член того же общества, что и те, кем он управляет. И вдобавок его положение связано с куда большим количеством соблазнов, для преодоления которых требуется куда больше бескорыстия, самоотречения, верности долгу и увлеченности общим идеалом — реализация которого и является первой и главной наградой и корыстью.

И вот уже от постылой бесцельности немало славянских и западноевропейских

голов мечтательно кружится от совершенно им чуждой и не имеющей ничего общего с хваленым европейским гуманизмом идеи всемирного халифата. Люди не могут без альтернативы. Особенно если эта альтернатива предлагает хоть какой-то общий смысл, а следовательно — обещает свободному до полного одиночества человеку братьев, ради которых сладостно и почетно и жить, и жертвовать собой.

И вот уже сама европейская цивилизация, бессильно ощущая, что пора бы что-то и самой предложить, пытается подать голос.

В качестве примера навскидку можно привести, в общем-то, небольшую и незначительную статью В. Цаплина «Разумное, но не мыслящее», опубликованную в мартовском номере журнала «Полдень» за 2009 год⁵.

Оказывается, люди делятся на тех, кто мыслит правильно, и на тех, кто мыслит неправильно. Мышление одних «объективно приводит к кризисному состоянию цивилизации и служит его обострению», а мышление других — «способно вывести цивилизацию из кризисного состояния и дать надежду на построение гармоничного человеческого общества».

А поэтому:

«В итоге появляются носители „разных мышлений“, образуя как бы разные популяции людей, которые при внешнем сходстве принципиально отличаются друг от друга. Что-то подобное кроманьонцам и неандертальцам, которые продолжительное время существовали одновременно, но относились к разным подвидам *homo sapiens* и враждовали друг с другом».

Правда, автор, почувствовав, куда его занесло, торопливо оговаривается:

«Это различие не становится, разумеется, наследуемым качеством мышления и поэтому не может стать даже в малейшей степени основанием или оправданием для дискриминации, расизма или геноцида (но надо признать, что, будучи отягощенным предрассудками и невежеством, именно это состояние и приводит реально к дискриминации, расизму и геноциду!), но в каждый данный момент это различие — объективный природный факт!»

Лекарство оказывается горше болезни. Оговорка эта лишь усиливает ощущение жути. Во-первых, из нее следует, что «в каждый данный момент» убогость мышления низшей расы все же может служить оправданием геноцида. А во-вторых, она тут же подбрасывает и оправдание: ведь это будет не геноцид, а защита от геноцида, к которому приводит как раз этот низший тип мышления! Мы никогда не нападаем первыми, но наш справедливый ответный удар обязательно должен быть упреждающим...

Существование людей с разными типами мышления автор аккуратно называет «состоянием интеллектуальной несовместимости».

«Разрешение всех существующих между людьми противоречий... зависит только от того, удастся ли людям найти и внедрить единую... форму мышления для жителей всей Земли, которая выше и названа полноценным мышлением».

Зачистка планеты от неполноценно мыслящих и внедрение единой формы мышления для всего человечества предлагается, таким образом, в качестве модели очередного светлого будущего.

Относить к неполноценно мыслящим автор, не вдаваясь в сложности, предлагает всех тех убогих, кто даже в современном интеллектуальном мире продолжает ощущать себя принадлежащими к какой-то нации или придерживаться какой-либо религии. Полноценное же мышление у него характеризуется «рациональной, связной, единой, адекватной физическому миру основой, непредвзятым анализом достоверных причин складывающихся ситуаций, рассмотрением явлений как звеньев в цепи рациональных причинно-следственных связей, критическим отноше-

нием к стереотипам мышления и поведения, способностью к глубокому абстрагированию, сложным ассоциативным связям...»⁶

Другими словами, в качестве первого и абсолютно необходимого условия — полным разрывом с традицией.

Новый человек может быть создан только будучи с корнем и кровью вырван из своей культуры. Как у Платона, Мора, Кампанеллы...

Очередное преодоление человека по Ницше.

Я взял эту небольшую статью лишь в качестве примера. Подобные взгляды сейчас распространяются все шире.

С дрожью я представляю себе систему ценностей, стимул к коллективной деятельности, основу братства, построенные на стремлении достичь вот такого светлого будущего. А уж от самого этого братства просто оторопь берет. Если же попробовать вообразить еще и управленца, мотивированного идеей принадлежности к полноценно мыслящей части человечества, тогда как все, кто вверен его попечению, мыслят неполноценно...

Без малого полтора века назад Герберт Уэллс в знаменитой «Машине времени» описал мир, где прогресс разделил человечество на две расы: элоев и морлоков. Тогда это воспринималось как жутчайшая антиутопия.

Опробовав в качестве моделей светлого будущего коммунизм, ради которого население следовало чистить по классовому признаку, нацизм, при котором фильтровать надлежало по признаку расы, и либерализм, сепарирующий человечество по признаку полноценного и неполноценного мышления, западная цивилизация, доводя излюбленный ею третий вариант до абсурда, начинает предлагать в качестве заманчивой общей цели давно известный кошмар. Утопия и антиутопия поменялись местами.

Европейская мысль пошла по кругу.

Старый зверь стучится в дверь. Народ вымирает — а он все стреляет...

Конфуцианский вариант

В силу факторов в первую очередь чисто природного характера Китай очень рано познал многие плюсы и минусы бюрократии. Объективно обусловленная ландшафтом необходимость объединять разнородные и слаженные трудовые усилия больших коллективов людей сделала неизбежным возникновение обширной прослойки низовых непосредственных руководителей, координаторов этих усилий. Затем, по мере развития подконтрольной государству экономики, понадобилось координировать уже самих координаторов. Платон еще придумывал своим стражам обязанности по строгому надзору за поэтами, а в Китае уже начинали представлять себе, что такое бюрократический аппарат, от которого зависит и снабжение населения продовольствием, и возведение водозащитных сооружений, и поддержание в надлежащем состоянии сухопутных и речных коммуникаций невообразимой для Греции протяженности.

История китайских утопий правления, утопий преобразования сущей действительности в должную насчитывает не меньше веков, чем история утопий европейских. Конфуцианский вариант социального идеала начинается с «Лунь юя» («Бесед и суждений») — одного из основополагающих текстов конфуцианского канона. Считается, что «Лунь юй» состоит из записей высказываний Конфуция, по памяти сделанных его учениками вскоре после смерти учителя. Время создания — V век до н. э.

Представление о том, каким должен быть в государстве надлежащий порядок,

было уточнено и развернуто в другом классическом сочинении конфуцианского канона — в «Ли цзи» («Книге установлений»). Этот памятник оформлен как изложение взглядов Конфуция по самым разным вопросам; составляющие его тексты были написаны разными людьми и в разное время, в основном в IV–I веках до н. э.

При первом же взгляде на описание конфуцианского социального идеала поражают прежде всего его лаконизм, его приземленность и скромность сформулированных в нем запросов. Нам, европейцам, привыкшим, что надо не улучшать мир, а попросту раз за разом заменять очень плохой мир очень хорошим, конфуцианский идеал и утопией-то трудно назвать. Но, по всей видимости, для Конфуция и его современников и последователей это было не так. Ведь даже то абсолютное правило морали, которое много веков спустя стали называть золотым, великий Учитель Китая мотивировал всего лишь заботой о вполне реалистичном и мирном социальном упорядочении.

Стоит лишь сравнить Евангелие и «Беседы и суждения»:

«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки».

«Не делай другим того, чего не желаешь себе. И тогда не будет обиженных ни в государстве, ни в семье».

В тексте «Лунь юя», там, где в русском переводе сказано «обиженных», употреблен иероглиф *юань*. Это не просто «обида». Это едва ли не всеобъемлющий комплекс всего разобщающего: «обида», «зло», «вред», «злота», «враждебность», «ненависть», «возмущение». Отсутствие *юань* в семье — это благоденствие родного дома. Отсутствие *юань* в стране — это благоденствие родного края. И для того, чтобы такое состояние оказалось достигнуто, нужно всего-то лишь вести себя по отношению к окружающим так, как ты хотел бы, чтобы они вели себя по отношению к тебе. Уже из этого короткого высказывания видно, какое громадное значение придавал Конфуций этической наполненности межлических отношений; посредством одной лишь их гармонизации можно добиться гармонии всего социума. Ни закон, ни пророки, если верить Конфуцию, тут не нужны. Достаточно всего лишь заботливого семьянина.

Чуть более подробно представления об идеальном обществе изложены в одном из наиболее известных пассажей «Лунь юя», посвященном тому, как размечтались Учитель и два его ученика.

«Янь Юань и Цзы-лу стояли около Учителя. Учитель предложил: “Пусть каждый из вас расскажет о своих желаниях”. Цзы-лу сказал: “Я бы хотел, чтобы мои друзья совместно со мной пользовались [моими] колесницами, лошадьми и халатами на меху. И я бы хотел не сердиться на них, когда они что-нибудь испортят”. Янь Юань сказал: “Я не хотел бы выставлять напоказ своих достоинств и распространяться на счет своих заслуг”. Цзы-лу сказал: “А теперь мы хотели бы услышать о желаниях Учителя”. Учитель сказал: “Я хотел бы, чтобы старые могли жить в покое, чтобы друзья доверяли друг другу и чтобы было кому заботиться о малых детях”».

Воистину — скажи мне, о чем ты мечтаешь, и я скажу тебе, кто ты.

Цзы-лу — славный и не очень далекий человек, пределом мечтаний которого является не раздражаться на друзей при совместном пользовании имуществом. Он честно хочет быть щедрым и бескорыстным, но сам чувствует, что не вполне готов к этому; пока его вещи возвращаются к нему в целостности-сохранности, он еще может оставаться безмятежен, но перспектива увидеть на своей колеснице не им самим оставленную царяпину настолько ему неприятна, что он ни много ни мало — просто-таки мечтает не испытать при этом раздражения. Это — образец доброго под-

данного-простолюдина, нуждающегося в этическом и организационном руководстве.

Янь Юань не мечтает иметь достоинства и добиться заслуг. Он внутренне убежден, что и так уже имеет достоинства и, стало быть, заслуги не за горами. Это немаловажная составляющая характера хорошего руководителя — отнюдь не зазорно и даже, говоря по совести, необходимо управленцу быть уверенным в своих силах и ожидать признания спокойно, не прикладывая никаких специальных усилий для того, чтобы снискать почет. Все, чем Янь Юань озабочен — это тем, чтобы не скатиться до тщеславия. Делать свое дело наилучшим образом — но при том предоставить окружающим судить о нем не по его личным достоинствам, а по реальным делам, по внешним следствиям его внутренних достоинств, по уже достигнутым благодаря этим достоинствам объективным результатам. Иметь заслуги — но самому их как бы не замечать. Это идеальный управленец — эффективный, мотивированный на результат и оттого не зацикленный на выгоде исполнитель верховной воли.

И наконец Конфуций, который только и достоин быть этой самой верховной волей. Потому что его мечта — благоденствие всей Поднебесной. Он вмещает в заботливом сердце своем всю страну.

И в чем же заключается чаемое им благоденствие, каков же ожидаемый эффект его заботы?

Ничего протivoестественного. Ничего экстравагантного. Ничего нарочито выдуманного. Ни слова об организационных частностях — они решатся в рабочем порядке. Все — о состояниях, по большей части — состояниях внутренних, духовных, которые возникнут тогда, когда частности окажутся улажены и решены. О них, об этих состояниях, собственно, мечтают все нормальные люди — только каждый для себя или в лучшем случае для своих ближайших родственников. Старики мечтают о своем, мужчины, находящиеся в расцвете сил, на пике деятельного возраста, — о своем, и дети — о своем. Мечта Конфуция интегрирует частные обыденные мечты всех, и не более того. Его мечта — просто объединенная мечта всех. Он способен мечтать за каждого о том же самом, о чем мечтает каждый, и суммировать все частные мечты. Спокойная старость, доверие между теми, кто занят общим делом, и сытые дети под присмотром. Вот и все.

Но для того, чтобы эта мечта могла быть реализована, все подданные должны стать такими, как Цзы-лу, и все служащие государственного аппарата — такими, как Янь Юань. Тогда-то и решатся все проблемы.

Конфуций не сжигает реальный мир. Он просто хочет населить его людьми, держащими в узде свои эгоистичные мотивации. Он не стремится ампутировать у человека эгоизм — он знает, что это невозможно, да и не нужно, ибо чревато равнодушием и апатией. Он старается разработать образовательные и воспитательные методики, предложить стимулы, благодаря которым человек сам мог бы контролировать свой хватательный рефлекс.

Когда же он напрямую высказывается об идеальном государстве, его слова вновь и вновь поражают своей кажущейся простотой и непритязательностью.

«...Я... слышал, что правители государств и главы семей не страшатся, что у них мало богатства, а страшатся, что оно распределено неравномерно, не страшатся, что у них мало людей, а страшатся, что [у людей] мало покоя. Ведь при соразмерности [распределения] не бывает бедных, при гармонии [в обществе] не заметно нехватки людей, а когда спокойно, не бывает опасностей».

То есть, другими словами, пусть скудно, но справедливо; так, чтобы не разгорались алчность и зависть. Пусть немного, зато внутри не имеющей разрывов сети

гармонично работающих социальных и семейных связей. Тогда все спокойно, а когда население спокойно, то и правителю опасаться нечего.

При этом для материальных благ не предусматривается никакого обобществления — просто соразмерность распределения.

А еще — даже слова нет о каком-либо принуждении со стороны начальства. Просто все самостоятельно, рутинно исполняют те привычные, естественные обязанности, что соответствуют месту каждого в семейной или социальной иерархии.

Или:

«Цзы-гун спросил, как править. Учитель ответил: “Так, чтобы было достаточно пищи, достаточно военной силы и народ доверял”. Цзы-гун спросил: “Буде возникнет нужда отказаться от чего-либо, с чего из этих трех начать?” Учитель сказал: “Отказаться от достатка военной силы”. Цзы-гун спросил: “Буде возникнет нужда снова отказаться от чего-либо, с чего из оставшихся двух начать?” Учитель сказал: “Отказаться от достатка пищи. Ибо спокон веку смерти никто не избегал, а вот без доверия народа [государству] не устоять”».

Иерархия приоритетов для тех, кто управляет страной, здесь обозначена с абсолютной жесткостью. Но это высказывание следует рассматривать, на мой взгляд, только в паре с предыдущим. Семья только тогда и доверяет ее главе, а народ только тогда и доверяет правителю, когда те в первую очередь заботятся о справедливости распределения материальных благ и гармонии человеческих отношений среди тех, кто им вверен Небом. Добиться доверия нельзя, добиваясь его специально. Доверие возникает само собой, когда верховная власть справедливо управляет общим хозяйством и ХОТЯ БЫ НЕ МЕШАЕТ функционированию уже существующих, освященных временем, не требующих для своего поддержания никакого внешнего насилия межчеловеческих отношений, что и является гармонией. Вот когда люди знают, что управление имеет эти цели — тогда, и только тогда, в трудную минуту можно пожертвовать и материальным достатком, и оборонным успехом. Доверие все равно останется.

В «Ли цзи» картина идеального общественного устройства описывается несколько более подробно, хотя рядом с объемистыми европейскими трактатами она все равно очевидно проигрывает и в велеречивости, и в пафосе, и в полном отсутствии упоминаний каких-либо врагов идеального порядка, хоть внешних, хоть внутренних. Главными объектами описания являются не обезличенные новации, а обыденные люди. Язык не поворачивается называть предлагаемые образы общественным «ПЕРЕустройством» — это не более чем «БЛАГОустройство» общества, уже существующего. В крайнем случае — возвращение к устройству, некогда существовавшему, но утраченному, испортившемуся от человеческого и в первую очередь управленческого небрежения. Стоит лишь с этим небрежением покончить — и тогда все или хотя бы многое вернется.

«Когда шли по великому пути, Поднебесная принадлежала всем, [для управления] избирали мудрых и способных, учили верности, совершенствовались в дружелюбии. Поэтому родными человеку были не только его родственники, а детьми — не только его дети. Старцы имели признание, зрелые люди — применение, юные — воспитание. Все бобыли, вдовы, сироты, одинокие, убогие и больные были присмотрены. Своя доля была у мужчины, свое прибежище — у женщины. Нетерпимым [считалось] тогда оставлять добро на земле, но и не должно было копить его у себя; нестерпимо было не дать силам выхода, но и не полагалось [работать] только для себя. По этой причине не возникали [злые] замыслы, не чинились кражи и грабежи, мятежи и смуты, а люди, выходя из дому, не запирали дверей. Это называлось великим единением».

Таков предельный идеал. Для современного авторам «Ли цзи» общества — это в чистом виде утопия, хотя обнаруживается она не на далеком острове и не в неопределенном грядущем, но в собственном прошлом. И уже хотя бы поэтому в ней нет ничего противоземного, искусственно выдуманного, сконструированного чисто по теории и навязанного силком. Ее следует иметь в виду как непреходящий, обладающий абсолютной ценностью нравственный и социальный ориентир.

Однако в реальной устроительной деятельности следует придерживаться несколько иной механики.

«Ныне великий путь скрылся во мраке. Поднебесная стала достоянием [одной] семьи. Теперь родные для каждого — только его родственники, а дети — только его дети. Добро и силы [берегут] для себя. У больших людей наследование стало нормой, стены и ограды, рвы и запруды стали [их] крепостью. Путеводными нитями стали ритуал и долг. С их помощью упорядочивают [отношения] государя и подданных, связывают родственными чувствами отцов и детей, дружелюбием — братьев, согласием — супругов. С их помощью устанавливают порядок, намечают границы полей и общин, возвеличивают мужественных и разумных, наделяют человека заслугами. Их используют в своих замыслах, ради них поднимают оружие. Среди... благородных мужей не было ни одного, кто бы не почитал ритуала. С ним они сверяли свою справедливость, на нем строили свою верность, проверяли вину, узаконивали человеколюбие, учили уступчивости, являя тем самым народу свое постоянство. Если кто не следовал бы ему, он потерял бы свой престол, ибо люди почли бы его сущим бедствием. Все это и называется малым умиротворением».

Другими словами, в утопическом состоянии великого единения все хорошее происходило вообще само собой, безо всякого не то что насилия, но даже просто какого-либо внешнего по отношению к каждому из людей регулирования. Вопрос о возможности реставрации такого состояния общества остается открытым, но, во всяком случае, эта возможность если и сохраняется еще, то косвенно ставится в полную зависимость от морального состояния самих людей. А вот для практически достижимого благоустройства необходимо регулирование, необходимы официальные, всем известные и всеми признанные общие критерии оценки плохого и хорошего.

Категории ритуала (*ли*) и долга (*и*) — одни из наиболее многозначных в конфуцианской теории. В самом общем и сжатом виде можно сказать, что ритуал, или нормы поведения — это четкие, не оставляющие особого простора для вариаций правила, согласно которым с учетом своего положения и положения своего визави в каждой данной социальной ячейке (семье, учреждении, соседской общине) и в каждой данной ситуации (полевая страда, похороны, получение должности) должен себя вести воспитанный, благонамеренный член общности. Долг же — это внутренний императив, который велит вести себя именно в соответствии с *ли*, а не иначе, не по личному произволу.

Однако всякому человеку, чтобы быть в состоянии соблюдать *ли*, надо обучиться ритуалу хотя бы на чьих-то авторитетных примерах.

Начинается все, разумеется, с самого верха. Если во главе государства не стоит совершенномудрый монарх, с полной адекватностью воспринимающий веления Неба и способный претворить их в конкретной управленческой практике, ни о каком общем благополучии вообще не приходится говорить. Первым и главным условием созидания социальной гармонии является надлежащий правитель. Его появление от людей зависит в чрезвычайно малой степени, это воля Неба, это судьба.

Но даже самому совершенному правителю нужны помощники. Проводники его воли. Люди, ответственные за непосредственное проведение его распоряжений в жизнь. Ответственные за передачу примера непосредственно населению.

Для исполнения этой высокой роли тоже нужны совершенно специфические люди, достоинства которых отнюдь не являются врожденными, но при наличии определенных задатков воспитываются в процессе тяжелого и упорного труда по самосовершенствованию.

Концепция совершенного мужа (*цзюньцзы*) является одной из краеугольных в учении Конфуция. Разнообразными характеристиками *цзюньцзы* «Лунь юй» просто изобилует.

«Из Пути совершенного мужа [Цзы-чан] обладал четырьмя качествами: его поведение отличалось достоинством, он служил вышестоящим с почитательностью, взращивал народ с милосердием и заставлял народ [делать только] необходимое».

«Совершенный муж [вначале должен] завоевать доверие [народа]. Только после этого он может понуждать народ. [Если же совершенный муж станет делать это], не завоевав доверия, то [народ сочтет это] угнетением. Совершенный муж [вначале должен] завоевать доверие [своего государя]. После этого он может выступать с критикой [своего государя. Если же он сделает это, еще] не завоевав доверия, то государь сочтет [его критику] поношением».

«Не служить — это означает не соблюдать свой долг. Если принципы взаимоотношений между старшими и младшими не могут быть отменены, то как могут быть отменены должные принципы взаимоотношений между государем и подданными? ...Служба для совершенного мужа — это выполнение его долга».

«Совершенный муж помогает нуждающимся, а не увеличивает достояние богатых».

«Совершенный муж почителен и не допускает ошибок. Если он с уважением относится к другим людям, соблюдая при этом надлежащие нормы поведения, то тогда для него в пределах четырех морей все люди — братья».

«Цзы-лу задал [Конфуцию] вопрос о совершенном муже. Учитель ответил: “Совершенствуя себя, практикую почитательность”. [Цзы-лу вновь] спросил: “И этого достаточно?” [Учитель ответил:] “Совершенствуя себя, приноси покой другим”».

«Совершенный муж ест не для того, чтобы насытиться, и живет не для того, чтобы обрести покой. Совершенный муж умен в делах и осторожен в словах. Он стремится к общению с теми, кто обрел Путь, чтобы исправлять себя. О таком человеке можно сказать, что он любит учиться».

«Совершенный муж старательно закладывает основы своей личности. ...Что же касается почитательности к родителям и уважительного отношения к старшим родственникам, то разве не из этих принципов слагаются основы гуманности совершенного мужа?»

Эти цитаты можно множить и множить, но и так уже ясно видны основные параметры личности идеального управленца.

Он уважает себя, сознает свою значимость и свой масштаб, бережет это самовосприятие, он ни в коем случае не бессловесный исполнитель приказов. Он относится к государю или вышестоящему начальнику почитательно, всегда готов следовать их повелениям, но только если они не идут вразрез с его чувством ответственности, с его бережным отношением к тем, кто вверен его попечению. Сбережение народа для него не пустой звук и не красивые слова; это конечная практическая цель любой управленческой деятельности. Стараясь дать народу прежде всего покой, для себя он покоя не ищет. Дело для совершенного мужа прежде всего, и только своей эффективностью, результативностью на поприще служения государю и народу он доказывает свое право как на принуждение народа к тому, что он считает правильным, так и на критику государя, когда он полагает государя неправым. При всем при том не служить он вообще не может; реализовать себя как личность со-

вершенный муж должен (или, по крайней мере, всячески должен пытаться это сделать) только на поприще государственного служения. Материальные соблазны им преодолены в результате личных духовных усилий; такое преодоление является одной из важных составляющих его самоуважения, и он ценит возможность уважать себя куда более возможности стяжания. Корысть для него не существует; долг для него — все. Ровно так же он относится и материальному достатку тех, кто ему вверен: ни у кого нарочито ничего не отнимая, он тем не менее в имущественных вопросах в целом всегда на стороне тех, кто беднее. Он тоже ощущает братство всех людей на свете, но не потому, что кто-то высший принудительным образом перепутал всех детей и родителей; это братство для него — братство по духу. Оно обеспечивается двумя взаимосвязанными факторами: постоянным внутренним уважением к окружающим и тем, что вовне оно реализуется через соблюдение правил поведения, оформляющих отношения не столько чужих людей, сколько родственников. И наконец, совершенный муж постоянно совершенствуется в своем совершенстве. Его совершенство — не статичное, раз навсегда достигнутое стылое состояние, но динамический процесс, нуждающийся в постоянном, определенным образом ориентированном духовном усилии. При этом оно, исходно совершаясь в душе, ни в коем случае не может душой и ограничиваться; самосовершенствование подразумевает непрерывную практику. Практиковаться следует в оттачивании почтительного, но при том неподобострастного отношения к вышестоящим; практиковаться нужно в осуществлении такого управления нижестоящими, которое не доставляет им лишних хлопот, но улучшает их качество жизни, не уменьшает, а увеличивает их покой. Совершенный муж, наконец, постоянно стремится к общению с теми, кто идет тем же путем практического самосовершенствования, и это общение благотворно для всех, кто в него включен: оно совершенствует каждого, каждый оттачивает и шлифует себя на каждом. Совершенный муж — это в огромной степени человек, сам создающий себя. Но он не может возникнуть и развиваться сам по себе, в изоляции, как перст; он — прежде всего член своей семьи, и именно естественно возникающая в семье почтительность к родителям и уважительное отношение к старшим родственникам, внутрисемейная взаимопомощь, в которой у старших и младших свои роли и функции, служат первичными и базовыми мотивациями к соблюдению социального долга и совершенствованию умения его исполнять в повседневной деятельной жизни.

Не будь семьи с ее естественной, освященной веками спаянной иерархией, в которой каждый занимает свое место, свою ступень, имеет свою зону ответственности и именно в соответствии с ними вносит свою лепту в общее благосостояние, все замечательные характеристики совершенного мужа могли бы остаться не более чем пустыми благопожеланиями. Более того, всякая попытка разрушить семью или уравнять в ней старших с младшими (что, собственно, и было бы равносильно разрушению) и сделала бы их пустыми благопожеланиями. Без семьи с ее естественной, самовоспроизводящейся иерархией от всех этих замечательных качеств остались бы одни слова.

Культ предков сложился в Китае задолго до Конфуция. То же можно сказать и о семейных структурах. Конфуций продлил им жизнь тем, что избрал средством для превращения из теории в практику процесса выращивания совершенных мужей. Впитываемые с детства стереотипы отношений и действий были обобщены как общесоциальные.

Перечень иллюстрирующих эти положения цитат из «Лунь юя» лучше всего начать, вновь обратившись к последней фразе из предыдущей группы. В полном виде она выглядит так:

«Среди людей мало таких, кто, будучи почтительным к родителям и уважительным к старшим родственникам, был бы склонен выступать против вышестоящих, и совсем нет таких, кто, будучи не склонен выступать против вышестоящих, любил бы устраивать беспорядки. Совершенный муж старательно закладывает основы своей личности. ...Что же касается почтительности к родителям и уважительного отношения к старшим родственникам, то разве не из этих принципов слагаются основы гуманности совершенного мужа?»

Невозможно не сказать несколько слов о термине, который в процитированном переводе передан как «гуманность». Это один из самых важных терминов конфуцианства, и смысл его чрезвычайно многолик; его интерпретациям посвящено немало прекрасных работ. Оптимальным, на мой взгляд, из всех разнообразных версий его перевода является наше слово «человеколюбие»; помимо прочих достоинств, оно напрямую учитывает одно из основных определений, данных термину самим Конфуцием:

«Фань Чи спросил о человеколюбии. Учитель ответил: „Любить людей“».

Но и этот перевод — лишь наименьшее из зол. Иероглиф «человеколюбие» (*жэнь*) состоит из двух частей, левая значит «человек», правая — «два». Причем в отличие, скажем, от двойки римской, где две черты стоят каждая сама по себе в состоянии разобщенного самостоятельного равенства, китайская двойка пишется как две черты горизонтальные; она уже сама по себе иерархична, ибо одна ее черта ближе к Небу, другая — к Земле (Ян — Инь). И именно в силу иерархичности она составляет взаимодополняющее единство, где у каждого из двух — своя социальная роль. При всем богатстве и разнообразии смыслов термина *жэнь* основная его подноготная — исполнение каждым из двух членов иерархической пары своих обязанностей по отношению друг к другу. Это, в сущности, и есть любовь к людям. Именно так она реализуется. Человека в одиночестве, самого по себе, нет. О том, любит ли такой человек людей, добр ли он, гуманен ли — просто бессмысленно говорить, для этого не найдется слов. Человек всегда включен в какую-нибудь иерархию — со стороны животворных влияний Неба или со стороны плодоносной отзывчивости Земли.

А ведь китайцы в свое время, наверное, могли бы сконструировать знак для обозначения понятия *жэнь*, просто поставив рядом два одиночных иероглифа «человек». Это очень похоже оказалось бы на римскую двойку. Но отчего-то язык, повинувшись изначальным, базовым предпочтениям культуры и сам потом оказывая на нее влияние во все последующие века, пошел по иному пути и породил иероглиф, обозначающий не просто «два человека», но «человек в паре», «человек во взаимодействии с другим человеком»...

Да, но на пути даже простенького нравственного требования «любить людей» сразу встают эгоизм, эгоцентризм, себялюбие. Именно поэтому Конфуцию пришлось разъяснять свой термин раз за разом, причем порой — довольно специфическим образом:

«Янь Юань задал Учителю вопрос о гуманности. Учитель сказал: „Преодолей себя и обратись к ритуалу“».

То есть человеколюбие — не абстракция. Это совершенно конкретное, для каждой ситуации своеобразное исполнение своих подразумеваемых высокой этикой обязанностей по отношению к тому или к тем, в отношении с кем ты в данный момент оказался включен. Человеколюбие старшего — забота о тех, за кого он в ответе. Человеколюбие младшего — отклик на заботу, почтительное и творческое, от всей души, повиновение старшему и мягкое увещание его, если младшему кажется, что старший в чем-то неправ. Порой для этого надо наступать на горло своим

сиюминутным прихотям, пристрастиям, порывам. Не преодолевая себя, невозможно любить людей. Но преодолеть себя можно только самому. Ни стражи, ни сифогранты, никто другой за тебя этого не сделает. Извне можно только сломать — но тогда уже ни о какой любви речи и быть не может.

Первичным станком для вытачивания человеколюбия на всю оставшуюся жизнь и является для каждого человека, на каждом социальном уровне, его семья.

«Учитель сказал: „Когда юноши находятся дома, они должны быть почтительными к родителям. Когда же они выходят из дома, они должны уважительно относиться к старшим“».

«Учитель сказал: „Служа родителям и [видя, что они не правы], убеждай их с мягкостью. Не изменяй почтительности, когда видишь, что они проявляют упорство, и не ропщи, когда устанешь“».

«Цзи Кан-цзы спросил: „Как следует поступать, чтобы сделать народ почтительным, верным и старательным?“ Учитель ответил: „Общаясь с народом, сохраняйте внушительный вид, и тогда он станет почтительным. Если вы будете придерживаться сыновней почтительности по отношению к своим родителям, с любовью и заботой относиться к своим младшим, то тогда народ станет верным. Если вы будете выдвигать умелых и поучать неумелых, то тогда народ станет старательным“».

«Некто сказал, обращаясь к Конфуцию: „Учитель, почему Вы не занимаетесь государственным управлением?“ Конфуций ответил: „...Сыновняя почтительность! Только сыновняя почтительность в ваших отношениях с родителями. Будьте дружелюбны со своими братьями и распространяйте подобное отношение на государственное управление. Ибо [семья] также является управлением“».

В учении Конфуция термин *цзюньцзы* («совершенный муж») фактически является обозначением идеального управленца. Временами он может не служить в государственном аппарате в силу тех или иных субъективных или даже объективных обстоятельств (например, как сам Конфуций, не найдя общего языка с современными ему правителями), но главное его жизненное стремление — занимать государственный пост и добросовестно, ответственно, инициативно исполнять сопряженные с ним обязанности, принося пользу народу.

Пользуясь хотя бы теми высказываниями Конфуция, что приведены выше, можно попытаться реконструировать систему стимулов, подвигающих совершенного мужа к его трудной, но благородной и абсолютно необходимой деятельности.

Идеальный управленец мотивирован:

— любовью к своей семье и приносящим удовлетворение прежде всего ему самому привычным выполнением семейных обязательств, соответствующих его месту в семейной иерархии;

— самоуважением и стремлением его сохранить;

— самосовершенствованием;

— стремлением к творческой самореализации;

— желанием приносить пользу;

— личным участием в коллективном улучшении мира;

— долгом;

— преодолением примитивно эгоистичных побуждений, прежде всего — своекорыстия.

Другими словами, идеальный управленец во всех проявлениях своих, сызмальства и во все большей и большей степени по мере самосовершенствования, обязан был в своих отношениях с внешним миром становиться:

— идеальным семьянином;

- идеально бережным ко вверенному его заботам населению управленцем;
- идеальным бессребреником⁷.

Ничего нереального и не свойственного человеческой природе в перечне мотиваций *цзюньцзы* нет. Но, конечно, они присущи в первую очередь очень хорошему и очень порядочному, очень хорошо воспитанному человеку. С другой стороны, эти стимулы сами по себе имеют мощную воспитательную составляющую и способствуют улучшению человека, увеличению степени его порядочности. Они целиком погружены в реальный мир, но при этом отнюдь не подчинены ему и его превратностям, его темным сторонам. Напротив – они бросают этим превратностям вызов. А такой вызов для многих людей сам по себе служит прекрасным стимулом жизненной активности.

Говоря по совести, любой современный работник, занимаясь своим делом, рад-радешенек был бы иметь такой спектр движущих мотивов.

Человек увлечен своей конструктивной деятельностью, в процессе ее успешного осуществления он сам делается все лучше, он ощущает от нее удовлетворение, гордится собой и уважаем другими, если добивается результата. Мотивационная сердцевина бьется в его груди и требует определенного выхода в поведении, а выход этот, в свою очередь, оформлен традиционными стереотипами коллективистского поведения. Это в принципе уже само по себе может обеспечить статистическое преобладание социально желательного поведения над социально нежелательным. Только в такой ситуации противодействие уголовного права отступлениям от надлежащего, этически полноценного поведения может быть сколько-то эффективным.

Конечно, в процессе приспособления учения Конфуция к реальности и превращения его в господствующую государственную идеологию оно претерпело немало трансформаций. Ему пришлось примириться со многим, ему не свойственным, и включить его в себя как свое. В частности, формализация бюрократической структуры привнесла строго нормированные размеры жалованья и ранги иерархии; реальный чиновник оказался мотивирован вдобавок ко всем высоким побуждениям еще и неизбежными для всякой реальной административной структуры повышениями и понижениями по службе, увеличениями и уменьшениями жалованья.

Это, кстати сказать, ни в коем случае нельзя считать однозначно негативной трансформацией. Благодаря возникновению формальных критериев любой служащий получал чрезвычайно важную для всякого осмысленно действующего работника возможность прогнозировать свою карьеру, прикидывать, какие его действия могут способствовать его служебному и социальному росту, а какие – наоборот. Никакой реальный управленческий аппарат вне системы таких критериев работать не может; перефразируя великого нашего полководца Суворова, можно сказать: каждый управленец должен понимать свой маневр. Только это позволяет ему хоть в какой-то мере быть хозяином своей судьбы; а если человек лишен такого чувства, он, вне зависимости от степени трудовой загруженности и уровня комфортности быта, непременно ощущает себя рабом. И, разумеется, будет с этим рабским положением бороться при любой возможности и любыми средствами – пусть даже чисто пассивно (отлынивая, халтуря, а то и, чтобы себя порадовать, нарочно вредя, если никто не видит). Какое уж тут общее благо!

Кроме того, именно благодаря привнесению формальных критериев карьера конфуцианского управленца стала мощным, уникальным социальным лифтом, работающим в принципе понятно, прозрачно, прогнозируемо и единообразно. Крестьянский сын мог дослужиться до министра, и, хотя подобные случаи все же были не правилом, а редкостью, само сознание, что такое ВСЕ-ТАКИ БЫВАЕТ, не-

сомненно, вдохновляло и создавало совершенно особую атмосферу. Причем, получая, скажем, седьмой ранг, любой управленец уже мог прикидывать, через сколько лет и при каких условиях он, скорее всего, получит шестой и пятый, а за что может оказаться разжалован до восьмого или девятого. Это тоже следует отнести скорее к положительным, нежели к отрицательным трансформациям.

Конечно, творческая составляющая, особенно на нижних этажах бюрократии, постепенно оказалась минимизирована, значимость же формальной исполнительности возросла. Подписать стремление чиновника оставаться хорошим стало еще и уголовное право, под страхом тех или иных наказаний пытавшееся не дать ему становиться плохим. Постоянная глухая борьба происходила на границе взаимодополнявших друг друга конфуцианского мировоззрения и императорской идеологии, претендовавшей на куда большую сакрализацию императорской власти и самой персоны императора, а следовательно — куда большую независимость владыки от мудрых, честных и чуждых лести *цзюньцзы*, чем предполагалось поначалу самим Конфуцием.

И тем не менее конфуцианская теория и сформированная ею этическая картина мира встретили реально складывающуюся бюрократию как родную. В них заранее были предусмотрены все основные чиновничьи «хорошо» и «плохо». Культура была готова к возникновению и развитию нового явления, более того — она его ждала. И все, что приносило с собой разрастание, усложнение и обособление бюрократии, сразу словно бы само собой раскладывалось по уже расставленным этическим полочкам. Оставалось лишь подтянуть на соответствующий уровень уголовное право с тем, чтобы систематически и точно отсекал все, что на этих полочках не умещается.

Совершенный муж, идеальный управленец, сам по себе стал едва ли не основным элементом китайской утопии правления, утопии превращения мира сущего в мир должный. Мало того — он оказался наиболее проработанным, наиболее живым, наиболее эмоционально насыщенным ее элементом. Это-то и позволяло китайским мыслителям описывать сам должный мир столь сжато и обобщенно. Достаточно было наметить основной вектор преобразования: обихоженные, сытые старики, доверяющие друг другу деятельные мужчины во цвете лет, вдовы и бобыли, имеющие убежище и пристанище, здоровые дети, и все при том выполняют свои присущие именно их положению обязанности и пользуются подобающими льготами (скажем, льготами несовершеннолетних, вдов, стариков). А сами организационные и технические тонкости решались бы под вдохновляющим влиянием совершенномудрого правителя идеальными управленцами в рабочем порядке. На то эти управленцы и идеальны.

Вспомним теперь, что главный социальный идеал был отнесен Конфуцием в прошлое. Это значит, идеальное прошлое должно было играть роль образца для созидания идеального будущего.

Поскольку прошлое уже когда-то было, то оно, хотя бы в принципе, должно поддаваться более или менее полному восстановлению. Для реставрации идеала не нужно произвола, не нужно ничего выдумывать и насильно вдавливать в мир искусственную отсебятину. Не нужно ничего ломать, выкорчевывать, сжигать. Достаточно отмыть и очистить от наносов то, что существует.

Конфуцианская утопия не заменяет реального мира, но мыслится не более чем его рафинированием.

Этот процесс, который, конечно же, инициируется и возглавляется совершенномудрым правителем, на стадии реализации претворяется в конкретную управленческую практику совершенными мужами. Идеальный мир ниоткуда не приле-

тает на огненных крыльях, но вырастает из реального под воздействием повседневной управленческой деятельности идеальных управленцев.

Но ведь и сами эти управленцы возникают из обыкновенных людей обыкновенного мира под воздействием преданности семейным ценностям, учебы, воспитания, самосовершенствования и преодоления себя в результате правильно сориентированного образованием и этикой личных духовных усилий.

Утопические управленцы вырастают из реальных людей.

В процессе их государственного служения из реального мира вырастает утопия.

Получается, на пути к идеальному обществу нет непреодолимых границ.

Принципиальным отличием конфуцианской утопии от европейской было то, что она, по крайней мере в теории, могла быть реализована на базе старого — то есть обыденного реального — мира с помощью созидательной управленческой деятельности идеальных управленцев. А те, в свою очередь, тоже могли в более или менее достаточном для заполнения управленческого аппарата количестве возникать в старом, еще не преобразованном мире исключительно благодаря индивидуальному усвоению соответствующей идеологии и реализации ее требований в повседневной жизни, в обыденных отношениях с окружающими.

Пропасть одолевалась в один прыжок.

Возвращаясь к весьма для меня существенной проблеме перспективы и ее связи с полноценностью человеческих положительных качеств риску заметить еще и вот что.

Хорошо известно, что китайская история делится на так называемые династийные циклы.

К власти приходит тот или иной род, он образует — надолго ли, нет ли — правящую династию. Как правило, в первые десятилетия династия на подъеме: развивается экономика, растет благосостояние, осваиваются периферийные территории, подавляется сепаратизм. В это время управленческий аппарат, хотя превратить людей в ангелов не способна никакая идеология и никакая религия, в целом работает не за страх, а за совесть. Этим, собственно, и обуславливается успех.

Раньше ли, позже, но страна достигает пределов роста. Для каждой эпохи специфика таких пределов своя, и соотносительная значимость тех или иных ограничивающих компонентов может варьироваться — то ли это географические пределы (горы, пустыни, океан), то ли пределы, положенные оборонными усилиями соседей, то ли говорит свое веское слово вмещающий ландшафт, неспособный прокормить возросшее за десятилетия процветания население. Начинается закат. В это время, как ни старайся, сколь рачительно и заботливо ни руководи, блокировать негативные тенденции оказывается невозможно по самым объективным причинам. Тогда у управленцев, будь они трижды *цзюньцзы*, неизбежно опускаются руки. И доминировать начинают корыстные, эгоистичные мотивации — просто потому, что любые иные теряют видимую результативность, лишаются смысла. Растет коррупция, вспыхивают бунты и крестьянские восстания, расцветают тайные общества, сепаратизм дробит страну. Экономика разваливается, ирригационные сооружения приходят в упадок, голод и междоусобицы уменьшают население — и очередному объединителю, чтобы хоть как-то стабилизировать положение и превратить катастрофу во всего лишь кризис, приходилось все начинать сначала.

Но образ идеального общества светил ему тот же самый, что и его предшественникам двести, триста, пятьсот лет назад. И какую бы тактику ни диктовал ему век, стратегические цели вновь ставились все те же, простые, незамысловатые и уже поэтому — предельно человеческие. Чтобы старые могли жить в покое, чтобы друзья доверяли друг другу и чтобы было кому заботиться о малых детях.

Полагаю, не в последнюю очередь поразительная преемственность китайской культуры и государственности обусловлена тем, что на протяжении двух тысяч лет после каждой судороги китайская элита раз за разом отстраивала свою утопию — и ничто иное. В меру сил и разумения пыталась вернуть воспетую Конфуцием как социальный идеал благословенную спокойную древность. И не потому, что эта элита была консервативна, близорука, враждебна прогрессу и так далее. Эти понятия просто не имеют в данной ситуации смысла, они — из чужой жизни.

Уцелевшие в хаосе краха отцветшей династии и последовавшего за ним тотального разброда управленцы и их родственники, ведомые никуда не девшимися, впитанными вековой традицией мотивами человеколюбивой реставрации идеальной древности и благородной самореализации на стезе государственного служения, едва лишь различали среди бьющихся друг с другом военных лидеров того, кто мог бы, согласно их критериям, претендовать на роль наконец-то вновь появившегося совершенномудрого монарха, сплачивались вокруг него и вновь принимались за свою прерванную кризисом нескончаемую работу. И для них не существовало более гуманного и прогрессивного образа идеального мира, чем тот, что был сформулирован конфуцианством много веков назад. Они снова строили ту же самую утопию. И что самое главное — при всех различиях, зависевших от конкретики той или иной эпохи, строили ее, во-первых, с удовольствием, с чувством, что называется, глубокого удовлетворения, а во-вторых — успешно.

Конфуцианскую утопию, во-первых, можно было построить, а во-вторых, в ней можно было жить.

Раз за разом она оказывалась оптимальным социальным и административным устройством, способным обеспечить данной культуре в данном ландшафте и при данном внешнеполитическом раскладе наилучшие шансы на продление себя в будущее.

Всякая попытка реализовать европейскую утопию и во времена давние (в стиле, скажем, Кальвина или Мюнцера), и в недавние, памятные нам куда лучше, падала на грешную реальность, как атомная бомба: все выжжено, все оплавлено, но зато потом долго светится благодаря наведенной радиации. Всякая попытка реализовать конфуцианскую утопию от цикла к циклу была полной воды лейкой в руках садовника, чей сад начал было пересыхать.

Создание КНР в 1949 году — с достаточно высокой степенью абстрагирования, конечно — можно интерпретировать как очередную попытку с учетом реалий принципиально новой эпохи вновь отстроить традиционную утопию; традиционную, насколько это ныне возможно. Полный драматических зигзагов (принимавших в том числе вид критики Конфуция в последние годы правления Мао Цзэдуна) путь восхождения оказался тем не менее вновь на редкость успешным, и окрыляющее чувство перспективы, чувство роста, чувство осмысленности и результативности управленческих усилий, несомненно, сыграло в этом успехе свою роль.

Успех этот, принявший в том числе и форму беспрецедентного для Китая роста благосостояния, чреват, однако, размыванием управленческих добродетелей. Особенно это опасно ввиду приближения к пределам роста, дальше и выше которых нынешний мир с его экологическими, геологическими, экономическими и политическими реалиями взлетать просто не позволит. Управленческий аппарат Китая, похоже, уже начинает захлестывать корыстными мотивациями. На мой взгляд, ситуация там начинает напоминать ситуацию в СССР в 80-х годах: в основном все промежуточные, вспомогательные цели достигнуты, малое процветание построено, но именно достижение промежуточных материальных целей начинает провоцировать настроения, согласно которым главная-то цель является даже не миражом, но

просто выдумкой. В этих условиях вспомогательные материальные цели очень легко могут выдвинуться на положение главных и вечных, а тогда ураганное нарастание мотиваций личной корысти в управленческой среде уже невозможно будет ввести в приемлемые рамки.

По сути, единственным реальным средством парировать эту тенденцию без насилия, с относительно щадящим применением уголовно-карательных методик может стать лишь открытие выхода в какой-то новый простор, настолько заманчивый для всех, что по сравнению с ним мечты о немедленном личном обогащении хотя бы для той части управленцев, что минимально достаточна для эффективного управления страной, просто померкнут. Прежде в Китае так бывало уже не раз.

Однако в наше время среди препятствующих этой тенденции факторов возник еще один, чрезвычайно мощный. Он не известен многовековой восточной традиции, он нов для нее, и потому в ней не предусмотрено ни малейших органичных и опробованных средств его преодоления. Этот фактор — агрессия западной идеи, согласно которой всякая мало-мальски общая мечта уже сама по себе есть нарушение прав человека, тоталитаризм и реки крови, а единственной достойной современного человека мечтой должно быть лишь личное, безотносительно к судьбам семьи, народа и страны самоутверждение и связанный с ним материальный и статусный личный успех.

Корни этой идеи понятны. Многократно обжегшись на собственных утопиях, западная цивилизация теперь дует на любую воду. И сама не замечает, что уже давно обеспечивает собственную жизнеспособность отнюдь не тем, что более всего в себе ценит, но попытками насильственной глобальной реализации своей нынешней унылой и тусклой фантазии, слегка украшенной фиговыми листочками лозунгов борьбы с тиранией в стиле Мора и Кампанеллы. Она, эта фантазия, сводится к планетарному господству общества самоутверждающихся всяк на свой лад изолированных индивидуумов, не связанных между собою никакими обязательствами, кроме финансовых, и никакими отношениями, кроме отношений купли-продажи, производства-потребления. Только навязывание миру этой системы придает сейчас западной цивилизации хоть какой-то смысл — по крайней мере, для нее самой.

Положение усугубляется тем, что такая система ценностей **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** обеспечивает человеку преимущества в гонке за личным успехом, и как только этот успех становится главным жизненным смыслом — человек обречен ее принять. Но общей положительной перспективы от этих индивидуальных успехов, как бы они ни были многочисленны, отчего-то не прибавляется. Возможно даже — наоборот. Все более ожесточенный мордобой в толпах на распродажах, тупая самоуверенность консюмеризма, у которого на любую рецессию ответ один: затянуть пояса потуже и покупать побольше; апология уродств, стволовые клетки для богатеев, переименование папы и мамы в родителя А и родителя Б да легализация педофилии — вот и весь предел мечтаний, вот и все светлое будущее, которое современная евро-атлантическая цивилизация в состоянии предложить.

Да, мы прекрасно знаем, что в периоды кризисов всякая коллективистская идеология может показаться — а отчасти и впрямь оказаться — оправданием и питательной средой тирании. Но верно и то, что лишь она способна обеспечивать приток в управленческий аппарат хотя бы минимально необходимого количества администраторов, стремящихся туда не только ради личного обогащения.

Идеология личного успеха на это не способна вовсе.

Практически очевидно, что российская культура, при всей своей иногда кажущейся и частенько декларируемой самобытности, оказалась в этом смысле вполне

европейской. Надорвавшись в попытке реализовать древнюю западную идею коммунизма на последнем дыхании своего не менее древнего общинного своеобразия, ныне она так уже и не смогла пока предложить никакого ненасильственного механизма противодействия агрессивной мотивационной трансформации.

Сможет ли демонстрировавшая до сих пор поразительную устойчивость древняя культура Китая открыть какой-то новый простор, предложить какую-то новую перспективу, которая смогла бы сделать китайских управленцев более или менее иммунными к доминированию грезы личного самоутверждения и обогащения, мы увидим уже в ближайшие годы.

-
- ¹ Ныне считается хорошим тоном полагать, что вдобавок непременно еще и с психическими отклонениями. Нормальный, мол, человек о всяких глупостях — как мир осчастливить, как сделать человека лучше — мечтать не станет. Потому что единственная мечта любого нормального — не сесть в лужу и не дать себя обскакать.
- ² То бишь что считаем справедливым не мы — заведомая несправедливость, а чужие законы — нам не указ, они заведомо либо неблагоприятны, либо искажены (то есть работают не в нашу пользу). Мы будем делать то, что соответствует нашей справедливости, то есть что хотим. Но любая попытка ограничивать нас по соображениям вашей справедливости — уже предлог для начала против вас военных действий. Звучит более чем современно...
- ³ В Утопии — плюрализм религий, оттого и всевышних много.
- ⁴ В свете всего вышеописанного упоминание о свободе особенно умиляет. Впрочем, речь ведь идет о свободе государства... Возможно, в том числе — и о его свободе освобождать другие государства от тиранических режимов.
- ⁵ В разделе «Наши авторы» о В. Цапине в журнале говорится следующее: «Род. в 1941 в Москве. Окончил физический факультет МГУ. Работал в НИИ ядерной физики МГУ. С 1991 года живет в США».
- ⁶ Если перевести все это пиршество духа на обыденную речь, получим: уехал в Америку — стало быть, мыслишь полноценно. Непредвзято, адекватно физическому миру, с глубоким абстрагированием, критически к стереотипам... ну, и так далее.
- ⁷ Бессребреничество *цзюньцзы* не подразумевало аскетизма, нарочитого стремления к материальному убожеству и прочих добродетелей, свойственных, например, христианским праведникам. Оно не связывалось ни с какой чрезмерностью, ни с каким переформатированием человеческой природы. Просто среди движущих мотивов *цзюньцзы* стремления к достатку и комфорту либо не было, либо оно занимало сугубо подчиненное положение. Что-то есть — хорошо, пусть будет; чего-то не стало — не беда, пустяки, хлопот меньше. Порадовать *цзюньцзы* подарком вполне было можно (особенно если это оказалась бы какая-то древняя рукопись или картина), но вот повлиять подарками на его поведение и на принимаемые им решения — совершенно невозможно.

Владислав БАЧИНИН

TOLSTOYEVSKY-TRIP

Опыты сравнительной теологии литературы

Опыт девятый

Настасья Филипповна и Анна Аркадьевна, или Теология зла

Мрак, падающий на душу

Достоевский поместил в своем «Дневнике писателя» очерк о романе «Анна Каренина». В нем он писал: «Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределены и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей *окончательных*, а есть Тот, который говорит: «Мне отмщение и Аз воздам». Ему одному лишь известна *вся* тайна мира сего и окончательная судьба человека... Зло, овладев существом человека, связывает каждое движение его, парализует всякую силу сопротивления, всякую мысль, всякую охоту борьбы с мраком, падающим на душу...»

Существует мнение, будто «Анна Каренина», где зло опутывает, обессиливает и в итоге убивает главную героиню, — это самый «достоевский» роман Толстого. Если продолжить рассуждения в этом же направлении, то, вероятно, самой «достоевской» повестью Толстого следует назвать «Крейцерову сонату». Объясняются подобные утверждения в первую очередь тем, что в «Анне Карениной» главным событием является скандальное самоубийство героини, а в «Крейцеровой сонате» — устрашающее убийство жены ревнивцем-мужем.

Владислав Аркадьевич Бачинин окончил философский факультет Ленинградского государственного университета, аспирантуру Института философии Российской академии наук, доктор социологических наук, профессор. Автор более 700 опубликованных работ по истории религии, философии культуры, социологии литературы, в том числе более 50 книг, среди которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Византизм и евангелизм» (2003), Малая христианская энциклопедия. Т. 1–4 (2003–2007), «Введение в христианскую эстетику» (СПб., 2005), «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому» (LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, Saarbrücken, Deutschland. 2012), «Теология, социология, антропология литературы (вокруг Достоевского)» (2012). Победитель открытого конкурса философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии?», проведенного в 2010 году в связи со 100-летием кончины Л. Н. Толстого Российской академией наук и международным фондом «Знание». Живет в Санкт-Петербурге.

В истории Анны Карениной есть что-то, напоминающее историю Настасьи Филипповны из романа Достоевского «Идиот». В рамках сравнительной теологии литературы их сопоставление имеет определенный смысл и способно привести к некоторым, не совсем тривиальным выводам.

Итак, перед нами два незабываемых образа, созданных гениальными писателями-современниками, две необычайно яркие женские фигуры, две красивые, умные женщины, неординарные личности с сильными характерами. При различии социальных статусов героинь Толстого и Достоевского, обеих сближает скандальный характер тех событий, которые сопутствуют им в романах. Обе они пренебрегают той гранью, которая отделяет поведение, подчиняющееся нормам общественной морали, от поведения, явно ими пренебрегающего. Обе оказались по ту сторону общепринятых приличий, и смерть каждой предстает как дерзкий вызов, как бунт и скандал. Впечатляет сходство их предфинальных жизненных траекторий, когда обе неудержимо скользят по наклонной к трагической гибели. Обе оказываются на краю бездны небытия и с безумной решимостью заглядывают в ее головокружительную тьму, когда сила их жизнелюбивых натур перенаправляется ими же самими, дает задний ход, и в результате воля к жизни превращается в волю к смерти, оборачивается бегством в небытие как в убежище.

Страдания, не ведущие к возрождению

Обе героини пережили ситуации падения. Настасья Филипповна стала жертвой искусственного растлителя Тоцкого. Анна не устояла перед искусительной силой запретной страсти. Разница же заключалась в том, что в падении Настасьи Филипповны было больше беды, чем ее вины, а в падении Анны была только ее вина, поскольку она по своей воле бросилась в водоворот страстей. Если в судьбе Анны трагичен только ее финал, то в судьбе Настасьи Филипповны трагично все, от начала до конца. В ней самой, в ее натуре, характере, поведении, в отличие от внешне благообразной Анны, есть что-то inferнальное. Она с ее невиданной дерзостью и гордыней загадочна, подобно сфинксу, и в этой загадочности много такого, что отдает откровенным демонизмом. Ее поступки непонятны окружающим и почти не поддаются внятным объяснениям. В Анне же нет никакой особой загадочности, и в глазах окружающих почти все, что она делает, вполне объяснимо.

Те глубокие повреждения, которые имеются в личности Настасьи Филипповны, заставляют ее высказывать такие мысли и чувства, которые губительны прежде всего для нее самой. Создается впечатление, будто она сознательно, намеренно не желает находить верных решений в сопутствующих ей коллизиях и конфликтах. Отсюда сопровождающая ее вереница скандалов. Ее поступки почти никогда не попадают в верное, спасительное русло. Она, как бы, нарочно движется наперекор всему — здравому смыслу, нормам приличия, инстинкту самосохранения. Ее как будто окутывает сумрак, и она мечется в нем, не видя ориентиров, пренебрегая верой, надеждой, любовью и, как будто, желая только одного — погибнуть окончательно и безвозвратно.

Судьба Настасьи Филипповны свидетельствует о том, что несчастья, страдания, как таковые, не являются достаточным условием для исправления человека, для его духовного возрождения и спасения. Сама она либо не знает, либо не желает знать тех христианских истин, согласно которым человек, желающий выстоять в этой жизни и приобрести необходимые для этого духовные силы, должен духовно воскреснуть, заново родиться от Святого Духа, через благодать Христа. Когда Достоевский в каторге неимоверно страдал, при нем было Евангелие. Он читал его,

молился, веровал в Спасителя и потому его страдания обрели очистительную силу, а сам он духовно не погиб, но возродился. Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании», хотя и оказавшаяся в очень опасном положении, вставшая на путь, ведущий в никуда, читает Евангелие и потому, несмотря на свое внешнее падение, духовно возрождается. Настасья Филипповна же Евангелия не читает, о Боге практически не вспоминает, ему не молится и потому не может возродиться и гибнет. Анна Каренина также Евангелия не читает и тоже погибает.

Примерно то же самое может происходить не только с личностями отдельных людей, но и с симфоническими личностями целых народов и наций. История последнего столетия свидетельствует, что никакие, даже самые тяжелые и продолжительные страдания не способны их очистить и возродить к новой жизни без покаяний и молитв о спасении, без следования евангельским предписаниям.

Плотский человек

Попытка поставить воспитанную, уравновешенную Анну в один ряд с взбалмошной, истеричной, дерзкой Настасьей Филипповной может кому-то показаться неоправданной. В литературоведении довольно сильна традиция идеализации образа Анны. Вот уже полтора столетия критика относится к ней благосклонно и тем самым влияет на массовое читательское сознание. Для примера можно взять одну из научных монографий, вышедших уже в XXI веке. В ней мы прочтем, что Анна — это воплощение «красоты гармоничного слияния природного и нравственного начал».

Но возникает вопрос: правомерна ли такая высокая оценка личности Анны? Конечно, понятно, что судьба этой яркой женщины, погибшей в вихре бурных страстей, вызывает у читателя сочувствие. Но при чем здесь гармония и нравственность? Если она гармонична и нравственна, то тогда неуместен эпиграф романа «Мне отмщение, и Аз воздам». Разве Бог карает человека за гармонию и нравственность? Не является ли тогда суровое воздаяние проявлением Его жестокой несправедливости? Но Бог не может быть несправедлив. То есть получается, что процитированная выше мысль литературоведа заводит нас в тупик абсурда. Впрочем, секулярное сознание, для которого евангельские аксиомы как бы не существуют, никакого особого тупика здесь не обнаруживает и преспокойно останется на своих позициях. Для него трансцендентная реальность иллюзорна, его собственная картина мира гораздо проще библейской; она антропоцентрична, человек в ней полный хозяин и имеет право двигаться поперек предупреждений несуществующего бога с маленькой буквы. В этом контексте нет Бога, нет греха, нет воздания, а есть лишь страсть, ревность и психология уязвленной женской природы.

Размышляя над образом Анны, нельзя не учитывать, что она вместе с ее братом, милым, обаятельным и, вместе с тем, распутным гедонистом Стивой Облонским, — люди сугубо плотские, душевные и либерально-секулярные. Ни в брате, ни в сестре *духовный человек* не смог ни развиться, ни окрепнуть, ни внятно и твердо заявить о себе, но зато *плотский человек* чувствует себя в каждом из них чрезвычайно комфортно.

Особенность плотского человека состоит в том, что его природа постоянно мешает ему приблизиться к Богу, оттесняет его от Бога. У него нет тех внутренних духовных ресурсов, которые позволяли бы ему противостоять плотским соблазнам. Испытания оказываются ему чаще всего не по силам, превращают его в надломленное, несчастное существо, гибнущее из-за собственной духовной немощи. Не оттого ли Анна, при всем, казалось бы, благополучии ее отношений с Вронским, который

ее любил, ею дорожил и не собирався ей изменять, умудрилась загнать себя в состояние глубокой депрессии, из которой так и не смогла выйти?

Анна очень похожа на своего брата. Она не снисходит до того, чтобы декларировать свои воззрения, но ее, как и Стиву, не интересуют высокие материи и вопросы религии. Ее взгляды на жизнь, семью, брак, как и взгляды Стивы, скорее, либеральны, чем консервативны, поскольку они больше подходят к ее натуре и характеру. Как и Степан Аркадьевич, который не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему в проповедях все эти страшные и высокопарные слова о Боге и о том свете, она не понимала и не хотела понимать ни смысла этих слов, ни сути того, что за ними стояло.

К истинно духовной жизни Анна не склонна и не способна. Она — не атеистка, но ее религиозность сугубо внешняя, очень поверхностная, находящаяся в опасной близости к состоянию личного безверия. Об этом свидетельствуют отдельные красноречивые ремарки Толстого, наподобие такой, например: «Она беспрестанно повторяла: «Боже мой! Боже мой!» Но ни «Боже», ни «мой» не имели для нее никакого смысла».

Подобное механическое использование христианских языковых фигур характерно для сознания людей, получивших поверхностное религиозное воспитание, живущих в контексте христианской культуры, но внутренне далеких от веры. Когда-то Герцен, убежденный атеист, описывал в «Былом и думах» злодейства режима Николая I. В конце рассказа он разразился настоящим проклятием: «Да будет проклято царствование Николая во веки веков! Аминь!» В этой восклицании завязато атеиста нет никакой религиозности, а есть лишь эмоциональный всплеск, пришедшая тут же на ум традиционная словесная формула и ее не слишком оправданное приложение к предмету разговора.

Нечто похожее происходит и с Анной. У нее нет личных отношений с Богом. Она не привыкла в трудные минуты жизни всерьез обращаться к Нему за помощью. По словам Толстого, это было бы для нее равнозначно обращению за помощью к нелюбимому мужу. То есть в ее глазах такие обращения совершенно бесполезны. Чувство, называемое в христианстве «страхом Божиим», ей тоже не знакомо. Толстой, характеризуя то состояние, которое Анна испытывала, двигаясь наперекор морально-религиозным запретам, пишет, что ей было «не страшно, а весело».

Отвернувшись от Бога, не желая обращаться к Нему за помощью, Анна поставила себя в такое положение, когда Бог предоставил ей полную свободу действовать по собственному разумению. И читатель видит, куда привело ее это разумение и сопутствующее ему состояние внутреннего одиночества. Раз нет веры, то нет и поддержки от Бога, и происходит внутренний надлом, вначале нравственный, а затем и экзистенциальный, прямо ведущий к самоубийству.

Обе героини, Настасья Филипповна и Анна Аркадьевна, существуют в сугубо секулярных пространствах. В их жизненных мирах Богу нет места. Они не дают себе труда думать и помнить о Нем. Обе существуют без внутренней духовной опоры и не просят о поддержке свыше. Но если религиозное безразличие Анны объясняется тем, что она человек плотский, то причины безверия Настасьи Филипповны в том, что ее личность исковеркана, деформирована тяжелыми жизненными обстоятельствами несчастного детства и отрочества. Жизнь обеих течет как бы сама собой, без всякого направляющего начала, без их просьб о вмешательствах свыше. Они не привыкли просить о высшем водительстве, и обе плывут в жизненном потоке по течению, почти не сопротивляясь.

Но там, где не находится места Богу, обычно уверенно и комфортно чувствует себя Его враг. Поэтому Настасья Филипповна и ведет себя в романе так, будто в нее

вселился бес. Дерзкое, вызывающее, inferнальное начало очень сильно в ней и заставляет совершать невероятно эксцентричные поступки. В Анну тоже как будто входит какое-то темное начало, власть которого над ней неуклонно нарастает и, в конце концов, толкает ее под колеса вагона.

Нравственный надлом и наркозависимость

Власть темного начала над Анной крупно, масштабно обнаружила себя, по меньшей мере, трижды: первый раз как супружеская измена, второй раз как вхождение в состояние наркозависимости и третий раз как самоубийство. Об измене и суициде Анны говорят и пишут часто, а вот об ее наркозависимости упоминают очень редко. Мало, кто обращает внимание на эту деталь, хотя она и очень красноречива. В романских сценах с Анной наркотики, опиум и морфин, упоминаются семь раз. И это не случайные детали. Толстой подводит читателя к мысли о возможности влияния наркотиков на психику Анны и, соответственно, на ее поведение.

Как-то не поворачивается язык утверждать, будто роман «Анна Каренина» — это роман о женщине-наркоманке. Вместе с тем, факты, даже если они литературные, — упрямая вещь. И если кто-то захочет отвергнуть утверждение о наркозависимости Анны, то у него это вряд ли получится.

Случаи упоминания наркотиков разбросаны по роману. Вот, например, такая сцена: «Анна, между тем, вернувшись в свой кабинет, взяла рюмку и накапала в нее несколько капель лекарства, в котором важную часть составлял морфин, и, выпив и посидев несколько времени неподвижно, с успокоенным и веселым духом вошла в спальню».

Или вот сцена, не оставляющая сомнений в пристрастии Анны к наркотику: «Она вернулась к себе и после второго (то есть одноразового приема уже недостаточно. — В. Б.) приема опиума заснула к утру тяжелым, неполным сном, во время которого она не переставала чувствовать себя».

Вот еще одна констатация автора, указывающая на прочную привязанность Анны к морфину: «И также, как прежде, занятиями днем и морфином по ночам она не могла заглушить страшные мысли о том, что будет, если он разлюбит ее».

И, наконец, радикальная ремарка автора: «Когда она налила себе обычный прием опиума и подумала о том, что стоило только выпить всю склянку, чтобы умереть, ей показалось это так легко и просто».

Окружающие знали о слабости Анны. Княжна Варвара жаловалась Вронскому, что Анна в его отсутствие принимала морфин. Тот категорически запрещал ей делать это. Характерен ответ Анны: «Я не могла иначе...» Он звучит так, будто она уже не властна над собой, будто какая-то сила довлеет над ней и заставляет принимать наркотик, а она не может ей сопротивляться. И действительно: ею пройдены уже все основные этапы впадения в наркозависимость.

Все началось во время мучительных родов, когда Анне давали обезболивающий морфин. Тогда же она почувствовала его облегчающее воздействие на свое как физическое, так и психическое состояние. Затем, когда у нее начался период душевных мучений, она стала принимать наркотик уже для их облегчения. Постепенно эти приемы вошли в привычку, возникла формула «обычного приема», свидетельствующая о пристрастии к обязательной, регулярной дозе. Потом «обычный прием» становится недостаточен, поскольку возникло привыкание. Доза стала увеличиваться и начались расстройства сна, ослаб самоконтроль, появились поведенческие отклонения, коммуникативная неадекватность, преувеличенное чувство ревности, подозрительность. Обнаружилась готовность к неожиданным эксцессам,

неконтролируемым действиям, к внезапным, необдуманным, опрометчивым поступкам.

В современной антропологии, психологии, социологии, криминологии есть понятие девиантной личности. Его употребляют, когда речь идет о людях с отклоняющимся (девиантным) поведением, с различными психическими, моральными, поведенческими и прочими отклонениями. Называть Анну девиантной личностью очень не хочется. Эту красивую, умную, обаятельную героиню любит автор и любят читатели. Но факты, опять же, упрямая вещь. Ведь нельзя не принять во внимание те возникшие, очень серьезные девиации, которые невозможно отслечь от образа Анны. Это измена мужу, уход к любовнику, дерзкий вызов общественной морали, затем наркотическая зависимость, появившаяся склонность к эксцессам и, наконец, скандальное самоубийство. Все это существенно меняет картину, рассеивает колебания и заставляет признать в Анне, увы, не образец гармонии и нравственности, а личность, перешедшую в категорию девиантов.

Неординарные женские судьбы Анны Карениной и Настасьи Филипповны с неопровержимой силой и убедительностью свидетельствуют о том, что жизнь без Бога способна легко оборачиваться не только неисчислимыми душевными страданиями, но и устрашающей физической гибелью. Зло, подстерегающее каждого человека, настигает их, безоружных, беззащитных, не имеющих при себе щита веры, и начинает медленно и безжалостно заглывать. Тех естественных сил, которыми располагала каждая из женщин, оказалось совершенно недостаточно, чтобы убежать и спастись, и обе гибнут с какой-то роковой неотвратимостью, подтверждая незыблемость библейского приговора: «Мне отмщение, и Аз воздам».

К новой антропологии

Достоевский несомненно прав, утверждая, что зло таится в человеке глубже, чем обычно предполагают гуманитарии-обществоведы. Главное зло пребывает не рядом с человеком, не в обществе, не в его структурах, институтах и системах, а внутри человека, в глубинах его природы. Именно оттуда идет энергия зла, погубившая не только героиню Толстого и Достоевского, но и огромное число и других героев мировой литературы. Ключ к загадкам их гибели мы найдем в одном из важнейших текстов Достоевского, в его «Записках из подполья». Эта новелла, вышедшая в свет в 1864 году, свидетельствовала о выдвигании художественной мысли на рубежи новой антропологии.

Герой новеллы — мелкий чиновник, который называет себя «гнусным петербуржцем» и сравнивает собственное существо с маленькой, злой мышью, сидящей в темном подполье и оттуда злобно поносящей весь мир. Так обнаруживается один из смыслов подполья, правда, пока еще достаточно внешний. Далее открывается и другой смысл этой метафоры, более глубокий. Оказывается, подполье — это все темное, что пребывает на дне человеческой души. Это подвал души, куда не проникает свет веры, добра и любви. Это маленькая преисподняя, которую человек носит в себе. Там, в этом персональном аду заперто все низменное, что есть в человеке. Оттуда исходит энергия зла, которая заставляет людей лгать, ненавидеть, быть несправедливыми, жестокими, красть, убивать, то есть нарушать все божеские и человеческие законы.

Писатель дал, хотя и не совсем обычное, но достаточно точное название мрачному прибежищу тех разрушительных позывов, которые толкают людей на преступления. Он, говоря современным языком, «запеленговал» ту демоническую реальность, которая пребывает внутри человека и служит концентратором темной,

безблагодатной энергии, не пригодной для созидательных работ, но зато легко творящей всевозможные разрушения.

Мировая культура знает множество попыток художественного изображения и философского постижения этой темной реальности. Но исследовать ее с такой аналитической пронизательностью, как это сделал Достоевский, мало кому удалось до него и после него. Многих останавливал мистический страх перед бездной, в которой копошились чудовища, способные ввергнуть в состояние ужаса кого угодно. То, о чем Данте, Шекспир, Гофман, Гоголь имели представление, но что ими так и не было проименовано и прописано с должной определенностью, обрело у Достоевского свое название и предстало обнаженным в свете точного и беспощадного художественного анализа.

Персональная преисподняя

Нормальному цивилизованному человеку, законопослушному гражданину страшно носить в себе подполье, но еще страшнее заглядывать в него. Это все равно, что наклоняться над темной пропастью, на дне которой толкутся бесы и кишат всевозможные гады — змеи, тарантулы, скорпионы и проч. Они заперты в подполье, но при этом одержимы одним стремлением: вырваться, во что бы то ни стало, на волю. И человек должен постоянно прилагать невероятные усилия, чтобы держать их под замком и не позволять освободиться. Но удается это далеко не всем и далеко не всегда. Большая же часть людей с этой задачей вообще не справляются. И в самых тяжелых случаях они становятся заложниками, рабами, марионетками своих демонов. Их внутренние миры превращаются едва ли не в одно сплошное подполье, где безраздельно хозяйничают бесы.

В «Записках из подполья» Достоевский изображает одного такого человека, который пожелал отменить все божеские и людские законы, развенчать все авторитеты и воспеть гимн духу отрицания. Это герой-экспериментатор, ставящий рискованные опыты над самим собой, собственной душой. Он не прячет свои подпольные мысли за покровами внешней благопристойности, а бесстыдно заглядывается и обнажается, не стесняясь, не робея перед их отталкивающей сутью. На протяжении всей новеллы он занят тем, что ведет репортаж из темной утробы своего личного подполья, бесстрашно описывая открывшуюся темную, уродливую, безобразную реальность своего внутреннего мира.

Спрашивается, что же должно было произойти с этим человеком, какую катастрофу, какой личный апокалипсис он должен был пережить, чтобы превратиться в существо, оплевывающее из своего сомнительного убежища весь мир и заживо погрузившееся в собственный, рукотворный ад? Есть только один-единственный ответ: такой катастрофой стала «смерть» Бога в личном жизненном мире этого человека.

Поставим и второй вопрос: зачем Достоевский показывает всю эту низость и все это безобразие нам, читателям? И на него есть только один ответ: чтобы заставить нас содрогнуться и ужаснуться при виде живого, мыслящего существа, изуродованного, раздавленного, растерзанного собственным безверием.

Демонические структуры

Когда люди с атеистическим сознанием рассуждают о зле, об его источниках, причинах, основаниях, то чаще всего они склонны видеть их либо в социальном мире, либо в игре природных стихий. Библейская концепция зла как потусторон-

ней силы, именуемой дьяволом, вызывает у них скептические усмешки. Секулярное сознание не верит в существование ни inferнального мира, ни князя тьмы. Но Достоевский в их существование верил. Устами Лебедева из романа «Идиот» он говорит: «Неверие в дьявола есть французская мысль, есть легкая мысль... Не зная даже имени его, вы смеетесь над формой его, по примеру Вольтеру, над копытами его, хвостом его, рогами его, вами же изобретенными... Нечистый дух есть великий и грозный дух, а не с копытами и рогами, вами ему изобретенными».

Это важное утверждение. В библейско-христианском мировосприятии дьявол и его бесы — это духи, которые могут являться в различных образах, в том числе и в тех, которыми их наделяет человеческая фантазия. В том же романе «Идиот» умирающий юноша Ипполит увидел дьявола в образе чудовищного тарантула. Он спрашивает: «Может ли мерещиться в образе то, что не имеет образа?» И сам же отвечает, что временами он видит эту бесконечную, глухую, темную силу разрушения в какой-то страшной и невозможной форме небывалого насекомого.

Впоследствии, в XX веке, известный западный теолог Пауль Тиллих стал использовать для обозначения сверхфизических разрушительных начал понятие *демонических структур*. Они являют собой абсолютное зло. За ними стоит все то, что грозит гибелью душе, творчеству, культуре, цивилизованной гражданской жизни, приносит в них дух зла, беззакония, бессмыслицы, безысходности, отчаяния. Демонические структуры не созидают, а только деформируют и разрушают. Заряженные темной энергией распада, они уродуют творческие замыслы людей, уничтожают в них все светлое и высокое, отталкивают человека от Бога и приближают к князю тьмы, отдают во власть демонам-бесам. Если «Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1, 5), то дьявол, его демоны есть тьма и нет в них никакого света. Нет никакого света и в демонических структурах. В функциональном отношении они узко специализированы: их дело — разрушение и только разрушение. Куда бы они не проникли, в науку, искусство, литературу, философию, политику, право, мораль, везде они творят одни разрушения. Когда какая-либо демоническая структура вторгается во внутренний мир человека, то ее действие можно сравнить разве что с движением ледокола: она рушит, рвет, кромсает тонкие, сложные связи внутреннего «я», придает ему уродливый, устрашающий вид.

В человеке местом пребывания демонических структур служит подполье. Оно предстает как некий бездонный провал, как сверхфизическая бездна, где эти носители абсолютного зла, подобные ракетам с ядерными боеголовками, находятся в состоянии полной боевой готовности. Это концентрированное зло способно вздыматься, подобно клубам черного, едкого дыма, вторгаться в пределы души и духа, заполнять все пространство внутреннего мира ядом богоотрицания и человеконенавистничества. И тогда внутренний мир человека, большая часть его чувств, мыслей, желаний приобретают «подпольный» характер, то есть пропитываются готовностью к нарушениям религиозных, нравственных и правовых норм.

Сила, власть и действенность демонических структур зависит от того, в каком состоянии пребывает внутренний мир человека — в состоянии веры или безверия. Если он движется по пути веры, навстречу Богу, то его «я» обретает защищенность от влияний на него демонических структур, от опасностей демонизации своих чувств, мыслей и действий. И напротив, если человек не верует в Господа, отвернулся от Него, то это порождает самые серьезные изменения в его жизни, сознании, мировоззрении, мышлении, поведении, творчестве.

О людях этой, второй разновидности апостол Павел говорит в Послании к Римлянам: «Осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели... Они заменили истину Божию ложью...

И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы» (Рим. 1, 21–32).

Один Бог властен над происками князя тьмы и над изобретаемыми тем демоническими структурами. Бог знает их истинное устройство и как подобраться к заложеным в них разрушительным устройствам. Он один может останавливать, обезвреживать и уничтожать их посредством тех людей, чьи умы и сердца не поражены безверием.

То обстоятельство, что подполье существует внутри каждого из людей, не несет в себе для нас ни успокоения, ни утешения. Напротив, оно способно и удручать, и ошеломлять, и даже ввергать в ужас. Жить с этой истиной — значит понимать, что ты существуешь «у бездны мрачной на краю».

Те гибельные водовороты страстей и эксцессов, в которых погибли Настасья Филипповна и Анна Каренина, погубили этих женщин лишь потому, что демонические структуры, пребывавшие внутри каждой из них, не были надежно заперты в их личных подпольях. Самого надежного средства для удержания их взаперти, то есть веры, не было в распоряжении ни той, ни другой. В результате они погибли не от ножа и железных колес, а от собственных демонов, вырвавшихся наружу и использовавших нож и колеса как орудия убийства.

Подполье — концентратор зла

Достоевский, описав подполье, тем самым радикально реформировал ту модель человека, которая в XIX веке продолжала строиться на началах рационализма, просветительства и прогресса. В этой благодушной модели он словно пробил брешь, сквозь которую открылся вид уходящей вниз бездны с царящей в ней тьмой.

Несомненно, что Достоевский опирался при этом на библейско-христианскую интеллектуальную традицию. Библейская мысль о «глубинах сатанинских», о предрасположенности человека к греху, злу, порокам и преступлениям получила у него свое дальнейшее развитие, обрела, как бы, «второе дыхание».

У подполья обнаруживаются несколько существенных признаков. Во-первых, оно генетически первично. Человек не приобретает его в награду или наказание за что-либо. Оно дано ему изначально, от рождения и сопровождает его по жизни, до самого конца. Во-вторых, подполье является резервуаром, концентратором деструктивных мотивов, толкающих человека наперерез абсолютным нормам, ценностям и смыслам. И, в-третьих, оно способно довлеть над жизненным миром человека, над всем тем, чем он дорожит. Его власть может быть мягкой и жесткой, завуалированной и откровенно грубой, локализованной и тотальной.

Сам Достоевский высоко ценил свою разработку темы подполья. Он считал развернутую им художественную экспозицию подполья одной из своих главных творческих заслуг. «Я горжусь, — писал он, — что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону... Только я один вывел трагизм подполья... Подполье, поэт подполья — фельетонисты повторяют это как нечто унижительное для меня. Дурачки. Это моя слава, ибо тут правда... Причина подполья — уничтожение веры в общие правила. «Нет ничего святого».

Концепция подполья стала сердцевиной той художественной теологии зла, которую создал Достоевский, и подпольный господин стал ее главной фигурой. Когда писатель задумал серию романов под общим названием «Житие великого грешника», то он вполне мог бы назвать свой проект и «Жизнью подпольного господина». Те произведения, которые появились на протяжении последних пятнадцати лет его творческого пути, не были апологией подполья. Каждой строчкой своего письма он говорил: сущность человека коренится не в подполье, а в его неустанной готовности сражаться со своим подпольем. И вчитываясь в Достоевского, мы начинаем понимать, что сущность каждого из нас действительно заключается в постоянной борьбе духа с демонами разрушения, стремящимися вырваться из подполья, грозящими совершить внутри нас свой «октябрьский переворот», захватить власть и начать бесчинствовать.

Достоевский не выдумал подполье. Он его маркировал и описал. И сделал он это для того, чтобы его читатели, в том числе и те, кто не читал Библии и не веровал в Бога, все же знали, какое опасное содержимое они носят внутри себя, какую угрозу эта начинка несет для жизни, культуры, нравственности любого из людей.

Атеисты, которым не нравится, когда им указывают на это подполье внутри них и которые за это не любят Достоевского, склонны принимать успокоительные «железные капли», хвататься за «железные идеи», то есть за идеи Жан-Жака Руссо, уроженца Женевы. Главная среди идей Руссо сводится к утверждению, будто человек по своей природе добр, что он рождается с изначально добрым сердцем и становится злым только из-за того, что на него дурно влияет цивилизация. То есть получается, что никакого подполья с его темным содержимым, демоническими структурами в человеке нет.

Но библейская теология и антропология говорят о человеческой природе нечто противоположное: темное, дьявольское начало сумело некогда поразить прародителей человеческого рода, проникло внутрь них, стало передаваться по наследству вплоть до нынешних поколений. Абсолютно чистых и нравственных людей нет и быть не может. Как утверждает апостол Павел в Послании к Римлянам: «Все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3, 23).

Позиция Достоевского далека от «железных идей» и вплотную примыкает к библейской антропологии. В его глазах подполье — это универсалия, то есть то, что присутствует внутри каждого, без исключения, человека. В Библии оно называется поврежденностью человеческой природы первородным грехом. Заслуга же Достоевского в том, что он не просто переложил библейскую идею первородного греха на современный язык и попытался донести ее до тех, в чьих глазах библейская картина мира — не более, чем архаизм, но и обозначил то место внутри человеческого «я», откуда демонические структуры отправляются в свои разрушительные рейды.

Подполье в душе Толстого

Как уже было сказано, подполье — это достояние всех и каждого. Поэтому не только жизнь и творчество Достоевского дают богатый материал для экспозиции темы подполья. У Толстого мы встретим аналогичного материала ничуть не меньше. В этом отношении особенно интересны его автобиографические тексты. Та же «Исповедь», например, свидетельствуют о том, что писатель обладал весьма обширным личным подпольем. Любопытно, что на это указывала даже его внешность, лицо, глаза, взгляд. Наиболее наблюдательные и проницательные из современников обращали внимание на характерные, почти «волчьи» глаза Толстого

под нависшими бровями. От жесткого взгляда этих глаз делалось жутко, «будто в яркий солнечный день открыли двери в темный погреб». В подобных оценках метафора «глаза — зеркало души» обретала особый смысл.

Образ глаз как «дверей в темный погреб» устрашающе красноречив, поскольку прямо указывает на существование подполья (слово «погреб» — его синоним) в душе писателя. Ту же «Исповедь» вполне можно рассматривать как повествование, написанное в жанре «записок из подполья» или авторепортажа Толстого о своем погружении в подполье собственной мятущейся души.

Только на первый, весьма поверхностный, взгляд может показаться, что Толстой движется по следам своего кумира Руссо, создателя автобиографического романа с тем же названием — «Исповедь». Нет, у Толстого, в отличие от Руссо, все гораздо сложнее. Он почти не касается внешних сторон своей жизни, а смотрится в зеркало рефлексии и видит не только отображаемые в нем движения ума, чувств, страстей, но и темные шевеления какой-то непонятной внутренней субстанции, вздымающейся со дна души и имеющей пугающий вид.

«Исповедь» — чрезвычайно информативный человеческий документ, насыщенный богатейшими сведениями о жизни ищущего, блуждающего духа. Толстому очень хотелось систематически изложить свои религиозные воззрения. Но система не выстраивалась, поскольку духовный поиск был не слишком успешным. Ему хотелось выйти на широкий и светлый путь, ведущий к Богу и вере. Но вместо этого он оказался в лабиринте, из которого так и не смог выбраться. В результате возникло отнюдь не радостное повествование, не воодушевляющее читателя, а напротив, погружающее его в какое-то тяжелое, смутное состояние духа. Впрочем, и писалась «Исповедь» в таком же состоянии духовной смуты, когда Толстому было, по его же собственному признанию, «грустно и тяжело». Чего стоит хотя бы описание того господствующего умонастроения, которое одолевало его в те годы: «Пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать. — Эти остановки жизни всегда выражались одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом? — Я будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти. Я ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме гибели. — Я всеми силами стремился прочь от жизни. — И вот я, счастливый человек, прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами в своей комнате, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни».

Этими маниакально-навязчивыми мыслями о самоубийстве Толстой напоминает Кириллова из романа «Бесы». Их сближает категоричная прямолинейность суждений и радикальность выводов. Оба они — богоискатели, сбившиеся с пути и забредшие в экзистенциальные тупики. Оба сами загнали себя в них, и сами же стали убеждать себя в целесообразности самоубийства. Демоническая структура безверия услужливо протаранила для них дыру в бытии, за которой зияла и отдавала мертвым холодом тьма кромешного небытия. Кириллов ринулся в нее, Толстой же удержался, но впоследствии всю жизнь ощущал леденящее дыхание этого черного провала.



Елена АЙЗЕНШТЕЙН

«ДОРОГОЙ ПОДАРОК ЦАРЬ-ДАВИДА...»

Псалмопевец Давид в русской поэзии
XIX–XX веков

**«Певец Давид был ростом мал»
(царь Давид в стихах поэтов XIX века)**

Поэтический библейский образ царя Давида, пастуха, музыканта, пророка и псалмопевца не раз в русской поэзии оказывался породителем и вдохновителем стихов. Давид — великий царь Израильский, чья история изложена в трех книгах Царств. Как полагают историки, Давид был помазан на царство в первый раз Самуилом (1-я Ц. 16; 13) примерно в девятнадцатилетнем возрасте. Потом он поразил Голиафа и был призван Саулом на службу. После смерти Саула был вторично помазан на царство (2-я Ц. 2; 4) и царствовал семь лет в Хевроне, а после смерти сына Саула, Иевосфея, и присоединения к нему остальных колен Давид был помазан на царство в третий раз над всем Израилем (2-я Ц. 5; 3). По преданию, именно Давид является автором Псалтыри, — библейской книги Ветхого Завета, состоящей из ста пятидесяти или ста пятидесяти одной песен (псалмов, *greg. psalmós*). Одним из первых к образу Давида обратился А. С. Грибоедов:

Не славен в братии измлада,
Юнейший у отца я был,
Пастух родительского стада;
И се! внезапно богу сил

Елена Оскаровна Айзенштейн — автор книг о творчестве М. И. Цветаевой. Публиковала статьи о русской поэзии XX века на страницах «Невы», «Звезды», «Литературной учебы». Живет в Ленинградской области.

Орган мои создали руки,
Псалтырь устроили персты.
О! кто до горней высоты
Ко господу воскрилит звуки?..

Услышал сам господь творец,
Шлет ангела, и светлзрачный
С высот летит на доли злачны,
Взял от родительских овец,
Елеем благоисти небесной
Меня помазал. (А. С. Грибоедов. Давид, 1823)

В стихах Грибоедова, в некоторых публикациях названных «Псалом 151», Давид рассказывает историю своего приближения к Богу. «Пастух родительского стада» становится органом и псалтырью Бога, возносит к нему молитвы. Господь слышит его игру, и Давид помазан на царство ангелами. Давид рассказывает о своих кичливых братьях, крепких физически, но не угодных Богу из-за своей неодоухотворенности: «Но в них дух божий, бога сил, / Господень дух не препочил». Именно Давида выбирает Господь за духовную доблесть, и Давид, преодолевая страх, идет сражаться с иноплемениками: «Но я мечом над ним взыграл, / Сразил его и обезглавил, / И стыд отечества отъял, / Сынов Израиля прославил!» (А. С. Грибоедов. Давид). Не случайно Грибоедов использует глагол «взыграл» мечом. Музыкант и псалмопевец, Давид умеет только играть, но любая его игра, на «органе» или «мечом», приводит к победе. Стихотворение опубликовано зимой 1824 года. По мнению Тынянова, произведение Грибоедова было программным по образу героя — воинствующего «певца-пророка», образа, связанного с позицией группы поэтов, которую возглавлял Грибоедов и к которой с 1821 года примкнул его друг Кюхельбекер. Образ Давида отменял «долго владычествовавший в поэзии образ беспечного и бездейственного поэта-ленивца, мудреца-эпикурейца» (Тынянов)¹, повлиял на пушкинского «Пророка», причем черты грибоедовского пророка-бойца сменены у Пушкина чертами пророка-проповедника, а в «Пророке» Лермонтова главным станет конфликт поэта-пророка с толпой. Кюхельбекер разовьет тему Грибоедова в поэме «Давид», написанной в крепостном заключении, оконченной 13 декабря 1829 года в Динабургской крепости, посвятив ее памяти Грибоедова, и неоднократно упомянет о нем в лирических отступлениях поэмы².

В работе, посвященной Грибоедову, Тынянов цитирует и пушкинскую эпиграмму лета 1824 года на графа Воронцова, которая воспринимается как еще одно свидетельство противоборства поэта с обществом, с теми, кто считал Пушкина мелким чиновником, а не первым поэтом России:

Певец Давид был ростом мал,
Но повалил же Голиафа,
Который был и генерал,
И положеньем выше графа³. (1824)

Напомним строки Пушкина о графе Воронцове: «Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое»⁴. Эпиграмма была написана уже после посылки Пушкина на борьбу с саранчой, свирепствовавшей в Новороссийском крае. Воронцов поначалу полагал, что Пушкин его «боится» и ведет себя

сдержаннее и благоразумнее, чем при генерале Инзове в Кишиневе, впоследствии он изменил свое мнение и неоднократно обращался с просьбами в Петербург избавить его от Пушкина. «Вандал, придворный хам и мелкий эгоист»⁵ видел Пушкина самолюбивым подражателем Байрона, считал недоучкой и бездельником. «...Меценатство вышло из моды... — писал Пушкин Вяземскому 7 июня 1824 года, не надеясь на поддержку “приятного, благонамеренного” (определение Вяземского) Воронцова. — Нынешняя наша словесность должна быть благородно-независима»⁶. Уже 11 июля 1824 года было дано высочайшее повеление отправить Пушкина в псковское имение отца, отнимавшее вольный, европейский воздух одесской жизни, так что в жизни победил не Давид, а его противник, но спустя почти двести лет это неважно: Воронцов остался в истории поэзии полумилордом, полукупцом и Голиафом, которого Пушкин победил в слове⁷.

Посвящены образу Давида и другие стихотворения этой поры, например, стихотворение Н. И. Гнедича «Арфа Давида», оплакивавшего любимца небес:

Нет более арфы, давно освященной
Сынов иудейских потоками слез!
О, сладостны струн ее были перуны!
Рыдайте, рыдайте! на арфе Давида разорваны струны! (1821)

Или стихотворение А. С. Хомякова «Давид», написанное в год смерти Лермонтова, в котором подчеркнуты духовная сила будущего царя, его духовная осециненность. Давид — носитель Божьего слова, в изображении Хомякова, побеждает врагов лишь силой дара певца, силой Слова и противопоставлен Саулу:

Певец-пастух на подвиг ратный
Не брал ни тяжкого меча,
Ни шлема, ни брони булатной,
Ни лат с Саулова плеча;
Но, Духом Божьим осененный,
Он в поле брал кремень простой —
И падал враг иноплеменный,
Сверкая и гремя броней.

Финальные строки заставляли видеть в образе Давида поэта-современника, которому нужно идти сражаться с помощью Божьего слова:

И ты — когда на битву с ложью
Восстанет правда дум святых —
Не налагай на правду божью
Гнилюю тягость лат земных. (1841)

Целый ряд стихотворений русских поэтов задуман как переложение одного из псалмов Давида, например, переложения 1, 14, 26, 34, 70, 143, 145 псалмов М. В. Ломоносова, «Из 145-го псалма» (1773) А. П. Сумарокова, стихи поэтов XIX века: «Из псалма XXI» (1810) Д. И. Хвостова; «Псалом 14», «Псалом 136»; «Подражание псалму» Н. М. Языкова; «Псалом 62» Ф. И. Глинки с радостной, жизнеутверждающим финалом,

Он возгласит о Боге пеньем,
Ударив радостью в тимпан;
И, как жених, возвеселится;
И звонкий глас его промчится
До поздних лет, до дальних стран... (1826)⁸

Во второй половине XIX века теме Давида и его жития посвящены «По прочтении псалма» (1856) А. С. Хомякова и «Псалом Давида на единоборство с Голиафом» (1857) Л. А. Мея. Среди текстов, интерпретирующих образы Псалтыри, — стихи великого князя К. К. Романова (1858–1915), К. Р., внука Николая I. Его вхождение в литературу фактически связано со стихотворением «Псалмопевец Давид». Важна в стихах о Давиде великого князя тема песни не от себя («не от себя пою я»). Давид К. Р. понимает, что страдания души Саула не могут излечить ни любовь девы, ни воинская доблесть, и только стихи Давида избавят Саула от уныния:

Пусть звуком арфы золотой
Святое песнопенье
Утешит дух унылый твой
И облегчит мученье.

Ради того, чтобы воодушевить Саула, Давид готов умереть: «И, торжествуя, / У ног твоих, властитель мой, / Пусть за тебя умру я»⁹. Таким образом, Давид показан здесь как человек, способный к самопожертвенной любви. Любимец небес, певец, отгоняющий уныние, пророк, говорящий правду, проповедник, воин, отважно сражающийся и смеющийся над своим противником, — таков Давид в стихах поэтов XIX века.

**«Это Давиды на Голиафов»
(царь Давид в стихах Мандельштама, Ахматовой,
Тарковского, Цветаевой)**

Для поэтов XX века библейский миф и образ царя Давида стали одним из средств борьбы за верность себе и той культурной традиции, с которой XX век в лице советской власти сражался как с личным врагом. Образ царя Давида помогает этим поэтам ощущать Божью помощь и поддержку высших сил в момент предстояния перед сложным выбором пути, в условиях творческой несвободы, разлученности с другими поэтами, в условиях изоляции или удаленности от родины, необходимости взять на себя ответственность за происходящее в стране. Монолог от лица царя Давида, воспоминание о нем или сравнение с ним — это заключение себя в некий ряд, в котором поэт ощущает соединенность не только с Давидом, но и с тем, к кому Давид обращался в своих псалмах. Это выход в круг вечных тем и образов, дающих уверенность и устойчивость. Поэт, отождествляющий себя с Давидом, обретает почву библейского мифа, чтобы сказать о своем лирическом переживании, которое воспринимается уже в русле мировой истории, в русле лирического мифа о царе Давиде и поэтому не напрасно, не случайно подчинено некому всеобщему нравственному и даже космическому закону.

Библейские коннотации, связанные с Давидом, в творчестве Мандельштама представлены стихотворением «Канцона» и, по-видимому, сопряжены с темой Давида-псалмопевца и зоркого глаза поэта, метафизического и исторического зренья, необыкновенной способности увидеть все краски мира («Я покину край ги-

пербореев, / Чтобы зреньем напитать судьбы развязку»¹⁰, унаследованной от библейского царя:

То Зевес подкручивает с толком
 Золотыми пальцами краснодеревца
 Замечательные луковицы-стекла —
 Прозорливцу дар от псалмопевца.
 Он глядит в бинокль прекрасный Цейса —
 Дорогой подарок царь-Давида, —
 Замечает все морщины гнейса,
 Где сосна иль деревушка-гнида. (26 мая 1931) (1, 161)¹¹

И в стихотворении «Рим», в котором, рисуя «город, любящий сильным поддакивать», сталинскую Москву и древний Рим, Мандельштам вспоминает микеланджелевскую статую Давида во Флоренции¹² в качестве контраста теме убийства и тирании: «Все твои, Микель-Анджело, сироты, / Облеченные в камень и стыд: / Ночь, сырая от слез, и невинный, / Молодой, легконогий Давид...» (16 марта 1937) (1, 236). Для Мандельштама царь Давид — «легконогий», танцующий перед ковчегом, любящий Бога, — один из сирот искусства, похожий на самого поэта, живущего под властью «диктатора-выродка», возражающего сильным, помнящего о небесном, ангельском образе подлинной творческой родины, противостоящего чуме фашизма и сталинизма: «Словно мост ненарушенный Ангела¹³ / В плоскоступье над желтой водой». Шаг Давида и лирического героя — метафора жизни города Рима и сталинской Москвы, в которых, вопреки рабству и власти царей Иродов, вопреки чуме бесчеловечности и антидуховности XX века, должны звучать «шаги, как поступки».

Ахматова вводит имя Давида в сравнение стихотворения «Со дня Купальницы-Аграфены...», написанное не позднее осени 1913 года, за несколько месяцев до знакомства с Лурье. И в нем — строка: «Молчит, а ликует, как царь Давид...»¹⁴ В ее тайном обращении к А. Лурье — «Вечерний и наклонный...» (1914) имя царя Давида не названо, но читается из контекста: «А нынче только ветры да крики пастухов, / Взволнованные кедр...» По словам Р. Тименчика, это продиктовано генеалогической легендой, стоявшей за фамилией адресата — Лурье, ведущей историю от царя Давида. И только в 1916 году, в стихотворении «Майский снег» — самоотождествление с царем Давидом:

И ранней смерти так ужасен вид,
 Что не могу на Божий мир глядеть я,
 Во мне печаль, которой царь Давид
 По-царски одарил тысячелетья¹⁵.

В творчестве Ахматовой библейских аллюзий много, но нет отдельных стихов, адресованных самому Давиду или написанных от его лица. Ахматова смотрит на Давида глазами других персонажей, например, в стихотворении «Мелхола» (1922–1961) — глазами женщины, когда Саул в награду за песни и с надеждой опутать Давида сетью надзора обещает ему свою дочь Мелхолу. Дочь Саула, по тексту Ахматовой, в отличие от библейского текста (1-я Ц. 18; 20), не хочет идти замуж за Давида, любит его, но стыдится чувства к простому пастуху:

Наверно, с отравой мне дали питье,
 И мой помрачается дух,

Бесстыдство мое! Униженье мое!
Бродяга! Разбойник! Пастух!
Зачем же никто из придворных вельмож,
Увы, на него непохож? (Ахматова. Мелхоло)¹⁶

Но царь Давид будет упомянут в ахматовской «Поэме без героя» в качестве символа поэтического явления и величия поэтов, неназванных героев времени:

Проплясать пред Ковчегом Завета,
Или сгинуть!..
Да что там!
Про это
Лучше их рассказали стихи. (Ахматова. Поэма без героя)¹⁷

Важны образы царя Давида и в творчестве А. Тарковского, особенно часто использовавшего три библейских имени: первого человека Адама, царя Израиля Давида и Иисуса Христа¹⁸. Этот ономастический ряд является «осевым» в библейском словаре имен Тарковского и несет семантику «человек — поэт — пророк — Бог». Адам, Давид, Иисус — «первопоэты», и предшественники, и современники, и вечные спутники человека-поэта, которому предстоит пройти путь пророка и написать собственную книгу Бытия¹⁹. Н. Резниченко анализирует стихотворения «Пруд», «Полевой госпиталь», «Пляшет перед звездами звезда...», «Портной из Львова. Перелицовка и починка» — в первоначальной редакции, отмечая, что слово Тарковского нацелено на отражение «трансцендентной реальности, скрытой за земной судьбой человека, рожденного, чтобы стать поэтом»: «Но ожил у меня на языке / Словарь царя Давида». Поэзии Тарковского свойствен «псалмический мелос» (С. Кекова)²⁰. Имя царя Давида способно «порождать новый текст или элементы текста» (Н. Резниченко), как в стихотворении «Портной из Львова, перелицовка и починка» (октябрь, 1941), где слабый, беззащитный человек «равен судьбой пастуху и воину Давиду»:

Привкус меди, смерти, тлена
У него на языке,
Будто сам Давид из плена
К небесам воззвал в тоске.

Тарковский несколько раз обращался к эпизоду игры царя Давида «на всяких музыкальных орудиях» (2-я Ц, 23; 1), впервые — в 1946 году, после постановления ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», когда был рассыпан набор первой книги его стихов, в стихотворении «Пруд», где «танцевальный» сюжет усиливает «крайнее отчаяние художника, распространяемое им на всю равнодушную к “творческому слову” природу»: «Так лежит в земле Давид, / Перед скинией плясавший» (наблюдение Н. Резниченко). По словам Н. Резниченко, тема пляшущего Давида «неожиданно резонирует» в стихотворении «Эвридика», а имя царя Давида «приводит в движение другие имена и символы». Имя своей последней книге — «От юности до старости» — Тарковский тоже дал на языке псалмопевца²¹.

У Марины Цветаевой стихи, связанные с Давидом, тоже составляют отдельную, значимую страницу творчества, не случайно в обращении к ней Тарковский вспоминает времена, «когда псалмы слагал Давид».

Я слышу, я не сплю, зовешь меня, Марина,
 Поешь, Марина, мне, крылом грозишь, Марина,
 Как трубы ангелов над городом поют,
 И только горечью своей неисцелимой
 Наш хлеб отравленный возьмешь на Страшный суд,
 Как брали прах родной у стен Иерусалима
 Изгнанники, когда псалмы слагал Давид.

И враг шатры свои раскинул на Сионе.
 А у меня в ушах твой смертный зов стоит,
 За черным облаком твое крыло горит
 Огнем пророческим на диком небосклоне. (*Памяти Цветаевой, 1946*)

Сион — юго-западный холм в Иерусалиме, символ Иерусалима и Земли обетованной. В Библии — это город Давидов, сам Иерусалим. Пророки Сионом называли Царство Божие. В стихотворении, возможно, речь идет о войне за Сион царя Давида с иевусеями. После взятия Давидом Сион стал называться Ир-Давид (Град Давидов)²². Тарковский пишет стихи памяти Цветаевой в 1946 году, поэтому его слова не столько проецируются на Вторую мировую войну, сколько на защиту тех поэтических, духовных ценностей, которые отняты ее смертью и существованием в сталинском государстве. Цветаева предстает в этих стихах как жертва и как пророчица, чье присутствие помогает автору верить в победу духа, чье незримое существование побуждает писать. Хлебом, вероятно, называет Тарковский стихи, которые являются оправданием его существования. Иерусалим здесь — общая для Тарковского и Цветаевой родина поэзии.

Еще в стихотворении 1919 года «А во лбу моем — знай!..» Цветаева утверждала важность в своем мироощущении библейских образов: «Головою покоюсь / На Книге Царств»²³ (1, 480). Но, вероятно, первое обращение к образу Давида у Цветаевой — «Аймек-гуарузим — долина роз...» (18 сентября 1917), стихотворение о любви к еврейской девушке, где Давидов щит противопоставлен кресту и христианской вере — по-видимому, стилизованный отклик на прочитанное²⁴. Следующее стихотворение — «Марина! Спасибо за мир...» (1918), где с Давидом Цветаева соотносит свою талантливую, писавшую стихи дочь Алю: «Так с неба господь Саваоф / Внимал молодому Давиду» (I, 393). Братом молодому библейскому царю Давиду и Ипполиту (из трагедии «Федра») воспринимала Цветаева героя поэмы «Царь-Девушка» (1920) — Царевича: «Мой Jungling никого не любит... он любит гусли, он брат молодому Давиду и еще больше — Ипполиту»²⁵. В августе 1921 года Цветаева записала в тетрадь фразу о первой сцене пьесы (или трагедии?) «Давид», которую она собиралась переписать в отдельную тетрадь отрывков и замыслов (названной сцены не сохранилось)²⁶. Давид введен ею в циклы «Ученик» (1921) и «Отрок» (1921). В цикле «Ученик» с юношей Давидом соотносит Цветаева лирическую героиню, «мальчиком светлоголовым» бредущую за «плащом» духовно старшего спутника — князя Волконского: «Победоноснее Царя Давида / Чернь раздвигать плечом» (1, 12). В цикле «Отрок» упоминание Давида отчасти связано с общением с молодым поэтом Э. Л. Миндлиным и его «Трагедией о Давиде, царе Иудейском» (отмечено Р. Тименчиком²⁷) и, по нашему мнению, — со стихотворением Р. М. Рильке «David singt vor Saul» («Давид поет Саулу») из сборника «Новые стихотворения». Если у Рильке главным в монологе Давида становится мотив эротического воспоминания, которое должно усмирить беснующуюся душу Саула, то у Цветаевой в четвертом стихотворении цикла «Отрок» («Виноградины тщетно в

садах ржавели...») акцентуализируется мотив душевных борений царя, а несущие караул отроки лишь хранят вздохи и тайны души своего господина. У Рильке: «Мальчики стоят, напряжены, /у дверей волнуясь, в них не вхожи», (перевод К. Богатырева)²⁸. У Цветаевой: «И влачат, и влачат этот вздох Саулов / Палестинские отроки с кровью черной» (2, 52). Имя царя Давида в тетради 1922 года записано во время работы над стихотворением «По загарам топор и плуг»²⁹ (июнь). Рядом строка: «Вечной мужественности меч»³⁰, близкая подзаголовку к статье о Пастернаке «Световой ливень»: «Поэзия вечной мужественности», поэтому можно говорить о том, что Давидом видела Цветаева своего любимого современника — Пастернака, умевшего разить словесным «мечом», поражавшего духовной высотой. Библейские имена: «Царь Давид» и «над Саулом» записаны в ЧТ-4, содержащей стихи мая–июля 1922, а также начало поэмы «Молодец»³¹. В «Молодце», в поэме, обращенной к пастернаковскому Уху, Цветаева просто вводит тексты псалмов в ткань поэтической речи (отмечено Е. Б. Коркиной³²). Здесь же упомянут танец Давида перед ковчегом завета: образ радости барина от рождения сына: «Царем бы Давидом бы / В пляс — да с бубнами! / Сладость невиданная! / Радость трудная!»³³ Тема Давида-псалмопевца — и в стихотворении «Но тесна вдвоем — периода начала эпистолярного романа между двумя «царями» — Пастернаком и Цветаевой³⁴, где вспоминается эпизод смерти царя Саула: «скорбит / Об упавшем ввысь / По сей день — Давид!» (8 августа 1922). Один из смысловых векторов этого текста — попытка заклясть Пастернака от гибели. До осени 1922 года Цветаева рисовала себя «юным Давидом», но теперь в набросках к первому стихотворению будущего цикла «Деревья» в ЧТ-5 слышится мотив соперничества двух поэтов: Давида (Пастернака) и Цветаевой (Саула): «Юным Давидом начав /...недуг / Арфу — Саулом / Рвать из Давидовых рук»³⁵. В стихотворении «Беглецы? — Вестовые?..» (цикл «Деревья») сквозь падающие осенние листья живописует Цветаева образы библейских царей Саула и Давида, а картины природы отображают противоречивые чувства, которые вызывает появление рядом равномошного поэта — Пастернака, отождествляемого с Давидом-«отроком» (1-я Ц. 19–23):

И в разверстой хламиде
Пролетая — кто видел?!
То Саул за Давидом:
Смуглой смертью своей! (2, 145)

Цветаева полагала, что Саул юношу Давида, вопреки всем козням, и гневу, и ревности, любил как сына; эту мысль она высказала в прозе «Пушкин и Пугачев» (1937): «Любовь Пугачева к Гриневу — отблеск далекой любви Саула к Давиду, тоже при наличии кровного сына, любовь к сыну по избранию, сыну — души моей...» (V, 504). В осенних записях 1922 года воспоминание об арфе Давида — рядом со стихом об иве, на которую, согласно 136-му псалму, Давид вешал свою арфу: «Ива, древо скорбящих»³⁶. Во время работы над циклом «Деревья» Цветаева записывает, что желает написать о Давиде в старости: «NB! Непременно старого Давида!»³⁷ Старый Давид — это Давид, утешаемый и согреваемый Ависагой³⁸, умирающий Давид (3-я Ц. 1–2). Давид близок ей в этот момент не только как юный победитель, но как символ духовного, творческого, трагического начала³⁹. Это подчеркивает сравнение первого стихотворения цикла «Деревья»: «Ввысь, где рябина / Краше Давида-Царя / В вереск-седины, / В вереск-сухие моря» (2, 142). Позже образы Саула и Давида появятся в «Лютне» (14 февраля 1923), где демоны (аггелы) пастернаковского дара противопоставлены «пригородам» собственного твор-

чества, а сам Пастернак приравнивается к ветхозаветному Богу: «Лютня! Ослушница! Каждый раз, / Струнную честь затрагивая: / «Перед Саулом-Царем кичась — / Не заиграться б с аггелами!» (2, 167)⁴⁰ «— Иди, будь здрав, / Бедный Давид... Есть пригороды! / Перед Саулом-Царем играв, / С аггелами — не игрывала!» (2, 167). Тема одного из псалмов Давида вводится Цветаевой в «Послание» Федры, в котором Федра соотносит с Давидом Ипполита: «В вошаную дощечку — не смуглого ль сердца воск?! — / Ученическим стилосом знаки врезать... (11 марта 1923) (2, 174). Ипполит для Федры подобен Давиду, просящему Господа о помощи: «...сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей» (Псалт. 21; 15).

Во время работы над стихотворением «Ночь» (12 мая 1923), связанном для Цветаевой с темой поединка поэтов с жизнью, с духовной мощью поэтов, сражающихся со временем, с собой в искусстве, записаны строки: «Это Давиды на Голиафов», «Жизнь! Голиафами навзничь рухай!» (1-я Ц. 17; 5–49) — обратим внимание на смысловую параллель с пушкинской эпиграммой 1824 года. Образ Давида как знак творческого начала находим также в цикле «Час души»: «Час Души — как час струны / Давидовой сквозь сны / Сауловы» (2, 211) (14 августа 1923). Возвращается к царю Давиду Цветаева в диптихе «Овраг», вызванном романом с К. Б. Родзевичем, который назван юным Давидом, поразившим сонмы соперников — мотив главы 18 1-й книги Царств: «В этом бешеном беге дерев бессонных / Кто-то насмерть разбит. / Что победа твоя — *поражение сонмов*, / Знаешь, юный Давид?» (2, 225). Вероятно, здесь аллюзия на эпизод любви Давида к Вирсавии (2-я Ц. 11). Кажется, впервые в Давиде как в архетипе показаны его внешняя красота и молодость, а не поэтическая одаренность. Но это временное прельщение красотой, и уже в «Поэме Конца» звучит мотив Поэта как Вечного Жида, как нового Давида, защитника Иерусалима души: «За Давидов щит — / Месть! — В месиво тел! / Не упоительно ли, что жид / Жить — не захотел?! / Гетто избранничеств! — Вал и ров. / Пошады не жди! / В сем христианнейшем из миров / Поэты — жиды!»⁴¹ В неоконченном стихотворении «Есть счастливы и счастливыцы...» (ноябрь–декабрь 1934) Цветаева отождествит себя, поющую над погибшим в парижском метро молодым поэтом Гронским, с Давидом, певшим над Саулом и Ионафаном (2-я Ц. 1): «Пел же над другом своим Давид...» (2, 323). У Цветаевой выделена именно тоска по Ионафану, которого Давид любил как брата и чья любовь была для него «превыше любви женской» (2-я Ц. 1; 26). Такое же братское чувство выражено во многих явных и тайных обращениях к Б. Пастернаку, в том числе в стихотворении «Ударило в виноградник...» (1935), где образ виноградного куста соотносится с библейским царем Давидом, с Борисом Пастернаком и с Господом Богом как с Виноградарем, воплощенным в природе. Воспринимая сущность лирического творчества и красоту природы как боготворчество, в 1935 году Цветаева вновь обратилась к образу царя Давида, вспомнив стихи Пастернака. Еще раньше, во время создания первого стихотворения цикла «Ручьи», Цветаева уподобила поэзию Пастернака виноградникам: «Виноградниками рокоча»⁴². Возможно, она держала в памяти стихи Пастернака «Достатком, а там и пирами», близкие ей настроением, пастернаковским умением видеть «пустяки» природы. Обратим внимание на лексические соответствия со стихотворением «Ударило в виноградник...». У Пастернака:

О свежесть, о капля смарагда
В упившихся ливнем кистях,
О сонный начес беспорядка,
О дивный, о божий пустяк!⁴³ (1917)

Слово «смарагд» Цветаева употребит в стихотворении «Ударило в виноградник...», тоже любясь пустяками природы:

Светила и преисподни
Дитя: виноград! смарагд!
Твой каждый листок — Господня
Величия — транспарант.

Хвалы виноградным соком
Исполнишь, как Царь Давид —
Пред Солнца Масонским Оком —
Куст служит: боготворит. (2, 333)

Наиболее важны в последние годы жизни Цветаевой тема родства с миром Природы, осознание гражданской бездомности. Цветаева была убеждена, что Поэт живет в свободе, широте и долготе творческого мира, в стране Мечты и Одиночества; в самые трудные времена эмиграции она отстаивала право художника на Тишину Уединенного Миросозерцания. Предметом поэтического восхищения служит виноградный куст, который воспринимается совершенным явлением природы и Божьего величия. Для Цветаевой эти слова о Боге Виноградаре связаны с Евангелием от Иоанна (Иоан. 15: 1, 5)⁴⁴. Связь куста с небом показана через сравнение виноградных веток со всадниками («Что каждый кусток как всадник / Копьем пригвожден к седлу») — образ, имеющий в предшественниках стихотворение «Золотистого меда струя из бутылки текла...» (1917) Мандельштама, известное Цветаевой по сборнику «Tristia»: «Я сказал: виноград, как старинная битва, живет, / Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке» (1, 97). Куст дитя светила и преисподней, дитя земли и неба. Виноград подобен драгоценному камню — темно-зеленому изумруду, ценящемуся дороже алмаза. Цветаева использует древнегреческое название камня. В старину верили, что смарагд (изумруд) спасает от злых духов, от чар любви и бессонницы, изумрудами украшали иконы и храмы. Стихотворение завершается библейским сравнением: куст уподоблен царю Давиду, пронзенному красотой Божьего мира, служащему молебн, поющему псалом во славу Божью: «Хвалы виноградным соком / Исполнишь, как Царь Давид — / Пред Солнца Масонским Оком — / Куст служит: боготворит». Зелень смарагдовых плодов напоминает о зеленых глазах Цветаевой. В этом образном ряду — метафора «Солнца Масонское око», символический знак в виде заключенного в треугольник ока, обозначающий один из атрибутов божества — его всевидение. Эта метафора выражает многобожие Цветаевой, ее пантеистическое восприятие природы. Цветовое решение стихотворения: седая мгла — золотой обрез — краснозем почвы — световое железо — смарагд — создает представление о райском уголке земли. Виноград становится частью праздника в день Преображения Господня, когда благословляются и освящаются принесенные верующими в храм виноград и древесные плоды. Благословляя плоды, церковь утверждает мысль, что всё от человека до растения должно быть посвящено Богу как его творение, так что христианские, новозаветные мотивы в стихотворении «Ударило в виноградник...» также присутствуют. Куст — *транспарант* Божьего величия. Как попало в стихотворение столь не подходящее стилистике текста *советское* слово? Оно из России, откуда недавно, три месяца назад, в июне 1935 года, в Париж приезжал Борис Пастернак. Цветаева сводит рядом столь разные, разностильные слова: смарагд (сказка) и транспарант (лозунг) оттого, что разговаривает стихами с Пастернаком, спорит с его советскос-

тью, защищает право поэта на одиночество, противопоставляет свой романтический взгляд на мир пастернаковскому, общественному, его «колхозам». «Ты полюбишь колхозы!» (VII, 552) — реплика Бориса Леонидовича во время свидания с Цветаевой в июне 1935 года, которую Марина Ивановна приводит в письме поэту Николаю Тихонову 6 июля 1935 года⁴⁵. *Световой лейтмотив* стихотворения о виноградном кусте подчеркивает, что Цветаева ведет сентябрьский диалог именно с Пастернаком: напомним, первая статья Цветаевой о его творчестве называлась «Световой ливень» (Берлин, 3–7 июля 1922). По-видимому, Пастернак постоянно присутствовал в электрическом поле цветаевской души. У Цветаевой своя шкала ценностей, идущая от сотворения мира, от Ветхого Завета. Куст, обращенный в небо, воспринимается *автопортретом* Цветаевой и *собираТЕЛЬНЫМ портретом* Поэта, ощущающего себя сродни явлению природы, подпадающего под власть Красоты и Света, Бога и Творчества. Поэт тоже служит Богу, как куст, его танцующая душа подобна Давиду, танцующему перед ковчегом завета (2-я Ц. 6). Мифологема куста, таким образом, оказывается в стихотворении «Ударило в виноградник...» средством сказать о красоте фавьерского куста, о Боге-Виноградаре, о гениальности поэзии Пастернака, о своей осененности вдохновением, о Поэте и Одиночестве... Чтение текстов Цветаевой показывает важность, преемственность и длительность в ее поэтике библейских ассоциаций, связанных с царем Давидом.

**«Там не шмель, не кузнечик, там — царь Давид»
(царь Давид в стихах Елены Шварц)**

Творчество Елены Шварц с поэтами-предшественниками соединяет наследование старых, ветхозаветных, и новейших, новозаветных, мифов, восприятие своей миссии поэта как продолжения пути царя Давида и Орфея, как пришествие Поэта нового воплощения. Для Е. Шварц чтение «Псалтыри» связано с открытием духовного зрения: «Когда псалтырь читают много — / Слабеют земные глаза, / Сиянье вижу я и чую Бога, / Как чувствуют восход, волнуясь, небеса» (1, 244). Жаркость Псалтыри, жаркость чувств Давида напоминает доменную печь, отсюда соотнесение себя, Поэта, с Давидом, преобразованного чтением Псалтыри: «Хоть я была — чем Бог не может быть, / Но стала вдруг — чем человек не смеет» (1, 244). В стихотворении «Танцующий Давид»⁴⁶ разработан эпизод из жизни Давида, танцующего перед ковчегом завета (2-я Ц.). Стихотворение посвящено Н. Ясногородской. Елена Шварц изображает монолог Давида, обращенный к Богу, для которого Давид становится тем, чем в Псалтыри Бог был для Давида. Можно заметить, что во всех псалмах «Псалтыри» Давид славит Господа или обращается с просьбой помочь ему, человеку, боящемуся Бога, любящему Его, соблюдающего законы, который ощущает себя немощным перед лицом врагов своих. В отличие от стихов Псалтыри, Елена Шварц делает помощником не Бога, а Давида. Это он, Давид, готов пожалеть Бога и стать его защитником:

Танцующий Давид, и я с тобою вместе!
Я голубем взовьюсь. А ветки, вести
Подпрыгнут сами в клюв.
Не камень — пташка в ярости,
Ведь он — Творец, Бог дерзости,
Выламывайтесь, руки! Голова,
Летай из левой в правую ладонь,

До соли выкипели все слова,
 В Престолы превратились все слова,
 И гнется, как змея, огонь⁴⁷. (*Танцующий Давид*)

Начинается стихотворение с соотнесения лирической героини с Давидом: «Танцующий Давид, и я с тобою вместе! / Я голубем взовьюсь. А ветки, вести / Подпрыгнут сами в клюв». Голубь — образ, возможно, из 54-го псалма: «И я сказал: «кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился» (П. 54; 7). Танцующий Давид, помазанный ангелами на царство Поэзии, — посланец Бога и Вестник Царства Небесного, в чей клюв вложены «вести». Елена Шварц выделяет в Давиде жертвенное начало: он готов быть щепкой на костре всежжения во славу Бога живого: «Трещите — волосы, звените — кости! / Меня в костер для Бога щепкой бросьте». Возможно, Е. Шварц использует образ 6-го псалма: «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены», — но использует по-своему. Библейский Давид говорит о своей печали: «Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих» (П. 6; 8). Но печаль Давида в стихах Елены Шварц — это печаль самого Бога, которую чувствует любящий Его Давид. Молитва — «соль» от выкипевших чувств, та самая суть, что остается от переживаемой жизни (от Матфея 5). Престол — возвышение в храме, откуда ведется православная служба. Слова-престолы — образ, идущий из понимания Престола символом Промыслителя всего сущего, всей вселенной, в качестве знамени единого Бога Вседержителя. Именно на Престоле в православном храме располагается Евангелие. Поэт — это Давид, превращающий слова в Престолы, наделяющий силой дерзкие слова, сгорающий в костре любви человек. Бог находится внутри Давида, псалмопевец отражает Бога, как зеркало, как глаз, как слеза: «О Господи, позволь / Твою утишить боль». При этом сам Давид — страдающее начало: Земля и земное существование воспринимаются Давидом как рай, потому что мы, люди, не умеем жить счастливее. «Нам не бывает больно», — эти слова воспринимаются то ли ложью Давида, то ли иронией автора, читатель слышит в стихах как бы два голоса: Давида-псалмопевца и поэта-современника:

Нам не бывает больно,
 Мучений мы не знаем.
 И землю, горы, волны
 Зовем, как прежде — раем.
 О Господи, позволь
 Твою утишить боль.
 Щекочущая кровь, хохочущие кости,
 Меня к престолу Божию подбросьте. (*Танцующий Давид*)

Любопытно, что ветхозаветный Бог, для которого скачет и пляшет Давид, воспринимается Е. Шварц как «Бог дерзости», а сам Давид и Поэт — «птичка в ярости». Ясно ощущается малость человека по сравнению с Творцом и его сходство с Богом: «Выламывайтесь, руки! Голова, / Летай из левой в правую ладонь». Нет ли в этом танце Давида параллели с танцем дочери Иродиады, за свой танец потребовавшей у Ирода голову Иоанна Крестителя? Нет ли в Давиде Е. Шварц будущего Иоанна Крестителя? Давид написан удивительно ярко, в движении. Почему-то вспоминается «Демон» Врубеля. Отрывающаяся от тела голова — мотив смерти Иоанна Крестителя, образ головы «Поэмы Воздуха» Цветаевой. Шварц использует отрицательное сравнение «Не камень — птичка в ярости». Образ камня — из вто-

рой книги Царств, когда человек из дома Саулова бросал камнями в Давида и его рабов (16; 6). Возможно, здесь цитата из 117-го псалма: «О, Иисус! Отверженный — он камень. Но камень, легший во главу угла» (117; 22), о нежелании признать Христа Мессией. В этом контексте невольно вспоминается и название первой книги Мандельштама («Камень»), потому что Давид — поэт.

В финале стихотворения кровь и кости Давида наделяются эпитетами: щекочущая кровь, хохочущие кости. Жизнь — щекотание нервов, жизнь — театр (Шекспир), и здесь Давид (Поэт) предстает как Кровь и Кости, похожий на Гамлета, странный, смеющийся артист, который к престолу Божию, к Слову, может добраться через Смех смерти и Щекот крови. Он плачет, когда другие смеются, и смеется, когда другие плачут. Утешителем Бога дерзости становится отважный человек. С точки зрения Мелхолы, дочери Саула, поведение танцующего Давида безнравственно: «... как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек!» (2-я Ц. 6; 20). Давид же отвечал ей: «...пред Господом играть и плясать буду; И я еще больше унижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен» (2-я Ц. 6; 22). У Е. Шварц обнажение Давида дано метафорически, не в снятии одежды, а в игре на костях и крови, на том, на чем играют все поэты, выражая в стихах эмоции души.

Танец царя Давида иносказательно осмысливается как творческий акт в главе поэмы «Труды и дни Лавинии, монахини из ордена Обрезания Сердца»:

В поле звенит,
Там не шмель, не кузнечик,
Там — царь Давид.
У него есть огненная лестница —
Ровно сто и пятьдесят ступеней,
Он ее закидывает в небо
И по ней танцует на коленях,
Прямо в небо, полное икрой
Звездной, — в чрево рыбины разумной.
Ангелы, пленясь его игрой,
Свои жилы отдают на струны.
Но к утру он возвращается в цветок,
Лестница в гармошку — вся уснула.
И опять он только сок, багровый сок,
И любовь царя-пчелы Саула⁴⁸. (*Зеленый цветозек*) (2, 177)

Не случайно эти стихи написаны так, что действуют своим магическим ритмом, не оставляют читателя. Начало стихотворения своим ритмическим рисунком, да и лексически напоминает «Слово о полку Игореве» Н. Заболоцкого: «Что там шумит, / Что там звенит / Далеко во мгле, перед зарею? / Игорь, весь израненный, спешит / Беглецов вернуть обратно к бою». Моменты сражения Игоря, его славного бегства из плена в «Слове» связаны с помощью и участием природных сил. Так и в образе Давида у Е. Шварц показано его получеловеческое, эльфическое начало. В земной поэтической игре царя Давида — игра ангелов, отдающих Давиду на струны «свои жилы». Танец Давида в честь ковчега завета живописуется по лестнице, ведущей в самое Небо, — на мотив лестницы Иакова в его сне. После танца Давид опять превращается в цветок, чтобы вскоре стать добычей царя-пчелы Саула. Мотив превращения из цветка Е. Шварц заимствовала у Цветаевой из

поэмы «Молодец», поэмы-сказки о неземной страсти Маруси и Молодца, а метафорически — о любви Пастернака и Цветаевой, только у Цветаевой Молодец превращается в шмеля, а у Е. Шварц — Саул-пчела. Е. Шварц создает сложный любовный треугольник между ангелами (Богом), Давидом и Саулом, где земная любовь-ненависть Саула играет такую же оплодотворяющую роль, как любовь к Давиду Бога. Царь Давид для Е. Шварц — это любимый библейский персонаж, который выражает ее представление о поэте как о бессонной пчеле Господней⁴⁹, которая трудится во славу Божию:

Ты был там, путник? Ты прочел
Пергамент темных старцев строгих,
Что улием бессонных пчел
Уж не о мире молят, а о Боге. (*Поход юродивых на Киев*, 1994) (2, 146)

В стихотворении «У врат» о священном Ерусалиме образы двух царей — Давида и его сына Соломона — как бы открывают лирической героине мир Ерусалима:

Пряный кофе. Головокруженье.
Мелькают ящерицы. Сор.
Врезаются в толпы горячее движенье
Давид и Соломон и мальчик-вор.
<...>
Сиянье. Блеск. О, световой зиндан!
О, мне уже не выбраться оттуда.
До ссудного пробуда.
Чуть мрака! Хоть на гран! (*У врат*, 1997) (1, 360)

По мнению Е. Шварц, в стране Давида, в священном Ерусалиме, ценится не монета, а слово: «Два царя сидят незримо, / Не монету просят — слово». Два царя — Давид и Соломон, берущие «слово» за вход в Иерусалим, в «яму света», в город Бога. Вероятно, образ Давида присутствует и в тех стихотворениях Е. Шварц, когда она не называет его имени, а упоминает только музыкальный инструмент: «Вот я лежу на дне колодца / Самоиграющей лютней...» (1, 211) («Далекие старцы»). Е. Шварц переодевается в одежды царя Давида в стихотворении «Память о псалме» (сб. «Корабль», 1982), посвященном Ольге Седаковой, и пишет портрет поющего, взывающего к Богу Давида:

Вот сию я при реках своих Вавилонских,
Вот и плачу (ли плачу?) на Черною Невкой,
Низко арфу повесив на иву, обнявшись
С жизнью — верткой пиявкой, ухабистой девкой.

Вот стою над обрывом, над свиваемой в клуб темнотой,
Это чистым все слышно, это чистым все видно,
И пути их прямы — кресты,
Я ж по кругу вращаюсь в рулетке безвидной —
По бельму слепоты. (*Память о псалме*, 1981) (1, 118)

Ольга и Елена празднуют именины 24 июля — в один день, но в контексте стихотворения Седакову Шварц противопоставляет себе как чистую нечистой: «Это

чистым все слышно, это чистым все видно». Возможно, название «Память о псалме» намекает на стихи О. Седаковой⁵⁰, возникшие на почве псалмов, а также на текст псалма царя Давида: уже было отмечено критиками, Е. Шварц написала свою вариацию на мотив 136-го псалма «На реках Вавилонских»⁵¹. Это псалом о переживаниях иудеев, когда их лишили отечества, Иерусалима, святого храма и повели в плен. Иудеи были пленены вавилонянами и горько плакали о своей земле. Образ жизни как вавилонской блудницы в стихах Е. Шварц — отголосок чтения Откровения Иоанна Богослова. С образом блудницы связывали богословы города и империи: Рим, Иерусалим, Москву⁵². У Елены Шварц ее городом-вавилонской блудницей определяется Ингерманландия, то есть пра-Петербург и его пригороды. Вавилонскую блудницу обычно изображали женщиной в дорогих одеждах, сидящей на семиглавом звере, с чашей в руке. В стихах Елены Шварц в начале стихотворения вавилонская блудница — авторское «я» — Ингерманландия — верткая, ухабистая девка. К 136-му псалму до Елены Шварц обращался Н. М. Языков. В его стихотворном переложении псалма важна тема невозможности предать прошлое, родные края, поэтому поэт готов отказаться даже от своего призвания, разбить любимый, звонкий тимпан, чтобы избавиться от лукавства языка:

Нет, свято нам воспоминанье
О славной родине своей;
Мы не дадим на посмеянье
Высоких песен прошлых дней! (Н. М. Языков. Псалом 136)

Говоря о сокрушении оков плена, Языков не избегает несколько грозной, страшной в своей откровенности и жестокости прямолинейности псалма, слов об убийстве младенцев:

Блажен, кто смелою десницей
Оковы плена сокрушит,
Кто плач Израиля сторицей
На притеснителях отмстит!

Кто в дом тирана меч и пламень
И смерть ужасную внесет,
С негодованием о камень
Его младенцев разобьет! (Н. М. Языков. Псалом 136)

Начало псалма Е. Шварц, подобно тексту Языкова, — воспоминание о Сионе как о родине, как об Иерусалиме, потому что дочь Сиона — это синагога, Иерусалим, церковь, пречистая дева Богородица⁵³. «Память о псалме» Е. Шварц соответствует псалмам-плачам Псалтыри, мольбе к Богу, рядом с которым человек ощущает себя слабым, грешным, нуждающимся в участии (в этом существенное отличие этих стихов от «Танцующего Давида»). Свое «Я» представляется Е. Шварц вращающимся по кругу. У Цветаевой есть статья «Поэты с историей и поэты без истории», где она писала о чистых лириках, которых видела в образе круга, и о поэтах с историей, которые соотносились с образом стрелы, несущейся в бесконечность: «Мысль — стрела. Чувство — круг» (V, 403). Е. Шварц воспринимает О. Седакову поэтом с историей, то есть поэтом, чей путь — путь развития: «И пути их прямы — кресты». Здесь, по-видимому, намек на христианский вектор этого пути. О себе же говорит как о чистом лирике: «Я ж по кругу вращаюсь в рулетке безвид-

ной — / По бельму слепоты». Обращение к Богу Е. Шварц с просьбой вознести на гору — мольба об освобождении от жизни, «не знавшей отрады молитвы», к другой форме существования, которую она видит, по-видимому, в движении над долиной Ингерманландской, над болотами жизни:

Возведи меня на гору, Бог мой простой!
Ты послал меня вниз, как солдата на битву,
Я же сжился с вдовицей на долгий постой —
С красноглазой, не знавшей отрады молитвы,
С жизнью слепенькой сжился душой холостой,
Возведи меня на гору, Бог мой простой!

Пронеси меня вкось над долиною
Ингерманландской,
Покажи мне равнины болотистый прах,
Где осока, где бесы в своем окаянстве
Держат слезные токи в подземных ключах
И замкнули там наглухо. (1981) (1, 118)

Ингерманландия (швед. Ingermanland) — древнее название земель, на которых стоит Петербург, этнокультурная и историческая область на северо-западе современной России, которая располагается по берегам Невы, ограничена Финским заливом, Нарвой, Чудским озером, Ладогой, а на границе с Карелией реками Сестрой и Смородинкой. В XII–VIII веках эта территория называлась Ижорской землей, в 1708 году — Ингерманландской губернией, а в 1710 году преобразовалась в Санкт-Петербургскую губернию. По одной из версий, название произошло от имени шведской принцессы Ингигерд, жены Ярослава Мудрого (версия В. Н. Татищева). Самые древние жители этой области — народность воть, жившая в нижнем течении реки Черной, что и обыгрывает Е. Шварц в обращении к Седаковой. Вероятно, название народности «воть» должно ассоциироваться у Е. Шварц с ее поэтической сущностью, находясь в одном ряду с Черной речкой, которая, с одной стороны, является частью Ингерманландии, с другой — входит в трагический миф русской поэзии в связи с дуэлью Пушкина. Вавилонские реки, Черная Невка, Ингерманландская долина, Финское море — очевидно, что автор стремился использовать в стихотворении топонимы, которые переносят его в Прошлое русской и мировой культуры, в мир, более вечный, чем его нынешнее драматическое существование. Эти топонимы стоят рядом с древнеславянским миром, близким О. Седаковой, представительнице Москвы. У нее своя Москва-река и своя поэтическая «пратерритория». И здесь возникает невольная параллель с обращением Цветаевой к Блоку в цикле «Стихи о Москве», «У меня в Москве — купола горят...», хотя явного, названного противопоставления московской и петербургской рек в стихах Елены Шварц нет, но мысль высказана близкая. Е. Шварц противопоставляет себя «чистой» Седаковой, дочери Сиона и представительнице Москвы, чье «очищенное сердце может петь песнь Господню». Поскольку Вавилон символизирует чрезмерную привязанность к мирским благам, Е. Шварц противопоставляет себя, человека, дочь блудного Петербурга, Небесному Иерусалиму, — себя, грешницу, себе, духу. Ад, пожалуй, воспринимается такой высотой, которая противостоит жизни: «...бесы в своем окаянстве / Держат слезные токи в подземных ключах / И замкнули там наглухо». Финальные строки 136-го псалма о младенцах церковь толкует как борьбу именем Иисусовым, способность молитвой уничтожать грех, страстные, грешные

помыслы, не давая греху укрепиться. Е. Шварц преобразует эту мысль, думая об утоплении не младенцев-грехов, а старухи-жизни в творчестве:

Надо бы, надо бы
Зарыдать, утопить бы слепую старуху в слезах
И по Финскому морю печали и жалобы
В тихо тонущих плыть кораблях. (*Память о псалме*) (1, 118)

Пиявка и ухабистая девка (Жизнь) начала стихотворения превратилась в старуху в финале, что, вероятно, соотносится не только с образом Жизни, но и с самой лирической героиней, трансформирующейся из девки в старуху. Вавилонские реки печали и слез, открывавшие «Память о псалме», в финале словно отмечают авторское движение по кругу. Кольцевая композиция стихотворения передает замкнутость поэта на одной лирической теме, завершение молитвы плачем. Поэт собирается плыть на тонущих кораблях, в трагической невозможности другого пути. Темы петербургских болот и Финского моря, вероятно, связаны для Елены Шварц с пушкинскими и блоковскими стихами, сродни пушкинским бесам, которые у Е. Шварц обитают не в метели, а в болоте: «Покажи мне равнины болотистый прах, / Где осока, где бесы в своем окаянстве / Держат слезные токи в подземных ключах / И замкнули там наглухо». Замечательно, что последний стих («И замкнули там наглухо») короче предшествующих и как бы пресекает тему. Подземные токи соотносятся с человеческой природой и теми страданиями, которые поэзия делает своими. Холостой солдат, посланный на битву с жизнью, поэт воспринимает жизнь как вдовицу, с которой он сжился, потому что она «слепенькая» и не видит его уродства. Стихотворение написано от лица псалмопевца Давида — вот отчего поэт использует образы, на первый взгляд не соотносимые с лирической героиней. Дважды, как рефрен, повторяется: «Возведи меня на гору, Бог мой простой!» — вариация стиха из псалма 60: «От конца земли взываю к тебе в унынии сердца моего: возведи меня на скалу, для меня недосыгаемую»⁵⁴ — в этой строке словно слышится вздох. Во всяком случае, «Бог» рифмуется со «вздох», и этот вздох автора и Давида как будто слышит читатель. Для Елены Шварц в ее интерпретации темы 136-го псалма, по-видимому, также важен мотив пения не на родине, а на чужбине. Таким образом, в стихотворении значима тема удаленности поэта от истинной родины, которая мыслится как покинутый Иерусалим, заточение в плену земной жизни, где нельзя свободно петь, подобно тому как не могли петь иудеи в вавилонском плену — вероятный намек на несвободу слова в России, создающий смысловую арку со стихотворением «Рим» Мандельштама⁵⁵. Тема поэтической преемственности слышится и в стихотворении Е. Шварц «В полусне» в образе звезды царя Давида, символе многобожия поэта, совмещающего христианскую, иудейскую и друидскую веры:

Оплели меня легкие сны, оплели,
Нежной цепкой тугой повиликой под кожу вросли.
Я проснусь, поищу третий бок,
Плеть с виска сорву, белый цветок.

В полусне становлюсь я простой, шаровидной.
То стою на мысу, то латыни глаголы учу.
На сердце — крест, на животе — звезду Давида,
И листья клевера — под ложечкой черчу⁵⁶. (*Сб. «Корабль», 1982*) (*В полусне*)

ЛИСТ КЛЕВЕРА — символ ирландско-кельтского национального сознания, почитавшийся уже друидами дохристианской эпохи как священное символическое растение⁵⁷. Вероятнее всего, у Елены Шварц употребляется как символ гармонии. В ее стихи он мог прийти из любви к эпохе Средневековья, когда он часто использовался в орнаментах⁵⁸, а также из любви к творчеству Цветаевой. Известно, что стихотворение «Стихи растут — как звезды и как розы...» возникло как отклик на подарок дочери четырехлистника клевера «на счастье»⁵⁹. Таким образом, клевер у горла может означать поэтическую преемственность, связанность поэзии Е. Шварц с общим для нее и всех поэтов источником — природой. Клевер был священным растением у друидов, в дохристианскую эпоху. До сих пор трилистник — неофициальная национальная эмблема Северной Ирландии, поэтому можно предположить, что Е. Шварц вспоминала кого-то из ирландских поэтов (например, О. Уайльда). Надо сказать, что в русской и советской геральдике трилистник употреблялся крайне редко (В. В. Похлебкин). Именно горло Поэта обладает самым древним родством с Богом — через деревья, через природу, а звезда Давида и крест делают Поэта существом, соединяющим разобщенное человечество. Для Е. Шварц Давид — прекрасный герой, который стоит вровень со звездами; чьи поступь, бег, танец — движение самой Вселенной:

О босые звезды Палестины,
 Вы бежали, пятками сверкая,
 С центра неба прямо к его краю,
 Свитки неба в стороны свивая,
 Когда царь Давид наверх <по башне>
 По спирали, будто змей, скользил
 (Флейта, провод, место встречи сил)
 И, зажмурившись, лицо открывши Богу,
 Как шахтер из шахты выходил.
 Не видали, пятками сверкая,
 Девы рая, как играл он, пел и голосил,
 И за это — как сверкающую птицу попугая —
 Бог с ладони милостью поил. (1986) (1, 206)

Для Бога человек, даже царь Давид, — только попугай, сверкающая птица, но повторяющая не свои, небесные, нечеловеческие слова. Босые звезды Палестины соотносятся с босыми пятками Давида. Пята Ахиллеса, символа человеческой уязвимости, у Е. Шварц трансформируется в прекрасную, художественную пятку Давида, созданного Микеланджело и Манделштамом, символ избранности и движения. Поэт — тот, кто разговаривает со звездами, кто видит амфитеатром искусства звездное небо, кто танцует, как «легконогий» Давид, и трудится, как шахтер.

В стихотворении Е. Шварц «Зима читает при свече...», возникшем после чтения «Псалтыри», Бог лепит из Давида свое солнечное подобие, смешиваясь с человеческой «глиной», и тогда нет границы меж Богом и человеком: «Бог — злато был, Давид был глиной, / Но чудно так смешались огни, / Что не найти меж ими середины» (1, 244). Стихотворение обращено к поэту Олегу Юрьеву, поэтому воспринимается как рассказ и о поэте-современнике, в котором присутствуют Давидово и Богово начала. И зима творчески подобна царю Давиду, когда собирается «крепким льдом стелить псалом» (1, 244). Очевидно, в царе Давиде для Е. Шварц важнейшими признаками богоизбранности стали «держимость» в вышних руках, го-

ворение не собственных, небесных слов, способность не только просить поддержки, но и помогать: Богу также необходим Давид-творец, Давид-поэт, как человеку Бог, поэтому можно сказать, что в лирике Е. Шварц мы ощущаем замечательный гуманистический пафос. Ее Бог не может обойтись без человека, строит вместе с ним духовные шахты и города, добывает лирический мед.

**«Руно из времен Гедеона...»
(«Давид поет Саулу» Ольги Седаковой)**

Тема потерянной родины в мистическом плане изложена в стихотворении «Давид поет Саулу» Ольги Седаковой. К сожалению, мы не знаем точной даты его создания. Стихотворение Ольги Седаковой «Давид поет Саулу...» (из цикла «Ворота. Окна. Арки», 1979–1983) прекрасно своим напевом. Оно представляет собой песню, и по сюжету, раскрываемому в тексте, это тоже песня. Отдавая дань восхищения начальным строкам, вводящим тему, С. С. Аверинцев отмечает: «В моих глазах едва ли не самый удачный седаковский зачин, рискну сказать, один из образцовых зачинов в русской поэзии нашего века, — <...> сразу вводящее не то чтобы просто *in medias res*, но вовнутрь чего-то вроде бесконечной мелодии Рихарда Вагнера»⁶⁰. По словам Аверинцева, в стихотворении «Давид поет Саулу» Седакова как бы передает музыку речи самого Рильке, хотя и спорит с ним по сути сказанного Давидом: «У Рильке певец отгонял от царя унылую одержимость напоминанием о чувственных радостях, у Седаковой предлагается катарсис изнутри самой доводимой до катарсиса безутешности, — ведь оно по своей музыкальной фактуре (в особенности когда дело доходит до коды), а также по всей организации соотношения между словом и метафизическим заданием гораздо больше похоже на подлинного Рильке, чем любые переводы»⁶¹. Ольга Седакова изображает Давида, поющего для Саула, Давида-певца, поэтому так важна музыка, положенная в основу обращения Давида к Саулу. Мотив в данном случае — особое построение строфы и рифмующиеся строки. Обратим внимание на меняющееся количество стихов в строфе, создающее движение напева: в первой их пять, во второй — шесть, в третьей — восемь, в четвертой — семь, с пятой по восьмую — по семь, в девятой — шесть, а в заключительной десятой — один стих. Сюжет стихотворения «Давид поет Саулу» рассказывает о том периоде жизни Давида, когда он находился рядом с Саулом (2-я Ц.). По признанию Ольги Седаковой, она написала стихотворение в ответ на стихи любимого в юности Р.-М. Рильке. Седакова сохранила название, данное стихотворению Рильке — «David signt vor Saul», чтобы читающий стихи мог сравнить ее версию библейской истории со стихами австрийского поэта. Значимость самого действия и состояния тоже подчеркнута заглавием — «Давид поет Саулу», отмечена длительность этого пения: песня Давида — действенное выражение его чувств. Стихотворением Седакова спорит с Рильке, о чем бы мог говорить Давид с Саулом в песне. Саула Давид называет «мой господин» — довольно традиционная, прежде всего, для немецкого языка формула. «Мой господин» звучит для русского уха как перевод с немецкого. И этим обращением Давид как бы признает старшинство Саула. В то же время в стихах Давида к Саулу важен мотив пения души для души, разговора по душам в песне. Влияние на душу Саула Давид объясняет в отрицательном сравнении: душа «не врач и не умная стража». Давид необходим Саулу не больше, чем личный врач, чем умная стража (юноши в стихах Рильке), чем мать, сестра и селенье, где можно побыть в уединении (понятия даны в нисходящей градации), но он нужен не меньше, чем все перечисленное, потому что названные понятия задают определенную духовную высоту, через которую связываются два царя, нынешний и будущий:

Да, мой господин, и душа для души —
не врач и не умная стража
(ты слышишь, как струны мои хороши?),
не мать, не сестра, а селенье в глуши
и долгая зимняя пряжа⁶². (*Давид поет Саулу*, 1979–1983)

Если говорить о лестнице соответствий, то Давид удаляется от темы «врача» для души к теме прядения, связанного с образами золотого руна, судьбы и времени. Таким образом, Седакова усугубляет тему рокового одиночества Саула перед Богом, перед своими борениями и муками.

В Библии о любви к Давиду сына Саула Ионафана говорится следующее: «И снова Ионафан клялся Давиду своею любовью к нему; ибо любил его, как свою душу» (1-я Ц. 20; 17). Вероятно, именно эти слова вспоминает Ольга Седакова, излагая речь Давида в песне Саула: «Да, мой господин, и душа для души —/ не врач и не умная стража». Эти слова о любви к Давиду, как к собственной душе, повторяются в книге Царств, по крайней мере, трижды. Саул ревновал к Давиду народ, любивший Давида больше, чем его: «И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи; ему недостает только царства» (1-я Ц. 18; 8). Давид вовсе не считает себя лучшим собеседником, хотя знает, что умеет хорошо играть, но словно сомневается в душевном отклике Саула («ты слышишь, как струны мои хороши?»). Фразеологизм «провести вечер за чашкой чая» в стихах Седаковой преобразуется в предложение Давида провести вечер с его душой:

Холодное время, не видно огней,
темно и утешиться нечем.
Душа твоя плачет о множестве дней,
о тайне своей и о шуме морей.
Есть многие лучше, но пусть за моей
она проведет этот вечер.

Вероятно, Давид предвосхищает своим вешим пением предстоящее Саулу грядущее страдание, пытается утешить душевную боль царя, который вскоре должен потерять своих сыновей и погибнуть от горя. Давид жалеет Саула, зная его тайные мысли о смерти. Слова «о тайне своей» звучат двусмысленно. Это тайна жизни всякого человека и тайна его страхов. Саул боится потерять власть и жаждет гибели Давида. Жизнь показана как «печаль», а Смерть — Исход, манящее далекое пространство, подобное древней родине евреев, шедших из Египта в Землю обетованную. Таким образом, О. Седакова, как и Е. Шварц, касается текста 136-го псалма и вавилонского плена.

В обращении Давида к Саулу главными являются темы творчества и смерти. По мнению Давида, человек — «гнездо разоренья и стога». Песня Давида не только лекарство для Саула, снимающее боль, а «труд», летопись истории человечества со времен Гедонеа, с судного дня до Страшного суда. Давид беседует с Саулом о смысле существования. Зачем человеческая душа строится, словно птичье гнездо⁶³, зачем Богу разоренное, покинутое ангелами, тоскующее, печальющееся гнездо человеческой души:

И что человек, что его берегут? —
гнездо разоренья и стога.

Зачем его птицы небесные вьют?
 Я видел, как прут заплетается в прут.
 И знаешь ли, царь? не лекарство, а труд —
 душа для души, и протянется тут,
 как мужи воюют, как жены прядут
 руно из времен Гедеона.

Тема гнезда связана с темой защиты Израиля и суда, поскольку Гедеон защитил Израиль от мадианитян и в течение сорока лет судил Израиль, но отказался от царства⁶⁴, с темой мировой истории. Образ золотого руна, шкуры золотого барана, ставшей символом связей между Грецией и Востоком, символом счастья, обозначает, вероятно, течение Времени, движение Истории и повторяется дважды: руно — символ судьбы, прядомых нитей жизни. Давид собирается увлечь царя рассказом об истории, о древних временах, напомнить ему о былых сражениях. В то же время эти слова являются как бы словом о рождении лирики.

Песня Давида — печальная песня. Слово «печаль» повторяется в этой строфе четырежды. Любопытно актуализируются у Седаковой устойчивые идиомы: безответная любовь (безответная даль), спит как убитый («где я, как убитый, лежу»): это усиливает наше внимание к переживанию Давида своего отношения к Саулу как безответной любви, понимание жертвенности своей судьбы («променяю себя на печаль»). Давид меняет душу на страдание, на неразделенную любовь; говорит об умирании в начале жизни, на пороге юности: здесь и мысль о будущей угрозе жизни, которая будет исходить от Саула:

Какая печаль, о, какая печаль,
 какое обилье печали!
 Ты видишь мою безответную даль,
 где я, как убитый, лежу, и едва ль
 кто знает меня и кому-нибудь жаль,
 что я променяю себя на печаль,
 что я умираю вначале.

По Библии, и добрый, и злой дух бывали над Саулом «от Бога»: «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, — и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него» (1-я Ц. 16; 23). Следовательно, тот злой дух «от Бога», который отлетал от Саула, прилетал к Давиду. Или над ними обитал один дух на двоих и попеременно мучил страданиями? И дух от Бога мог становиться добрым или злым, в зависимости от настроения Саула? Тогда, освобождая Саула от злого духа, Давид сам становился добычей злого духа. Любовь к Саулу видится Давиду болезнью, но это предписано небесами, и он исполняет начертанное, юную жизнь отдает на заклятие старости, а его поведение напоминает судьбу Христа и его отношение к Отцу. Давид видит себя пленником, который пытается угадать местонахождение родины по звездам, как Мцыри Лермонтова. Картина созвездий — песня Давида для Саула, попытка обрести небесную родину через песнопение:

И как я люблю эту гибель мою,
 болезнь моего песнопенья!
 Как пленник, захваченный в быстром бою,
 считает в ему неизвестном краю

знакомые звезды — так я узнаю
картину созвездия, гибель мою,
чье имя — как благословенье.

Картина звездного неба передает гибельность задачи стать для Саула то ли игрушкой, то ли утешающей песней. Тема смерти звучит в стихотворении как мысль о внутреннем ветре души, как о недоступной равнине, о которой человек мечтает в старости:

Ты знаешь, мы смерти хотим, господин,
мы все. И верней, чем другие,
я слышу: невидим и непобедим
сей внутренний ветер.

Давид сравнивает себя с ребенком («мы просим о ней, как грудные»), который неожиданно просыпается среди ночи и вглядывается в иной мир, плачет, не зная о чем. Какая тоска томит его? Давид думает, что тоска по смерти томит и Саула. Первая книга Царств (глава 31) заканчивается гибелью Саула, который, горюя о поражении и гибели сыновей, упал на свой меч. Когда Давид поет Саулу о смерти, предчувствуя будущее самоубийство царя, он говорит и о своей смерти («мы смерти хотим»). А потом, в своем плаче над умершим Саулом, Давид станет оплакивать «сильных» (слово «сильные» несколько раз повторяется в его причитании: 2-я Ц. 1; 19). Давид объединяет себя с Саулом («мы смерти хотим»). И та же тема единства, родства Саула и Давида звучит у Рильке:

В этом единенье чья заслуга?
Царь, мы в дух преобразили вес.
Нам бы впредь не отпускать друг друга —
юношу и старца — мчась по кругу
чуть ли не созвездьем средь небес

(Р.-М. Рильке, пер. К. Богатырева)

Возвратившись к стихотворению Седаковой, обратим внимание на сопоставление поющего Давида с ребенком, проснувшегося среди ночи, откликающегося на зов таинственных сил, соотносимых автором с голосом флейты заклинателя змей («Какая звезда / его вызывает? какая дуда / каких заклинателей?»). Когда ребенок слышит зов небесной флейты, для него не существует «ни стыда, ни суда, ни милости». Смерть мыслится Давидом как антиномичное царство, откуда люди вынесли все представления о добре и зле. Давид в финале стихотворения говорит сбивчиво. Сказав, что слышание музыки небес для него вне суда, он переходит к следующей мысли, а потом возвращается к «ни тайны, ни птицы небесной». Получается, что момент творчества — а песня — это и есть творение, — возможность преодолеть все то, что нельзя преодолеть другим способом. Вечное «да» пространства — ответ, который слышит Поэт с неба, а он и есть ребенок Бога, оказывается важнейшим критерием того, как следует относиться к происходящему на Земле, критерием стоимости человеческого существования:

Вечное да
такого пространства, что, царь мой, тогда
уже ничего — ни стыда, ни суда,
ни милости даже: оттуда сюда

мы вынесли всё и вошли. И вода
несет, и внушает, и знает куда...

Ни тайны, ни птицы небесной

Тема воды реки мертвых, воды реки Жизни, Истории и Времени сменяется последним стихом, как бы символизирующим одиночество Давида, поющего Саулу, и его тайное знание, полученное в песне. Ольга Седакова намеренно обходится без симметрии стиховой композиции. Стихотворение не закончено, как не завершена сама жизнь, как не разгадана тайна посмертия. Если подводить итог разбору, можно заключить, что в образе Давида для Ольги Седаковой важны прежде всего его пророческая и поэтическая миссии. Давид не счастливый царь, которому сопутствовало благоволение Бога и народа, но мудрец, пророк, псалмопевец и Поэт. Это представление сближает стихи Е. Шварц и О. Седаковой, примеряющих на себя роль царя Давида. У Е. Шварц Давид выступает утешителем Бога и молящимся, у О. Седаковой — утешителем Саула-царя. В обоих случаях Давид предстает Пророком, Жертвой, Любящим. Имя Давид в переводе — «возлюбленный». Любовь в основе взгляда на Давида Е. Шварц и О. Седаковой, любовь, сострадание и творческое начало — в основе песнопения, в основе жизни. Поскольку Давид — праотец Иисуса Христа, актуальной становится в стихах обоих поэтов, в контексте православной традиции, тема Давида как праотца христианства, Давида как праотца поэтов (Цветаева, Тарковский). Важно, что написан «Давид поет Саулу» Седаковой для разговора с любимым австрийским поэтом, и поэтому разговор Давида с Саулом — это разговор Седаковой (Давида) с Рильке (Саулом). Любой, всякий настоящий Поэт — Давид, соединяющее звено между земным и небесным миром. По отношению к Небу поэт — ребенок, которым управляет «дуда» Бога, которого он не видит, но к которому с любовью стремится (Седакова). Для земных людей Поэт — Давид, открывающий в псалмах узнанное в ночных видениях, в общении с Богом и с ангелами. Мысли, высказанные Седаковой, отчасти роднят ее с Цветаевой, корреспонденткой Рильке и последней его Россией, с размышлениями, изложенными Цветаевой в «Искусстве при свете совести»: «Все стихи к Богу есть молитва» (V, 360); «Часто сравнивают поэта с ребенком по примете одной невинности. Я бы сравнила их по примете одной безответственности. Безответственности во всем, кроме игры. Когда вы в эту игру придете со своими человеческими (нравственными) и людскими (общественными) законами, вы только нарушите, а может, и прикончите игру. <...> То, что вам — “игра”, нам — единственный серьез. Серьезнее и умирать не будем» (V, 371); «По существу, вся работа поэта сводится к исполнению, физическому исполнению духовного (не собственного) задания. Равно как вся воля поэта — к рабочей воле к осуществлению. (Единоличной творческой воли — нет.)» (V, 360). Можно заключить, что объединяющим для всех русских поэтов является восприятие Давида посланником Бога. Давид — архетип радостного, творческого отношения к миру, образ особенного, исторического зренья художника, умения жить вопреки смерти, злу, зависти, насилию Времени, в ощущении божественной помощи, в исполнении долга, завещанного Небом. Образ Давида, руководимого Богом, движимого жертвенной любовью и творчеством, побуждающий к размышлениям о Боге, о жизни и смерти, об искусстве, поэзии, природе, Вселенной, равно как и образ древнегреческого Орфея, зовет поэтов к творческому поединку со Временем (Грибоедов, Кюхельбекер, Пушкин, Мандельштам, Тарковский), к лирическому диалогу друг с другом (Цветаева — Пастернак, Седакова — Рильке, Шварц — Седакова), утверждает незыблемые основы поэзии как искусства печали и памяти (Ахматова), искусства молитвы и Божьего Слова.

- ¹ Об автографе стихотворения Грибоедова с карандашными поправками Кюхельбекера, о дате создания, о связи с этими стихами пушкинской эпиграммы см.: Тынянов Ю. Н. Заметки о Грибоедове // Звезда. 1941. № 1. С. 124–129. http://philologos.narod.ru/tyunyanov/tyun_griboed.htm Исследования Тынянова о Давиде Грибоедове совпали во времени с вниманием к царю-псалмопевцу Д. Д. Шостаковича. Именно псалмы Давида, по словам Д. Д. Шостаковича, побудили его к созданию Седьмой симфонии. См.: признание Шостаковича, приведенное А. Шендеровичем: «А говорить о триумфальном финале в Седьмой совсем уж глупо. Ведь я ее начал писать, потрясшись псалмами Давида. Конечно, дело не только в псалмах Давида. Но они дали эмоциональный толчок, так сказать» // Звезда. 2013. № 1.
- ² Звезда. 1941. № 1.
- ³ Там же.
- ⁴ Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками. М., 1987. Т. 1. С. 503.
- ⁵ Там же. С. 558.
- ⁶ Там же. С. 553–554.
- ⁷ Вряд ли что-то меняет упоминание заслуг графа М. С. Воронцова в связи с войной 1812 года на выставке «Отечественная война 1812 года и русское общество» в РНБ в сентябре 2012 года. Надо сказать, в Бородинском сражении Воронцов оборонял левый фланг русской позиции — Багратионовы флешы и был серьезно ранен в рукопашной схватке, награжден орденом св. Анны 1-й степени. Отправляясь на излечение в свое имение Андреевское, он пригласил туда около 50 офицеров и более 300 солдат своей дивизии, раненых, как и он, на Бородинском поле. http://slanist.ru/publ/persogalii/personalii/oroncov_m_s_geroj_vojny_1812_vladelec_imenija_vassakara_namestnik_kavkaza_jamburg/168-1-0-2999.
- ⁸ http://lukianpovorotov.narod.ru/Folder_Pravoslavie/sbornik_poezii_pravosl_razdel.html.
- ⁹ <http://www.ippo.ru/vethiy-i-novyy-zavet-v-russkoy-literature/poet-k.r.-velikiy-knyazj-konstantin-konstantinovich-romanov-6.html>.
- ¹⁰ Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем. В 3 т. М.: Прогресс-Плеяда, 2009. Все ссылки с указанием тома и стр. в скобках.
- ¹¹ См. развитие этой темы в стихах Е. Шварц «Рождество 1985 года», «5 этаж», «8 этаж».
- ¹² В Москве статуя Давида находится в Музее изобразительных искусств имени Пушкина.
- ¹³ Имеется в виду мост через реку Тибр к зданию бывшей тюрьмы, к замку Св. ангела в Риме, на котором находится статуя ангела, спасающая город от чумы.
- ¹⁴ Р. Тименчик: http://palomnic.org/bibl_lit/obzor/ahmatova/bibl/.
- ¹⁵ Ахматова А. А. Сочинения в 2-х т. М., 1986. Т. 1. С. 99.
- ¹⁶ Там же. С. 148.
- ¹⁷ Там же. С. 280.
- ¹⁸ Резниченко Н. Словарь царя Давида. Словари и имена в поэзии Арсения Тарковского // Вопросы литературы. 2012. № 4.
- ¹⁹ Там же.
- ²⁰ Там же.
- ²¹ Ср.: «Боже! Ты наставлял меня *от юности* моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои. И *до старости*, и до седины не оставь меня...» (Пс. 70: 17–18)». Там же. Среди поэтов, касающихся библейских тем, поэт Н. Клюев, одной из основ миросозерцания которого является глубокая религиозность, и многие его стихотворения — это «путешествие по Библии при свечке сальной». Азадовский К. М. Николай Клюев: Путь поэта. Л.: Сов. писатель. Ленингр. отд., 1990; Кудряшов И. В., 2007: «О, кто поймет, услышит псалмов высокий лад?»: мотивы и образы песен царя Давида в поэзии Н. Клюева. <http://www.ippo.ru/vethiy-i-novyy-zavet-v-russkoy-literature/klyuev-nikolay-alekseevich.html>.
- ²² <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%E8%ED>
- ²³ Все цитаты — по Ц7 с указанием тома и страницы в скобках. Цветаева М. Собр. соч. в 7 т. М., 1994–1995.
- ²⁴ Давидов щит — древний символ из двух равнобедренных треугольников, образующих шестиконечную звезду, изображался на щитах воинов царя Давида. В данном стихотворении герой отказывается от христианства ради любви к прекрасной еврейке.
- ²⁵ Марина Цветаева. Незданное. Сводные тетради. М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1997. С. 184. Далее — СВТ.
- ²⁶ СВТ. С. 54.
- ²⁷ Тименчик Р. Повороты темы. <http://www.lechaim.ru/ARHIV/171/timenchik.htm> В 1920 году в Феодосии Миндлин написал также стихотворение «Исход», в котором отождествил себя с библейским пророком. Любовная тема «Исхода» проецируется не только на возлюбленную поэта, но и на город Иерусалим, который воспринимается через образ возлюбленной. Там же.
- ²⁸ Rainer Maria Rilke. Neue Gedichte. Anderer Teil. М.: Наука, 1977.
- ²⁹ РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 35.
- ³⁰ РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 35.

- ³¹ РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 35, л. 42.
- ³² Цветаева М. Поэмы. СПб., 1994. С. 328.
- ³³ Цветаева М. Поэмы. С. 154.
- ³⁴ Об интертекстуальной связи этих стихов с поэзией Пастернака см.: Айзенштейн Е. «Борису Пастернаку — навстречу!». О книге М. Цветаевой «После России». СПб., 2000. С.43–47. Далее — Айзенштейн 2000.
- ³⁵ РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 5. Л. 45 об.
- ³⁶ СВТ. С. 112.
- ³⁷ Там же.
- ³⁸ Слово впервые Ависага записано в черновой тетради Цветаевой между 17-м и 31-м июля 1922 года. РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 57 об.
- ³⁹ В «Письме к Амазонке» Цветаева противопоставит одинокую Подругу-Амазонку — Давиду, согреваемому Ависагой: «Царь Давид, согреваясь неживленным теплом Ависаги, был хам» (V, 495). Возможно, эта реплика объясняет, почему Цветаева раздумала писать пьесу о старом Давиде.
- ⁴⁰ См. об этих стихах: Айзенштейн 2000. С. 88–89.
- ⁴¹ Цветаева М. Поэмы. С. 208.
- ⁴² Цветаева М. Избранные произведения. Минск: Наука и техника, 1984. С. 617.
- ⁴³ Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 206.
- ⁴⁴ Изображения Царства бога в образе виноградника, встречаются и в Ветхом Завете (Ис. 5: 1–7; Иер. 2: 21; Иез. 15: 1–6 и др.). В запричастной молитве, сохранившейся в «Учении 12-ти апостолов» (9: 2), имеется выражение «святая Лоза Давидова», относящееся ко Христу. <http://lib.eparhia-saratov.ru/books/111/loruhin/loruhin6/418.html>. Существует икона «Христос Виноградная Лоза» («Христос Лоза Истинная», «Христос Виноградарь, а не Вино Истины»). Виноград олицетворяет вино жизни и бессмертия. <http://rokmp-bielefeld.de/?p=642&lang=ru-ru>
- ⁴⁵ Воспоминание о «невстрече» с Пастернаком содержит концовка письма к Тесковой; 2 июля 1935 года Цветаева пишет о ненужности творчества: «Это (вся я) никому не нужно», с горечью определяя лирическое самовыражение пастернаковским словом «неврастения», которое она цитирует и в письме к поэту Тихонову. Цветаева М. Письма к Анне Тесковой. М., 2008. Болшево. С. 226.
- ⁴⁶ Свой первый сборник, изданный в Нью-Йорке в 1985 году, Е. Шварц назвала «Танцующий Давид», как бы подчеркнув важность этих стихов.
- ⁴⁷ Шварц Е. Стихи. Л., 1990. С. 36.
- ⁴⁸ Елена Шварц. Лодия ночи. Книга поэм. СПб., 1993. Приводим по кн.: Сочинения Е. Шварц. Стихотворения. СПб.: Пушкинский фонд, 2002. Т. 1. Далее ссылки на это изд. приведены в скобках.
- ⁴⁹ Не случайно одна из статей о творчестве Шварц О. Дарка называется «Пчела Шварц».
- ⁵⁰ Возможно, это стихотворение «Давид поет Саулу».
- ⁵¹ В. И. Догалакова. Е. Шварц: Простые стихи для себя и для Бога http://adogalakov.narod.ru/trudy/V_I_Dogalakova/staty/shvarc.html
- ⁵² В. Н. Топоров. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Исследования по структуре текста. М.: Наука, 1987. С. 121–132.
- ⁵³ См.: «Дочь Сиона и дочь Вавилона». Поучение Дмитрия Ростовского на праздник Входа Господня в Иерусалим.
- ⁵⁴ Отмечено ранее: http://adogalakov.narod.ru/trudy/V_I_Dogalakova/staty/shvarc.html.
- ⁵⁵ Еще одно стихотворение, написанное Е. Шварц по мотивам Псалтыри, это «Толкование псалма» (Пс. 61. 12), с точным указанием на источник стихотворения: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога» (61; 12). По мнению поэта, человек слышит Бога, как ребенок — эхо в колодце.
- ⁵⁶ Е. Шварц. Стихи. Л., 1990. С. 57.
- ⁵⁷ <http://esymbols.ru/amulety/list-klevera.html>.
- ⁵⁸ Подробнее: Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблематики. <http://providenie.narod.ru/0000629.html>.
- ⁵⁹ Подробнее об этом: Эфрон А. С. О Марине Цветаевой. Воспоминания. 1989. С. 62–64.
- ⁶⁰ <http://www.vavilon.ru/texts/averintsev1.html>.
- ⁶¹ <http://www.vavilon.ru/texts/averintsev1.html>.
- ⁶² Седакова О. Все и сразу. СПб., 2009.
- ⁶³ Эпистолярная параллель к этим строкам — «гнездо для сна» в переписке Цветаевой и Рильке 1926 года, «...Большая птица, хищная птица Духа» в письме от 19 августа 1926 года. Письма 1926 года. 1990. С. 195. См. тему гнезда в поэме «Новогоднее» (1927). Представляется вероятным знакомство Седаковой с текстом письма Рильке.
- ⁶⁴ Гедеон — судья израильский, оставивший после себя семьдесят детей, убитых их братом Авимелехом, сыном наложницы.

Константин ФРУМКИН

ПОБЕДА ПИСАТЕЛЕЙ над ВСЕМОГУЩИМ ПРОТИВНИКОМ

Божественное всемогущество как
проблема литературного сюжета

Одним из самых ярких впечатлений от российской фантастики последнего десятилетия стал роман Марины и Сергея Дяченко «Пандем». Роман — если резюмировать впечатление от него вкратце — повествует о том, как Бог приходит к человечеству, а затем опять покидает его. В результате неких эволюционных процессов возникает Пандем — невидимый, но почти всемогущий и почти всезнающий Дух, который начинает заботиться о человечестве: прекращает войны и преступления, исцеляет болезни, сообщает ученым новые сведения о тайнах природы, дарует новую технику. Исчезают все социальные язвы, нет ни голода, ни убийств, ни насилия, отмирает государство, а затем и экономика. Человечество превращается в громадный и благополучный детский сад, все живут долго и заняты, кто чем хочет: придорожные проститутки превращаются в шикарных куртизанок, играющих на лютнях, а из технических проблем остается постройка гигантских космических кораблей для полетов в дальний космос. Беда лишь в том, что Пандем всемогущий и всеведущий — почти. Но он постоянно наращивает свое всеведение. И по мере того как человечество становится все более благополучным и беспроблемным — Пандем заглядывает во все более отдаленное будущее и, по-видимому, приходит к выводу, что превращение цивилизации в гигантскую детскую песочницу перспектив не имеет. И Пандем решает уйти, лишив людей своей опеки, которой они пользовались в течение нескольких десятков лет. Уходит не сразу, а постепенно и аккуратно, пытаясь максимально предотвратить шок от возвращения к грубой реальности, — но все же уходит. Человечество оставлено им на новом витке прогресса, с экологичной и эффективной энергетикой, с летающим по небу транспортом, с гуманной государственностью и отправленными в космос экспедициями — но прежней безопасности и гарантированности от любой беды все же уже нет.

Константин Григорьевич Фрумкин — журналист, философ, культуролог. Родился в 1970 году в Москве, окончил Финансовую академию. Кандидат культурологии. Лауреат литературной премии им. Александра Беляева (2009). Координатор Ассоциации футурологов.

И у героев романа, и у читателя остается странное чувство. Только что перед нами открывались потрясающие воображение перспективы, только что выстраивались кардинально новые способы общения человека с окружающим бытием, так что человек мог себе позволить его не бояться и по его поводу не тревожиться — и вот, опять все сначала, потрясающие перспективы улечиваются, как будто их и не было, а человек опять остается один на один с враждебной и грубой реальностью.

На вопрос, почему авторы поступают с сюжетом именно так, а не иначе, прямого ответа Дяченко не дают, однако из разбросанных по тексту романа намеков вырисовывается довольно банальное моральное обоснование: человека создал труд, без труда не вытянешь и рыбку из пруда, божественная гиперопека развращает человечество, делает его изнеженным, беспечным, безвольным и непреднамеренно жестоким, так что ради его же блага, ради того, чтобы человеческий род не вымер, его надо вернуть к жестокой действительности.

Такова внешняя, проговоренная в тексте романа мотивировка. Однако, на наш взгляд, есть еще и скрытая, быть может, не осознанная самими писателями причина странной закольцованности сюжета «Пандема». Просто Дяченко, будучи писателями-фантастами, не могли поступить иначе. Ибо роман, в котором участвует всемогущий персонаж, попросту невозможен.

Всякий литературный сюжет — если, конечно, не считать «экспериментальных» форм элитарной литературы XX века — строится на том, что реальность сопротивляется человеческим намерениям. Персонажи чего-то хотят, но автоматически и мгновенно их мысли не воплощаются в действительность, между реальностью и желанием возникает драматическое напряжение, которое порождает почти все виды сюжетики — от шутки до трагедии. Особенно часто сопротивление желаниям персонажей оказывают другие персонажи, у которых есть собственные намерения. Он любит ее, она его не любит — сюжет строится на сопротивлении его желаниям. Они любят друг друга, но обстоятельства не дают им соединиться — сюжет возникает из напряжения между желаниями влюбленных и обстоятельствами. Сыщик ловит вора, вор делает все, чтобы его не поймали. Ученый пытается открыть физический закон, но природа хранит свои тайны. Наследник хочет вести праздную жизнь, но богатый отец скуп. И так далее, и так далее. Как считал философ Николай Гартман, именно сопротивления окружающей среды нашим намерениям заставляют нас поверить в реальность мира, отличного от нашего сознания.

Всемогущий субъект, появившийся в сюжете, делает мир нереальным, а любое действие — бессмысленным: для его намерений нет сопротивления, а другие персонажи не способны в отношении Всемогущего ничего предпринимать — с ним нельзя играть, его нельзя обманывать, ему невозможно сопротивляться. Невозможно представить себе занимательную фабулу с участием всемогущего и всеведущего Бога — если только последний специально не ограничивает свое всемогущество, не отстраняется от происходящих рядом с ним событий, не позволяет другим персонажам в каких-то рамках действовать по своему усмотрению. Поэтому все попытки достижения всемогущества в российской фантастике обычно кончались мгновенным отказом от него. Это, например, мы видим в романе Сергея Лукьяненко «Спектр», на некой планете любой житель Вселенной может с помощью нехитрых манипуляций приобрести всемогущество. Однако дальше у него лишь один выход: либо исчезнуть из этого мира, уйдя куда-то по своим «всемогущим делам», в иные измерения, либо отказаться от всемогущества. Герой предпочитает второе. Сюжет сохранен. Чудесным даром невозможно воспользоваться.

«Пандем» супругов Дяченко является уникальным литературным эксперимен-

том, наподобие попытки жить без кислорода — как можно обеспечить движение литературного сюжета в присутствии Всемогущего Божества, своим всемогуществом разрушающего любые сюжеты.

И, разумеется, этот эксперимент подтвердил, что жить без кислорода нельзя — можно лишь на какое-то время задерживать дыхание. Но о чем же рассказывают Дяченко в тех эпизодах, которые посвящены эпохе «золотого века» — прямого правления Пандема на Земле? Да в основном о том, как странно чувствуют себя люди, чьи личные житейские сюжеты разрушаются Пандемом. Поставленный Дяченко эксперимент продемонстрировал родство законов, по которым строятся литературные фабулы и людские повседневные планы. Всякий житейский план строится на преодолении сопротивления обстоятельств, всякий жизненный успех включает в себя радость от этого преодоления. И вот исчезает сопротивление — а с ним и сама возможность достичь успеха. Бессмысленными становятся карьеры, традиционные социальные роли, отмирают профессии.

Вот священник, который был посредником при беседах с невидимым и далеким Богом, — а теперь Пандем явно загораживает Бога и берет на себя все его функции, так что просто становится непонятным, о чем еще можно молиться Настоящему Богу.

Вот мужчина, которого не любит жена, — поскольку Пандем теперь становится для нее и мужем, и защитником, и кормильцем.

Вот родители, которые не понимают, зачем они нужны собственным детям, — нет педагога лучше Пандема.

Вот журналист, посвятивший всю жизнь борьбе с социальным злом, — а бороться теперь не с кем.

Вот ученый, которому уже не надо проводить эксперименты и экспедиции, — Пандем и так все скажет, если его спросить.

Вот врач, которому больше некого лечить.

Вот министр, ставший ненужным.

Вот проститутка — впрочем, она-то как раз смогла устроиться.

Таким образом, действие и драматизм в «Пандеме» присутствуют только благодаря воспоминаниям о прежней, допандемной жизни. Происходящие в романе события в основном сводятся к описанию того, как новая жизнь под крылом Всемогущего рушит логику прежней жизни, растворяет прежние человеческие отношения — выстроенные ради преодоления теперь не существующего сопротивления. Ну, а если бы действие романа дошло до эпохи, когда все прежние отношения были бы растворены без остатка и сама память о прежних временах исчезла бы? Если бы не осталось ни журналистов, ни министров, которые бы сожалели о прошлом? Тогда писателям было бы буквально не о чем говорить.

Не приходится удивляться, что Дяченко не решились написать роман о людях, навсегда оставшихся в лоне Всемогущего Опекуна. Если бы опека Пандема продлилась неопределенно долго, сюжет романа было бы решительно некуда вести, повествование не приобрело бы ни драматизма, ни хоть какой-то смысловой динамики. Поэтому Дяченко сделали максимум того, что может сделать обычная, сюжетная, непостмодернистская литература, которая хочет остаться сама собой. Они дали действию в течение ограниченного времени длиться в присутствии враждебного действию Всемогущества, но к финалу романа Всемогущий — несмотря на все свое всемогущество — все-таки изгоняется писателями из сюжетного пространства. Вынырнув из едкой кислоты божественной бессюжетности, действие романа заканчивает свой путь уже «посухо», в обстановке столь милого литературе экзистенциального одиночества и «оставленности Богом». Опять привычное «Бог умер».

В знаменитом эссе Борхеса «Четыре цикла» утверждается, что мировую литературу можно свести к четырем метасюжетам: обороне крепости, возвращению домой, длительному поиску и убийству Бога. Первые три сюжета укладываются в схему «намерения и сопротивляющаяся реальность»: греки хотят взять Троию, но троянцы сопротивляются, Одиссей пытается вернуться домой, но судьба ему не дает этого сделать, сказочный богатырь пытается отыскать живую воду, но вода далеко, и ее стережет дракон. Но убийство Бога — сюжет более интересный. Бог мог бы действовать, не встречая сопротивления. Но его убили — причем если говорить о Евангелиях, то Бог не сопротивлялся палачам, а добровольно отдался им в руки (иначе его бы, конечно, не смогли казнить). Таким образом, убийство Бога — это устранение помехи для функционирования обычной схемы литературного сюжета. Убийству Бога предшествует явление Бога. Когда Бог проявляет свое присутствие, возникает тень надежды, что реальность больше не будет сопротивляться намерениям — по крайней мере, намерениям самого Явившегося. Таким образом, исчезает база для всяких сюжетов, в особенности трагических, мир обещает стать менее интересным, но более счастливым. Однако Бога убивают, или он умирает — и надежда оказывается похороненной, зато сюжетика — спасенной. Возможно, Бог самоустраняется добровольно, но это не решает вопроса, кто же именно в конечном итоге решил спасти человеческие сюжеты — убийцы и палачи, само Божество или автор повествования, испугавшийся ответственности, которую влечет введение Бога в качестве персонажа.

Именно этот тип метасюжета — четвертый по классификации Борхеса — реализуется в романе Дяченко. Пандем приходит, но затем самоустраняется.

Роман Дяченко, как мы сказали, вызывает странное чувство, и это чувство можно сопоставить с тем странным положением, которое христианская религия занимает по отношению к иудаистской концепции Мессии. Иудейство базируется на ожидании пришествия Машиаха. Нетерпеливое «когда же он придет» — ключевой вопрос этой религии, можно сказать, ее сердце. И вот явление Христа объявляется исполнением этих чаяний, чего евреи, разумеется, не признают — Бердяев писал, что религиозная трагедия еврейства заключается в том, что они не признали Мессию, которого ждали. Правда, явление Христа оказалось обставленным не столь грандиозно, как это могли бы ожидать евреи, он не установил своего царства в гражданском смысле, но и это бы ничего — в конце концов, можно говорить об отходе от примитивных и грубых представлений, об отказе от интереса к политическому как таковому, об установлении духовного царства и так далее. Но парадокс заключается в том, что хотя Христа и объявляют Мессией, он не только не снял, но и еще раз санкционировал ожидание прихода Мессии в будущем. Но только теперь нужно ожидать его Второе пришествие. С точки зрения иудаизма такое вероучение выглядит как настоящее издевательство. Мессия уже пришел, но все равно приходится ждать и чаять его прихода — второй раз.

Однако у христианства нет другого выхода: пока человеческая жизнь продолжается, невозможно объявить Бога уже явившимся и присутствующим.

Парадокс заключается в том, что супруги Дяченко, одни из немногих в фантастике, да и в литературе вообще, решились ввести действительное, подлинное всемогущество в литературный сюжет — и при этом они единственные, кто не решился назвать субъекта этого всемогущества Богом, вместо этого он был назван каким-то Пандемом.

Между тем христианский и еврейский Бог неоднократно становился персонажем фантастических произведений. Но, как правило, его изображали в пародийной, сниженной форме, всемогущество этих персонажей было уменьшено ровно до

той степени, чтобы оно вмещалось в сюжет, чтобы Бог мог быть участником действия и, в частности, чтобы между Богом и Дьяволом было бы возможно достаточно драматическое противостояние или игра.

Самое интересное, что прекрасным образцом для такого использования образа Божества может служить Ветхий Завет. Книги Ветхого Завета были созданы еще до того, как на философско-богословском уровне была отточена проблема применимости к Богу тех или иных предикатов, в частности, всемогущества и всеведения. Поэтому авторов древних книг не особенно волновало, как соотносится изображенный им Господь с логически предельными понятиями. Им было достаточно, что Господь величествен и в своем величии превосходит человека сверх всякой разумной меры. Так возник Господь пророческих книг — Бог, который может гневаться и для которого грехи Израиля, например, его поклонение идолам, оказывается чем-то вроде неприятной и первоначально непредвидимой неожиданности. Позднейшим богословам пришлось специально объяснять эту библейскую наивность, говорить, что она возникла из несовершенства человеческого языка. Так, Блаженный Августин говорил, что хотя в отношении Бога и ангелов и говорят, что они гnevаются или любят, но делают это «ради некоторого сходства в действиях»: «Так и сам Бог, хотя по писанию и гневается, однако не подлежит никакой страсти. Ибо под гневом Его понимаются карательные действия, а не возмущенное душевное состояние»¹.

Однако с тех пор, как в течение первых же веков христианства философами было разработано само понятие всемогущества, столь легко использовать Бога в литературных сюжетах стало уже невозможно. Поэтому история Бога в литературе может быть рассмотрена как история тех стратегий, которые используются писателями для того, чтобы как-то «совладать» со всемогуществом и всеведением «неудобного» персонажа.

Строго говоря, совладать со всемогуществом можно только одним способом — уменьшив его. Поэтому многие писатели, часто прикрываясь шутливым тоном, попросту забывают, что Бог должен быть всемогущим, и рисуют скорее какого-то могущественного чародея, в лучшем случае похожего на богов греческой мифологии, но, конечно, не могущего быть признанным за Бога с точки зрения авраамистических религий.

Вот несколько наугад выбранных примеров использования не всемогущего Бога в литературе: «Восстание ангелов» Анатоля Франса, «Когда не вышло у змея» Пьера Буля, «Шпион божьей милостью» Сергея Синякина. У Анатоля Франса Люциферу с помощью современного оружия удается свергнуть Бога с престола. У Синякина адские силы пытаются совершить покушение на Бога, используя мощное взрывное устройство. Очевидно, что тут писатели берут лишь имя Бога, но не его всемогущество и всеведение. Для оправдания подобной позиции Анатолю Франсу использует философию гностицизма: ангелы в романе утверждают, что тот, кого мы считаем всеблагим Богом, на самом деле является маломощным демиургом Иалдаваофом. Сергей Синякин в авторском предисловии к своей повести говорит, что использованные им образы Бога и дьявола — лишь маски, под которые можно подставлять имена и фамилии политиков.

Тот же самый гностический термин «демиург» используют и братья Стругацкие в своей собственной «Божественной комедии» — повести «Отягощенная злом». Повесть явно строит теогонию, ставящую христианство в контекст языческих религий, Демиург Стругацких хотя и вроде бы тождествен Христу, но его называют также и именами египетского бога Птаха, и карело-финского божественно-

го кузнеца Ильмаринена, и самое главное — он, конечно, не является всемогущим и всеведущим, он даже спрашивает советов у людей, а дьявол по имени Агасфер Лукич даже дерзко кидает ему в лицо:

— А вы по-прежнему полагаете, будто можете все на свете?

На что демиург гневно отвечает:

— Укороти свой поганый язык, раб!

Но упомянутые выше авторы, по крайней мере, сами не испытывали большого почтения к религии и не боялись обвинений в кощунстве. Между тем если писатель сам является приверженцем одной из авраамистических религий, то ему для «вмещения» всемогущества в сюжет приходится либо попросту забывать о тех следствиях, которые логически вытекают из понятия всемогущества, либо считать, что Бог сам отстранился от происходящих событий.

Самой известной попыткой ввести божественное всемогущество в сюжет в европейской литературе, безусловно, является поэма Джона Мильтона «Потерянный рай», и эта поэма интересна именно тем, что, в отличие от «Восстания ангелов», она создана благочестивым христианином. Именно поэтому «Потерянный рай» представляет собой потрясающий пример акробатического балансирования между литературной занимательностью и благочестием. Все возможные стратегии подгонки сюжета к всемогуществу идут в ход. Поэт то пытается построить сюжет так, как будто противостояние Бога и Сатаны есть драматическое повествование с неясным исходом, то спешно оговаривается, что никакого драматизма, конечно, нет и Сатана обречен, то побуждает Бога сознательно отстраняться от идущей борьбы, то на время просто забывает про его всемогущество.

Особенно интересен нижеследующий диалог между Богом-Отцом и Богом-Сыном, происходящий сразу после того, как Сатана поднимает на небесах мятеж:

Предвечный, с высоты горы священной,
Где ночью золотые перед Ним
Светильники пылали, увидал,
В них не нуждаясь, как возжегся бунт
Меж сыновьями утра, кто мятеж
Затеял, кто к восстанию примкнул
И сколько сил, присяге изменив,
Державную оспаривают власть;
И Сыну Он сказал с улыбкой так:

«— Сын, в коем вижу славу всю Мою
Отображенной, Трона Моего
Наследник! Знать, пора пришла расчесть,
Как Наше всемогущество сберечь,
Каким оружием Нам защитить
То, что Божественностью искони
И властью царской Мы зовем. Восстал
Заклятый враг на Нас, дабы в краю
Полночном, вровень с Нашим, свой престол
Воздвигнуть; мало этого — права
И силы Наши в битве испытать
Он алчет. Станем же держать совет
На случай сей; оставшееся войско
Мы соберем; все к делу применим,

Чтоб Наш престол, святилище и сан
Высокий не утратить невзначай!»
В ответ, подняв спокойный, чистый взор
И несказанный излучая свет,
Сын возгласил: «Всевластный Мой Отец!
Противников Ты вправе осмеять
И в полной безопасности следить
С улыбкою за праздной суетой
И рвением напрасным бунтарей».

Мильтон как бы все время забирает собственные слова назад. Творец видит Сатану при свете светильников — но он, разумеется, в них не нуждается. Первая реакция Бога-Отца на мятеж Люцифера — примерно такая же, какой должна бы быть реакция обычного властителя на вспыхнувший мятеж. Он говорит о необходимости собрать войско и даже гипотетически упоминает о собственном поражении. Однако все это, видимо, шутка — ведь говорится «с улыбкой». Сын со своей стороны как бы напоминает Отцу о его всемогуществе и подчеркивает, что отец — в безопасности, а рвение бунтарей — напрасно.

Ангелы, которые готовятся к битве с сопоставимым по численности противником, напоминают Сатане, что Бог мог бы сотворить их в количестве гораздо больше. Однако битва между ангелами и падшими ангелами все-таки происходит, битва драматичная, и, как выясняется потом, происходит она только потому, что Бог специально отстранился от ее хода. После двух дней битвы ангельских легионов мы опять присутствуем при разговоре Отца с Сыном и слышим:

Возлюбленный Мой Сын! Ты зримый лик
Незримого Творца; Твоя рука
Вершит Мои определенья; Ты
Второе всемогущество! Два дня
По счету дней небесных протекли,
Как Михаил и верные войска
Предприняли карательный поход
Противу непокорных. Был свиреп
Двухдневный бой, — не диво, коль сошлись
Такие недруги: самим себе
Я предоставил их; сотворены
Они друг другу равными вполне,
Различие — лишь в греховности; оно
До срока не проявлено, пока
Мой приговор отложен. Эта брань
Способна длиться до конца веков,
Но — попусту, вотще. Все, что могла,
Свершила утомленная война,
Неукротимой ярости бразды
Ослабила, горами ополчась
Взамен оружия. Дикие дела
Свершаются на Небе и грозят
Вселенской гибелью. Два дня прошли,
Но третий — Твой! Тебе определил
Я этот день, терпел до сей поры,

Чтоб слава окончания борьбы
 Твоя была; побоищу предел
 Единый Ты можешь положить...

То есть битва произошла только потому, что Бог «предоставил самим себе» противников — и читателю непонятно зачем, если он все равно решил на третий день вмешаться и низвергнуть Люцифера в преисподнюю. Тем не менее самоотстранение Бога — самая эффективная литературная стратегия, позволяющая и сохранить Божеству его могущество, и сохранить в жизни — и в сюжетике — хоть какой-то смысл. На этой стратегии базируется богословская концепция свободы воли, которая, в свою очередь, была разработана для объяснения существования зла в присутствии всемогущего и всеблагого Бога. Бог мог бы уничтожить зло — но не делает это, поскольку сам, добровольно предоставляет людям и другим духовным существам действовать в соответствии со своей свободой воли. Свободная воля — точка добровольного отказа Всемогущего от своего влияния. Концептуализация стратегии самоотстранения Бога привела к философии деизма, считавшего, что Бог хотя и сотворил мир, но не вмешивается в него после сотворения — сторонниками деизма были такие известные личности, как Франклин и Вольтер. По сути дела, самоотстранение Пандема в романе Дяченко — пример использования той же самой концепции «Бога — отстраненного наблюдателя». Только уменьшение всемогущества в «Пандеме» происходит по почти евангельской схеме «двухтактного цикла»: сначала «богоявление», активное вмешательство всемогущего субъекта в человеческую жизнь, затем — прекращение вмешательства и его деистическое отстранение.

Непосредственным предшественником Мильтона в разработке сюжета о бунте Люцифера был нидерландский поэт и драматург Йост ван ден Вондел, создавший трагедию «Люцифер». По мнению литературоведов, Милтон читал Вондела в подлиннике, и тот оказал на него большое влияние. Но Вондел решил проблему драматизма богоборчества очень просто: в его трагедии Люцифер в некоем ослеплении просто не верит во всемогущество Бога, и ему кажется, что Бога можно победить. Его противники — архангелы Михаил, Гавриил и Рафаил — такой иллюзии не испытывают, они сразу знают обреченность восставших ангелов и употребляют в их отношении слово «слепота». Люцифер и сам иногда чувствует свою обреченность или, по крайней мере, большую вероятность своего поражения — но, когда им овладевают ярость и кураж, он начинает думать о победе и предлагает своим военачальникам «исходить в расчетах не из всемогущества, а из равенства». Неверие в божественное всемогущество, незнание о нем можно считать «информационным» вариантом уменьшения всемогущества. Сюжет о бунте против Бога может появиться только по ошибке — то есть только если бунтовщик ошибочно не верит во всемогущество своего противника и потому считает борьбу с ним осмысленной.

Наконец, стоит указать еще на одну, самую изощренную стратегию «нейтрализации» Всемогущества во имя литературы. Оно заключается в том, что Божество не отстраняется от ведущейся на его глазах борьбы, но распределяет свою помощь между обеими противоборствующими сторонами. В наглядном виде именно такую ситуацию мы видим в «Илиаде» Гомера. Там боги вмешиваются в борьбу греков и троянцев, однако разные боги поддерживают разные лагеря, силы олимпийских божеств фактически распределяются поровну, а сам царь богов Зевс помогает то одной, то другой стороне, а иногда и преднамеренно отстраняется от идущей войны. В результате самое активное участие богов-олимпийцев в войне не ускоряет ее

хода и фактически не снимает ответственность за исход борьбы с участниками-людьми.

Монотеизм, разумеется, уменьшает возможности использования такого «разделения» всемогущества — однако даже и в «Потерянном рае» Мильтона можно увидеть подобный мотив: как видно из процитированного выше фрагмента, Творец говорит, что битва верных и падших ангелов не может кончиться победой одной из сторон, поскольку обе стороны сотворены Богом, причем равными. Таким образом, равенство двух лагерей в битве оказывается как бы равенством двух половин разделенной божественной энергии.

Аналогичный путь спасения сюжета предпринят Карелом Чапеком в романе «Фабрика абсолюта», который можно считать одним из источников «Пандема». Параллельное чтение романов Чапека и Дяченко может выявить много сходных мест, особенно в первой части «Фабрики», где описывается «золотое время» вхождение Абсолюта в мир, где люди, вдохновляемые божественной энергией, излучаемой при полном сжигании материи в специальных «атомных карбюраторах», начинают становиться лучше, отказываются от пороков, совершают чудеса и видят будущее. В романе Чапека, как и в романе Дяченко, постепенно становятся ненужными госучреждения, банки и заводы — во-первых, потому что их работники заняты исключительно религиозным самосовершенствованием, а во-вторых, потому что на фабриках и заводах невидимый Абсолют сам становится к станку, заставляя все машины работать сами собою и неким чудом добывая из них сырье прямо из земли.

Однако во второй части романа Чапек, видимо, осознавая, что в данном направлении у сюжета нет перспектив, спохватывается, и картины всеобщего духовного совершенствования вдруг сменяются картинами жестоких религиозных войн. Незадолго до начала эпохи войн изобретатель «атомных карбюраторов» размышляет, является ли абсолют, выделяемый его аппаратами, единственным, или их много и можно сравнить между собою. Наступившая после этого эпоха войн и фанатизма позволяла говорить, что у всякой религии есть свой абсолют. В конце же романа произошедшей катастрофе дается следующее толкование: Абсолют беспредельный, но человеческий разум ограниченный, в него может уместиться только одна из сторон Бога. Таким образом, сюжет в романе Чапека был спасен благодаря вражде между разными аспектами бесконечного Абсолюта, выразившейся во вражде людей, уверовавших в эти аспекты и принявших их за отдельных богов.

Кроме того, в XX веке тема взаимной нейтрализации разных возможностей всемогущества воплотилась в проблему непредсказуемости последствий всякого поступка — в частности, в невозможность достичь однозначного Добра, пытаясь совершать подкрепленные магическим могуществом добрые поступки. В современной российской беллетристике эта проблема с предельной ясностью проговорена в фантастическом романе Вячеслава Рыбакова «Человек напротив». Его герой — не Бог, но, опять же, что-то вроде Пандема, человек, добившийся колоссального могущества в результате проведенного над собой научного эксперимента. Его могущества достаточно, чтобы гасить звезды и поворачивать время вспять. Однако ставший полубогом научный сотрудник отказывается что-либо совершать, поскольку просчитать все последствия его поступков невозможно, а если и возможно, то неизменно выходит, что положительные следствия гасят отрицательные — и наоборот. Можно спасти жителей города от пожара — но среди них может оказаться Гитлер, который впоследствии уничтожит миллионы.

Литературным предком героя Рыбакова (о чем в романе говорится напрямую) является Саваоф Баалович Один — могущественный маг из романа братьев Стру-

гацких «Понедельник начинается в субботу». Герой Стругацких получил возможность совершить любое чудо при условии, что оно не причинит вреда ни одному живому существу. Поскольку такого чуда он представить не мог, то герой Стругацких от совершения чудес отказался и ушел из магии в технику.

Правда, Рыбаков пошел дальше Стругацких — он пришел к выводу, что у носителей зла могут быть такие же проблемы с отдаленными последствиями их поступков, как и у носителей добра. Устроив в городе пожар и уничтожив множество жителей, можно ненароком спалить будущего Гитлера. В романе Рыбакова также действует Дьявол, который признается, что с удовольствием уничтожил бы человечество, но опасается это делать, поскольку через миллионы лет может оказаться, что гибель земной цивилизации является благом для Галактики в целом. Правда, писатель не делает из озвученных им постулатов важнейшего вывода: что поскольку всякий злой поступок имеет бесконечные и непредсказуемые добрые последствия, а всякий добрый поступок — бесконечные и непредсказуемые злые последствия, то в равной степени можно совершать любые поступки или не совершать никаких, и общая сумма добра и зла во Вселенной окажется в долгосрочном плане примерно одинаковой, или, во всяком случае, она не будет зависеть от совершенных кем-то поступков. И значит, отказаться от действия — это не худший, но и не лучший выбор, чем совершение каких бы то ни было действий. Стоит также добавить, что изображенное Рыбаковым и до него Стругацкими всемогущество все-таки не является настоящим всемогуществом. Да, чародеи могут совершить любое чудо, но они не властны над его последствиями, которые происходят по неким естественным и не контролируемым всемогущими магами законам.

Ясно главное. В том случае, если мы пытаемся предсказать абсолютно все последствия поступка в бесконечном будущем времени, то любой поступок будет неопределенно-нейтральным по своей ценности. Его неопределенно-бесконечные позитивные последствия будут компенсированы таким же неопределенно-бесконечным множеством негативных последствий. И только если ограничить наш временной кругозор каким-то конечным промежутком будущего времени, то открывается хотя бы теоретическая возможность оценки того, каким же будет наш поступок по своим последствиям и, следовательно, стоит ли его совершать. И Пандем у Дяченко был готов непосредственно проявлять свои огромные возможности только до тех пор, пока его прогностические способности не развились достаточно сильно и он не смог заглядывать в будущее достаточно далеко.

Итак, художественная литература хотя и никогда не могла удержаться от соблазна включить Бога или богов в свои повествования, однако она никогда не могла «вместить» все последствия этого шага. В результате как только Бог становится литературным героем, усилия повествователя направляются на то, чтобы устранить или ослабить его, дабы тем или иным способом уменьшить значение этого слишком значительного персонажа. Поскольку сюжет не может существовать в присутствии Всемогущего, то литературный сюжет есть заведомо ложный инструмент богопознания, Бог в литературном произведении всегда предстанет в искаженном и, главное, преуменьшенном виде. Литература не может существовать, не подрезая крылья небожителем.

Завершая тему, нельзя не упомянуть еще об одном очень известном литературном произведении, в котором противостояние Бога и литературы превратилось едва ли не в осознанный самим писателем принцип. Я имею в виду, конечно, роман Джона Фаулза «Волхв», который очень часто интерпретируют как сложную метафору взаимоотношений человека с Богом. В романе рассказывается о сложных психологических экспериментах, которые с неясной и намеренно не раскрываемой

целью с главным героем проводит странный миллионер Кончис. При этом важная особенность этих экспериментов заключается в том, что Кончис в конечном итоге дезавуирует все, что начинает делать. Все предложенные герою версии происходящих с ним событий оказываются ложными. Героя заставляют влюбиться в специально подставленную девушку — а затем заставляют ее разлюбить. Брошенная героем невеста кончает жизнь самоубийством — но это оказывается розыгрышем. После всех этих перипетий герой оказывается один на один со своей невестой, а Кончис со своими многочисленными помощниками сначала занимает роль отстраненного наблюдателя, а затем отказывается даже от роли наблюдателя, оставляя героя в одиночестве. Кончис показывает свою способность ставить героя в самые разнообразные, специально смоделированные ситуации — но только затем, чтобы разрушать эти ситуации и оставить героя наедине с собственной свободой.

Вот как в авторском предисловии к роману комментирует его идею сам Фаулз:

«Если искать связную философию в этом — скорее ирландском, нежели греческом — рагу из гипотез о сути человеческого существования, то искать в отвергнутом заглавии, о котором я иногда жалею: “Игра в Бога”. Я хотел, чтобы мой Кончис продемонстрировал набор личин, воплощающих представления о Боге — от мистического до научно-популярного; набор ложных понятий о том, чего на самом деле нет — об абсолютном знании и абсолютном могуществе. Разрушение подобных миражей я до сих пор считаю первой задачей гуманиста...»

¹Блаженный Августин. Творения (том третий). О граде Божиим. Книги I–XIII. СПб.; Киев, 1998. С. 378–379.

ПРО ЕТ КОНТРА

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

ИЩУ ЧЕЛОВЕКА

Заметки постоянного зрителя канала

«Культура»

Полагаю, что канал «Культура» — отдушина не только для меня, но и для многих телезрителей, физиологически не приемлющих того «контента», который предлагают другие каналы. Очень благодарна его создателям — они взяли

Ирина Чайковская (Бостон). Прозаик, критик, драматург, преподаватель-славист. Родилась в Москве. По образованию педагог-филолог, кандидат педагогических наук. С 1992 года на Западе. Семь лет жила в Италии, с 2000 года — в США. Как прозаик и публицист печатается в «Чайке», «Новом Журнале», альманахе «Побережье» (США), в журналах «Нева», «Звезда», «Октябрь», «Знамя», «Вопросы литературы», «Вестник Европы» (Россия). Автор семи книг, в том числе «От Анконы до Бостона: мои уроки» (2011) и «Ночной дилижанс» (2013).

на себя непростую миссию: насытить интеллигентного русскоязычного зрителя разнообразной культурной продукцией. Кроме того, что каналу нужно охватить все виды искусств, следует привлечь и все жанры: фильмы художественные и документальные, телеспектакли, записи праздников и событий в сфере культуры и проч. и проч. Я остановлюсь на таком жанре, как «передача», понимая под этим словом присутствие в кадре ведущего — одного или двух¹. Заметки мои будут весьма субъективны, так как я не профессионал в области телевидения, а обычный зритель со своими пристрастиями. Но, может быть, это и хорошо. Пристрастия порой уводят в сторону, но говорят о равнодушии, а мне и в самом деле хотелось бы, чтобы мой голос долетел до тех, кто занят в этой сфере и от кого зависит ее дальнейшее развитие.

Итак, передачи на канале «Культура»

И вот что первым хочется сказать: громадную роль в желании смотреть ту или иную передачу играет ее ведущий. Америки я не открываю. Люди моего поколения помнят Алексея Каплера, на котором держалась «Кинопанорама». Была она сама по себе интересной, рассказывала о новинках в киноиндустрии, и было это в те времена, когда кино было весьма популярно и народ кинотеатры посещал. Но... именно фигура режиссера Каплера, человека драматической судьбы, умницы и знатока не только кино, но и «человеческих душ», обладавшего к тому же потрясающим обаянием, делала передачу такой притягательной для зрителя. После ухода Алексея Каплера с появлением новых ведущих «Кинопанорама» на глазах стала мертветь, интерес к ней пропал, и она сошла на нет.

Кстати говоря, несмотря на то, что на канале «Культура» сегодня есть несколько передач, связанных с кино, такой, которая влекла бы к себе зрителя, подобно исчезнувшей «Кинопанораме», не существует. Сегодня кино перестало быть искусством для масс, да и интеллигенция в кинотеатры почти не ходит. А между тем, судя по отчетам кинематографистов, фильмы — художественные, документальные, анимационные — продолжают сниматься, завоевывать где-то какие-то призы, кто-то считает их важными, значительными, интересными... Вот об этом бы и вести речь со зрителями, приглашать режиссеров, актеров, сценаристов, и, конечно, особенно важно, кто будет в центре, в роли ведущего. Этот человек должен обладать особой аурой или, как сейчас говорят, харизмой, — чтобы хотелось его видеть и слышать, к его мнению прислушиваться, чтобы у знатоков он не вызывал отторжения как профан, а у энтузиастов — как засушенный кабинетный ученый. Вот какой человек нужен. Но где ж такого найти?

Иногда находят. Вот, например, Александр Гаврилов. Мне кажется, трудно желать лучшего ведущего для передачи «Вслух. Стихи про себя». Не будучи внутри процесса и не зная подноготной, могу высказать лишь осторожное предположение, что Александр принимал участие в создании передачи, появившейся совсем недавно, стоял, как говорится, у ее истоков. Долгие годы программы о поэзии на ТВ не было — и вот она появилась. Как важно было не затушить первые ростки интереса зрителя, не только броско начать и найти, как сейчас говорят, соответствующий формат, но и продолжить в том же роде, не опуская взятой планки. Пока получается. На передачи приходят два признанных интересных поэта, чем-то схожих между собой. Они читают стихи, говорят о поэзии (порой очень глубокие выношенные вещи), затем читают свои стихи. При этом ведущий задает им вопросы и направляет беседу. Передача, конечно же, идет в записи, но в ней несомненен — и очень подкупает — налет импровизации, ибо поэтов «заносит» и задать им нужный вопрос можно только хорошо ориентируясь в предмете. Александр Гаврилов десять лет работал редактором газеты «Книжное обозрение», думаю, это неплохая школа

для знакомства не только с материалом, но и с «субъектами» его программ. Во второй части по уже сложившемуся обычаю выступают два молодых поэта со своими стихами. Маститые откликаются на их стихи, причем оператор, показывающий их лица во время чтения молодых, часто помогает нам понять их реакцию лучше, чем последующий комментарий. Важно то, что на передаче присутствует аудитория, и аудитория молодежная, я бы даже сказала, состоящая из поэтов и их болельщиков — это видно сразу. Последний этап передачи голосование: повернув флажок красной или синей стороной, зрители голосуют за того молодого поэта, чьи стихи в данный момент показались им интереснее и ближе. Обиды в таком голосовании нет, хотя, конечно, победитель доволен. Очень порадовал настоящий праздник поэзии, устроенный год назад по завершении годового цикла передач в Московском политехническом музее. В стенах признанной обители поэтов выступали молодые творцы. Подарком выступавшим была поэтическая антология, составленная из стихов участников передачи. Вот это, я понимаю, завершение! Можно только похорошему позавидовать как участникам, так и зрителям этого замечательного действия: прозвучали современные яркие стихи поэтов, живущих в разных уголках страны. После такого вечера поневоле перестанешь думать о «конце поэзии» и начнешь ждать ее необычайного расцвета...

Еще два ведущих с большим стажем, которым их передачи очень подходят, трудно представить кого-то другого на их месте. Говорю об Александре Архангельском с его программой «Тем временем» и Михаиле Швыдком и его «Культурной революции». Как говорится, к ним вопросов нет². Мало того, что передачи построены интересно и на них, как правило, схлестываются разнообразные мнения, но и темы подбираются животрепещущие, важные для сегодняшнего момента. Особенно отмечу в этом смысле Архангельского, передача которого не является в прямом смысле «игрой», как «Культурная революция», трудно ее назвать и обычной дискуссией, обсуждение обыкновенно носит весьма конкретный характер и обусловлено определенными потребностями общества: будь то новый градостроительный план Москвы, перспективы российской науки или программа по литературе для средней школы. В числе участников дискуссии за столом у Архангельского сидят именно те, кто участвует как в «разрушении», так и в «сохранении», а подчас и в «развитии» того, другого и третьего. Спор приходит в студию из гуши жизни и часто заканчивается уже за границами передачи. Жаль только, что заинтересованные и заинтригованные телезрители порой не знают, чем он в конце концов завершился в реальности, какие решения приняты «наверху». Может быть, Александру стоит проследивать резонанс на проходившие у него обсуждения, держать зрителей в курсе последующего процесса и оповещать о его результатах в какой-то специальной программе или в журнальной статье?

«Культурную революцию» смотрю с неизменным удовольствием, споры «понарошку», хотя мало что проясняют в вопросе, знакомят с необычными новыми людьми и безусловно забавляют. А это немаловажно. В последнее время так мало передач, дающих возможность «серьезным интеллигентным» людям расслабиться и покайфовать.

Хочу назвать еще одну передачу, набирающую обороты, и, как кажется, во многом благодаря ведущему. Во всяком случае, мне интересно за ним следить, даже если обсуждение меня не очень увлекает. Я говорю об историческом журнале «Власть факта» и его ведущем Сергее Медведеве. Передача существует не так давно и от выпуска к выпуску становится все злободневней. Двое приглашенных — обычно это ученые, специалисты в своей области — высказываются по поводу какого-то явления или факта, например: «царская власть», «шпионы» или «бунты»,

причем эти факты и явления должны встраиваться в общую систему мироздания. Роль ведущего — координирующая, но и направляющая. Интересно следить за его реакциями, как и слушать умные, ироничные и всегда уместные реплики. По моим ощущениям, авторам передачи следует поработать над кинокадрами, предваряющими обсуждение или его направляющими. Задаваемая ими тема временами неизмеримо площе и беднее последующего разговора (кстати, бывает и наоборот — все же «интенсивность» обсуждения связана с его субъектами).

На канале «Культура» есть ведущий, которому доверены сразу две передачи. Говорю об Игоре Волгине. На телевидении он не новичок — помню его авторский телесериал о Федоре Достоевском. Не так давно Волгин начал в эфире «интеллектуальную игру», названную вслед за интеллектуальным магом Германом Гессе «Игрой в бисер». Думаю, что не только у меня передача вызывает интерес. Он, интерес, зависит и от того, какая книга выбрана для обсуждения, и от того, какие подобраны собеседники. Если собеседники неординарные, со своей, незаемной точкой зрения, а книга — одна из твоих любимых, — наслаждаешься игрой и блеском ума, глубиной или оригинальностью прочтения. Иногда расклад получается не совсем удачный, скажем: кто-то из обсуждающих стоит на непримиримой позиции, призывая всех с нею согласиться. Так было при обсуждении стихов Цветаевой. Любопытно, что «игра» при этом смотрелась уже не как свободный обмен мнениями, а как поединок с «авторитаризмом», причем его носителем была милая женщина, музейный работник. Игорь Волгин нашел, как сейчас говорят, «свой формат». Он на месте. Человек культуры, поэт и учитель поэтов, он купается в текстах, читает наизусть стихи, ставит точные вопросы, вовлекая в разговор очередного участника дискуссии...

Во второй передаче — «Контекст. Обзор культурных событий недели», перешедшей к нему от Юрия Полякова, — Волгин пока еще держится не так свободно. Он еще не вполне вписался в ее контуры. Однако от передачи к передаче видно, как ведущий раскрепощается, обретает свои слова и интонации. Не уверена, что «Контекст» станет для Игоря Волгина таким же своим, как «Игра в бисер», но ясно, что и эту передачу он будет вести с тем же профессиональным мастерством и изяществом.

Понятно, что такие люди, как Волгин, для администрации канала своеобразная палочка-выручалочка. Он вытянет любую культурную программу. То же можно сказать о Святославе Бэлзе. По части музыкальных передач он своеобразный «тяжеловес» и «многостаночник» — признанный авторитет, знаток и поклонник музыки и музыкантов, обаятельный и непринужденный собеседник... Вспоминается не столь давно ушедший итальянец Майк Бонжорно, незаменимый ведущий очень многих культурных (и не только) программ итальянского телевидения. Однако есть в этой «незаменимости» еще один аспект, о котором буду говорить в дальнейшем.

А что женщины? Их не так много на канале «Культура». Но, как говорится, все на виду.

Сати Спивакова. Ее передача «Сати. Нескучная классика» уже своим названием подчеркивает присутствие в ней ведущей. Впрочем, к названию есть у меня претензия. Если бы передача шла не на этом, а, скажем, на Первом канале, этой претензии бы не было. Но на канале «Культура» словосочетание «нескучная классика» выглядит диковато, особенно для тех, кто следит за программами Сати Спиваковой. Все они ориентированы далеко не на профанов в музыке, недаром аудиторию в студии составляют студенты музыкальных вузов, они же задают вопросы приглашенным музыкантам и артистам. Боюсь обидеть многочисленных почитателей передачи,

но мне иногда (иногда!) не хватает в ней внимания к собеседнику. В самом конце, когда Сати подводит итог прозвучавшей беседе, мне недостает легкости интонации, все кажется, что она какая-то заученная. Впрочем, молчу, молчу и понимаю, что поклонники передачи и ее очаровательной ведущей в этот миг готовы разорвать меня на куски.

Недавно возникла на канале «Культура» передача «Белая студия». В абсолютно белом пространстве на двух стульях друг против друга сидят женщина и мужчина. Дуэль разворачивается между женщиной — Дарьей Спиридоновой — и одним из представителей мужского сообщества, чем-то себя проявившим в области театра, кино или литературы. Для передачи важен этот графически выверенный дизайн и то, что ведущая одета в бальное платье с обнаженными плечами, что на ней броские украшения, что она молода, хороша собой и прекрасно держится. Эту передачу можно назвать «стильной». Несмотря на длинное романтическое платье, ведущая очень современна и динамична. Она ведет с мужчинами почти «роковой» поединок, и нужно быть очень умелым и находчивым партнером, чтобы выбраться из ее словно бы простодушных вопросов. Задает она их, исходя из перечня литературных и художественных пристрастий своего визави. В биографии ведущей я прочитала, что диплом она писала по нетрадиционным формам интервью. Что ж, наука ей помогает раскрыть своих собеседников даже им самим, а зрителю показать психологические глубины (то, что американцы называют «background») наших сегодняшних творцов. Есть у меня одно самонаблюдение: передача увлекает меня в том случае, когда я знаю собеседника Дарьи Спиридоновой. Возможно, такие, как я, составляют меньшинство ее телеаудитории, тогда у программы неограниченное поле для разработок; если же нет, придется искать иные формы и иные ресурсы — что для креативной ведущей не должно быть помехой.

«Большая семья» — актерское ток-шоу. Дмитрий Харатьян и Александр Карлов выступают в нем в роли «хозяев», принимающих знаменитых гостей-актеров и готовящих для них всевозможные сюрпризы. Внутри пары распределение обязанностей примерно такое, как между Дон Жуаном и Лепорелло. Красивый и молодой «народный артист России» Харатьян — главный, а просто артист Александр Карлов — его помощник и «порученец», их пикировка опять же напоминает названный архетип. От передачи временами остается ощущение, что она легко могла бы существовать на любом другом канале. Публику всегда волновала личная жизнь звезд, ответы на вопросы — кто ее муж и чей это сын? — всегда питали естественный зрительский интерес. Но в лучших выпусках «Большая семья» выходит на какой-то иной, более высокий уровень. Так случается, когда гостями передачи становятся такие персонажи, как Кама Гинкас и Генриетта Яновская, так было совсем недавно, когда Наталья Бондарчук привела с собой свою старенькую маму. Я не сразу поняла, кто это, а поняв, остолбенела, батюшки, — Инна Макарова! И участие в программе Инны Макаровой придало ей новую пространственную глубину и значимость...

На самый конец у меня почему-то остались одни музыкальные передачи.

Две я стараюсь не пропускать — «Билет в Большой» и «Царская ложа». Первая рассказывает о событиях в Большом театре, вторая — в Мариинском и Санкт-Петербургской филармонии. Написала о «событиях» и подумала, что нужно добавить «художественных», ибо о других, например, о тех, что не столь давно потрясли стены Большого, программа «Билет в Большой» не упомянула ни единым словечком. К стати говоря, почему?

Вообще закулисы театров в передачах не обнажается, если, конечно, не иметь в виду работу декораторов и костюмеров, о ней как раз разговор ведется, и весьма подробный. Поначалу о Большом театре и работе его оперной труппы рассказыва-

ла Маквала Касрашвили, о балетных говорили молодые руководители балетной труппы, но с некоторых пор живых людей заменил нейтральный голос за кадром. И знаете, передача потускнела. Я заметила, что и «Царская ложа», когда в ней царит безликий закадровый голос, становится малоинтересной. Зато присутствие в кадре талантливейшего и обаятельнейшего Юрия Темиркунова или музыкального гиганта Валерия Гергиева вмиг делает ее необыкновенно живой и увлекательной.

В альманахе по истории музыки «Абсолютный слух» номинально ведущий есть — это танцовщик Янин, чье, нужно признать, весьма симпатичное лицо показывается в титрах в разных форматах. Альманах при всем при том идет без ведущего, Янин — фигура репрезентативная, и это передачу обедняет.

Двое ведущих в музыкальной передаче «Собрание исполнений» Сергей Ходнев и Илья Кухаренко говорят весьма дельные вещи о своем предмете, но их «мнения» словно написаны одной рукой (автора передачи?) и производят впечатление «чтения с листа». Молодые люди сидят и стоят в довольно странных позах, и я во время программы прямо-таки вижу помощника оператора, рукою показывающего ведущим перпендекуляр, под который им следует подравняться. И подравняются, точно держат прямой угол, молодцы!

«Романтика романса». Эта передача — моя боль. Я ее уже давно не смотрю. Уже давно поняла, что народной песне и романсу сильно не везет, не везет во всех смыслах. Во времена моего детства народная песня звучала по радио в исполнении великих артистов: Шаляпина, Лемешева, Обуховой, Максаковой. Эти песни — спетые их незабываемыми голосами — до сих пор со мной. Были самородки, типа Вяльцевой, Руслановой, той же Зыкиной, владевшие своей манерой, своей интонацией, своим репертуаром, их радостно было слушать, невзирая на то, пели ли они веселые плясовые, ямщицкие песни или жестокие романсы. Радовал талант, удивляли своеобразие и новизна, словно со старинной вещи соскабливали накипь времени и являли миру ее первоначальную лазурь.

Как-то в Италии, в небольшом городке на Адриатике, я присутствовала на лекции о русских народных песнях, прочитанной профессором-итальянцем в стенах университета. Он говорил о русской песне с восхищением, подтверждая свое мнение записями хора Свешникова. Как была я горда, как поражалась вместе со всеми мощи и красоте русского хора... Вспомнилось, что и великий Пазолини в «Евангелии от Матфея», где звучала музыка многих стран и народов, в центральной сцене — распятия — использовал русскую народную песню «Ой ты, Волга-матушка» в исполнении свешниковской капеллы. Мощное и широкое звучание хора подошло по масштабу к сцене вселенской трагедии.

И вот «Романтика романса». Сахарное название, приторная заставка, сладкая парочка ведущих... Ничего не имею против Святослава Бэлзы и Марии Максаковой, но... не покидает меня ощущение, что в этом виде передача не может плодоносить, не интересна молодежи, оставляет впечатление профанации и безвкусицы. Да простятся мне эти резкие слова — мне хочется «пробудить спящих». Нет, я не за то, чтобы начать насаждать русскую песню, как картофель при Екатерине Второй. Но какая-то работа должна вестись. Что-то нужно делать, чтобы если не наши дети, то хотя бы внуки знали, что такое русская песня и русский романс, чтобы прислушались к их звучанию, возможно, запели бы их сами... Для этого нужны таланты, самородки, влюбленные в народную песню, — и их нужно искать, искать по всей стране...

Статью свою я назвала «Ищу человека». Мне кажется, что и на канале «Культура» не хватает личностей, явно ощущим дефицит талантливых и профессиональных ведущих. И снова повторю: «Ищите!» Ищите и обрящете.

Хочется помянуть замечательную Паолу Волкову, недавно от нас ушедшую. Ее захватывающий цикл о живописных шедеврах и их творцах «Мост над бездной» был одной из находок канала. Вторую Паолу Волкову вряд ли сыщешь, но пластические искусства взывают — телезрителю нужно о них рассказывать, желательно так же талантливо и неравнодушно, как делала это ведущая «Моста над бездной».

Почему-то исчезла программа «Пресс-клуб XXI века». Мне нравились и ее форма, и то, как ее вел молодой, энергичный и очень современный Иван Засурский. Передача прекратилась, просуществовав всего год, и пока это место зияет, пустота не заполнена. То же скажу о программе «Разночтения», посвященной книгам и писателям. Ведомая Николаем Александровым, она просуществовала лет шесть. Прошу прощения за банальность, но книга в наши дни очень нуждается в поддержке.

Скажу и о школьниках. На канале существовала викторина для старшеклассников «За семью печатями». За полчаса школьники должны были открыть «семь печатей» — отгадать имена деятелей искусства и науки, названия живописных и музыкальных произведений, географических мест. Замечательное было дело! Увы, уровень культуры молодежи неотвратимо катится вниз. Молодые люди не могут ответить на элементарные вопросы: Солнце вращается вокруг Земли, или наоборот? Кто такой Самуил Маршак? Назвала те два вопроса, на которые не ответила взрослая молодая женщина, победительница конкурса красоты. Пока школа и родители разбираются друг с другом, кто больше виноват в невежестве юных, телевидение в своем ключе может помочь беде, повышая статус знаний, культурного кругозора, эрудиции среди школьников. Не будем оглядываться на «Детский канал». Это во многом задачи КУЛЬТУРЫ. Тем более есть у нее уже накопленный опыт.

Напоследок хочу поблагодарить всех, кто работает на замечательном канале, без которого я уже не представляю своей жизни. Привыкла. Люблю. Радуюсь, что в своем Бостоне могу слушать и смотреть эти программы. Спасибо тебе, КУЛЬТУРА!

¹ Прошу прощения за неполноту обзора, все передачи я просто не смогла охватить.

² Вопросов нет и к Михаилу Воскресенскому и Николаю Цискаридзе, появляющимся на телеэкране достаточно редко, но чьи комментарии к музыкальным передачам, опере и балету, всегда содержательны и несут отпечаток их личности.

ЗАБЫТАЯ КНИГА

Лев ВОЙТОЛОВСКИЙ

ТРАГЕДИЯ ГЛЕБА
УСПЕНСКОГО

У каждой эпохи есть свой умственный и нравственный тип, свой «герой», история жизни которого воплощает в себе все тревоги, искания и все надежды создавшей его общественной среды. От нее, то есть от этой общественной

группы, усваивает «герой» все дарования и силы, но и все решительно заблуждения. Его биография есть история умственного развития целого поколения; и завеса, сдернутая, казалось бы, с наиболее интимных сторон его личной жизни, нередко приводит нас к истокам самых затаенных биений общественной мысли. Такова биография Лассалья, в событиях личной жизни которого как бы повторилась в миниатюре вся революционная пылкость, вся политическая самоотверженность и все отсутствие классовой устойчивости 48 года; или биография Бьёрсона¹, тесно сплетенная с историей общественного радикализма в Норвегии. Такова же история жизни Глеба Ивановича Успенского.

Глеб Успенский является типичнейшим представителем разночинной русской интеллигенции. Энергичное, суровое и мужественное поколение «нигилистов», которых один из случайных дворянских персонажей Успенского с озлоблением называет «помесь дворовой девки с дьяконом», именно оно в лице Глеба Успенского нашло своего наиболее чуткого выразителя. В смертельном поединке барина с разночинцем Глеб Успенский не знает пощады. Каждая его строчка дышит презрением и ненавистью к дворянам — к этим «грибам на крепостной куче», которым ничего не предстоит в будущем, «кроме гибели вместе с кучей, на которой они выросли». Вместе с враждебным отношением к дворянству Успенский целиком унаследовал от разночинца-шестидесятника его скорбь о темноте и невежестве народа; скорбь, превращенную Успенским в мечту о вечном служении народу, в священную обязанность интеллигенции слиться с «общими условиями бедности крестьянской жизни». В чем и как выразится это слияние — все равно: «труженик, столетиями работавший на других, начинает новую эру жизни; он только что вышел из заключения, голодный, холодный, измученный, забитый, полудикий и решительно беспомощный во всевозможных смыслах; тут ли не найти себе места и дела?» Никогда, ни на миг не должна забывать интеллигенция, что она призвана быть светом и совестью народной. «И только тот, кто светит, будет исполнять интеллигентное дело». Этот голос неутихающей скорби, вечный вопль потревоженной совести, звучит из самой глубины духовного существа Успенского. Таким он был создан своей эпохой, и насквозь, до глубины бессознательного, он был проникнут ее тоской, ее яркими скорбями, жаждой «великого служения народу».

Но не следует смешивать эти жертвенные настроения Успенского с тоской дворянского покаяния. Успенский не был и не имел ни малейшего повода причислить себя к «кающимся дворянам». Не сознанием дворянской вины перед народом и не жаждой искупления было продиктовано Успенскому это «слияние с мужиком», а сознанием собственной неустойчивости и потребностью в реальной опоре:

«Мой карман, мой ум, мой душевный мир — все это, — говорит Успенский, — находится в самой тесной связи с карманом, умом и душой деревни. Пустота деревенского кармана опустошит и мой, темнота деревенского ума не дает хода и моему уму, довольно-таки просвещенному; а иное направление деревенского духа может парализовать и в одно мгновение уничтожить громадные жертвы и труды, страстно и бескорыстно направленные ко благу всего человечества».

Чем нагляднее становится связь между интеллигенцией и деревней, тем более кровно заинтересован интеллигент в добросовестном выполнении взятой на себя роли — самоотверженного проповедника добра и правды. Интеллигент должен свято проникнуться своей огромной задачей и осуществлять ее денно и нощно с фанатическим рвением пророка, с религиозным усердием святого великомученика.

«Горько будет дело интеллигента, — предостерегает Успенский, — в том случае, ежели шестьдесят миллионов вдруг, по шучьему веленью, возьмут да справятся

сами собой. Тогда ведь человек, образованный в замкнутой от природных интересов среде, совсем уже не нужен».

В силу вытекающей отсюда исторической неизбежности, во имя собственного спасения и во избежание нравственной и экономической гибели, разночинец обязан превратиться в интеллигента-подвижника, в интеллигента-великомученика или, как выражается Успенский, должен выделить из своих рядов «интеллигенцию святых угодников».

Таким самоотверженным праведником и был Успенский.

История жизни Успенского — сплошная мученическая легенда, трагическая и глубоко поучительная в своей общественной значимости. Об этом говорят все факты его подвижнической жизни, рассказанные Н. К. Михайловским, Елпатьевским² и Короленко, и больше всего история его души, рассказанная в его произведениях, пропитанных таким терпким и мучительным ароматом самоистязания, иронии и жертвенной преданности идее. И на вершинах величия, в расцвете творческих сил, и в годы душевного оскудения он в корне оставался, выражаясь словами Михайловского, все так же возвышенно-настроенным, все так же занятым борьбой со злом и мраком, которая потом — в бредовом кошмаре — только вся обратилась внутрь его собственной души.

Мысль о правде, осознанная и продуманная, до последней минуты страстно рвалась наружу и бурно искала воплощения. От первой печатной строки и до последнего безумного жеста Успенский весь горел экстазом праведной жизни. Его «праведное» слово неотступно стремилось облечься в живое дело. И в этом лежал источник его трагедии. Ибо в душе Успенского жила глубокая, неистребимая вера, что нет той мысли, которая не обратилась бы в плоть и кровь. Интеллигенту стоит лишь усиленно пожелать, как от мысли его устроится мир, возникнет свет на Руси, воды отделятся от суши и хищные звери превратятся в кротких и праведных овец. Мир есть внешнее проявление слова и мысли интеллигенции. В доказательство этих взглядов Успенский любил цитировать лирические выпады Генриха Гейне:

«Заметьте себе это вы, гордые люди дела. Вы не что иное, как бессознательные руки людей мысли, которые часто в смиреннейшей тишине начертывают вам самый определенный план ваших действий. Максимилиан Робеспьер был не что иное, как рука Жан-Жака Руссо, вытащившая из недр времени тело, которого душу создал Руссо. Вся грозная история, затеянная мещанином с улицы Сент-Оноре, есть только история осуществления мыслей великого женева. Ибо мысль всегда стремится стать делом».

Это звучит красиво, как поэтическая тирада, но факты действительности не подчиняются голосу поэтических заклинаний. И мысли, рожденные нередко большими и смелыми умами, но находящимися в противоречии с историческими задачами прогрессивного класса, обречены слоняться бессильными призраками и ведут к бесплодному угашению создавшего их мозга.

Биография Глеба Успенского и есть одна из таких историй борьбы обессиленной мысли с торжествующим фактом, или, как принято было выражаться, с силой враждебных обстоятельств. В самом характере его кошмарного бреда содержится ключ к пониманию его духовной трагедии. Интересный и поучительный материал в этом смысле дает работа известного народника и опытного писателя-психиатра О. В. Аптекмана «Страница из скорбного листа Г. И. Успенского». История болезни, опубликованная в 1909 году Аптекманом, под наблюдением которого состоял больной Успенский в бытность свою в Колмовской лечебнице доктора Синани, относится к 1895–1896 годам, когда период маниакального возбуждения и острых

слуховых и обонятельных галлюцинаций достиг у больного своего максимального развития. И в то же время признаки возбуждения у него постоянно чередовались с продолжительными периодами чисто болезненного вдохновения. Он много писал, много и подолгу беседовал с Аптекманом и другими врачами, и продукты этого странного творческого бреда отлились постепенно в своеобразное, тонкое, мало-пригодное для наших, житейских боевых отношений, пантеистическое мирозерцание.

Вот его сущность, поскольку она отразилась в письмах Успенского, адресованных на имя Аптекмана.

Во всей природе, особенно организованной, разлита единая, вечная, жизнедающая сила. Эта сила — душа. Она присуща всему живому и сущность ее едина, и оттого едины суть: и былинка в степи, и «царь природы»... Душа как источник жизни неиссякаема и бесконечна. Из него, из этого источника, пьет «полным ртом» все живое. Всем хватает «по горло». Умирает одна форма, и из ее праха, как феникс из пепла, восстанавливается другая. Прекратить насильственно форму жизни — значит совершить «душеубийство», злодейство. «Насильственной смерти, душегубства, в природе нет, иначе природа превратилась бы скоро в пустыню, в „кладбище“, бесконечное кладбище». Есть смерть — естественный конец жизни, законченный цикл развития, но нет душегубства, насилия, резни и кровопролития. Любовь, «бесконечная любовь», разлита в природе, во всей Вселенной. Все живое, имеющее душу, неприкосновенно, свято, как свято божество. Свята былинка, несущаяся свободно в степи, свята зеленая трава на зеленом лугу, свят темный бор, свят всякий зверь в лесу и всякая птица в небесах, свята рыба в воде, свят и бесконечно свят человек во Вселенной, везде и всюду и вовеки веков.

В строгом согласии с этим мировоззрением было и все поведение Глеба Ивановича в больнице.

Всех решительно, и себя в том числе, больной называл святыми: Святой Глеб, святой Иосиф, святой Андрей...

А женщин, на долю которых пало рождение «святых», он называл еще богородицами. В письмах к жене своей Глеб Иванович называет ее: «Св. богородица, Александра Васильевна!»

Отвергая всеми силами «душегубство» над освященной жизнью природой, он категорически отказался не только от мясной пищи и прочих видов питания, связанных с видимым пролитием крови, но не принимал даже фруктов, сорванных или срезанных с дерева, и буйно и мучительно протестовал, например, против сенокоса и жатвы.

«Как-то раз, — говорит Аптекман, — Глеб Иванович увидел в окно, что косят траву. Боже! Что с ним сделалось! Он кричал, ругался, плакал, проклинал и довел себя до такого состояния возбуждения, что доктор Сенани приказал немедленно приостановить косьбу, и она была окончена ранним утром, пока Глеб Иванович спал».

Так же глубоко возмущало его и малейшее насилие над животными, и он никому не позволял, например, ездить на лошадях и проч.

Надо ли считать это мировоззрение сплошным кошмаром и бредом? — задается вопросом Аптекман. И разрешает его так: «Это мировоззрение постольку бред, поскольку в нем сказывается глубокое расстройство ассоциационного механизма, — поскольку логическая последовательность, связность речи сильно от этого пострадали. Страшно запутана речь Глеба Ивановича, причудливы ее скачки, неожиданны порой его аргументы и сопоставления. И, тем не менее, сам больной в большинстве случаев выводит нас благополучно из лабиринта и дает нам не только „некоторую фантазию, поражающую нас своей оригинальностью красок“, но и

цельное, гармоническое философское мирозерцание, которое, несомненно, еще раньше, когда Глеб Иванович был здоров, привлекало его, жило в его душе».

Ответ довольно уклончивый. В авторе, по-видимому, борются народник и врач. Один — психиатр — не решается отвергнуть признаков бреда в этой проповеди кошмарного аскетизма, тогда как другой — народник — не хочет почему-то прямо сказать, что в этом периоде своей «болезни» Глеб Успенский не был безумным. Его безумие заключалось лишь в том, что он объявил себя чересчур «последовательным» врагом насилия и «душегубства» и не допускал в своем поведении ни малейшей лжи. И там, где другие привыкли лицемерно вздыхать, он становился в открытую оппозицию. Гораздо больше мужества проявил в этом отношении В. Г. Короленко, назвавший и последний — больничный — период жизни Глеба Успенского таким же «народным», точнее народническим правдоискательством:

«Несомненно, — говорит, подводя итоги, Короленко, — несомненно, что в этом исстрадавшемся чужими страданиями подвижнике литературы в последний период жизни проснулся обычный тип подвижника, знакомый нашей русской, порой жестокой, порою простодушной старине. И, может быть, в другие времена его бы оставили на свободе, и он бродил бы по деревням или жил бы в какой-нибудь обители и говорил бы людям о своей инокине Маргарите, которая учит побеждать в человеке зверя и помогает святому Глебу бороться с животным Иванычем, и раскрывает светлое небо... И его слушали бы темные люди и ловили бы в темных речах мерцание небесной правды...»

И действительно, «безумие» Успенского сродни тому христианскому аскетизму и правдоискательству, которое занимает главное место в учении всех наших «неприемлющих» и «непризнающих», творят ли они свое отрицание мира во имя «непротivления злу» или во имя «предвечного младенца», во имя «белого экстаза» или просветленной народническими «угодниками» деревни. В этом фазисе своего мышления нигилист-разночинец, «критически мыслящая личность» покинул в бессилии свои идеологические высоты и нырнул в бездонную пучину того сектантского мистицизма, который густыми, удушливыми клубами так долго стлался по лицу нашей чаявшей избавления родины. В самом деле, разве не повторяются все доводы Глеба Ивановича о святости жизни и о насильственном пролитии крови в учении и в правилах поведения молокан? И нельзя разобраться в аскетическом кошмаре Глеба Ивановича, не обратившись прежде всего к тайникам мистицизма наших малеванцев, тырновцев, духоборов и проч., у которых на первом плане стоит все та же мучительная задача: «како быть святу», как оставаться безгрешным на миру?

Что именно стремление к социальной правде, к правде общественных отношений лежало в основе мистических поисков Успенского, это доказывается теми многочисленными проектами социальных преобразований, которые и составляли главное ядро его «бреда».

Трудно указать ту грань, за которой начинается мир окончательного безумия Успенского. Но, во всяком случае, и в стенах лечебницы его израненная душа еще долго полна была глубокого жертвенного пафоса, и социологический бред его не только ясно определял его отношение к миру, но и окружал его имя таким же мученичеством и благородством, как и лучшие страницы его печатных произведений. И если последние представляют собою прекрасную, художественную летопись идеологических исканий разночинца, то самая тень страдальца-писателя является наглядным трагическим памятником на могиле этих бесплодных исканий.

* * *

Глеб Успенский не был «кающимся дворянином». Ему не в чем было каяться и нечего было жалеть в отходящей дворянской старине.

«Нам еще жаль старый порядок вещей, — писал Герцен, с тоской оборачиваясь на развалинах отцовского дома к воспоминаниям прошлого. — Кому же и пожалеть его, как не нам? Мы созданы им, мы его любимые дети, мы сознаем, что ему надобно умереть, но не можем ему отказать в слезе».

Успенский не только не был в числе «любимых детей» старого порядка, но постоянно чувствовал себя на положении бессловесного и покорного гвоздя, «который вбивает на известное место посторонняя рука и который оказывается способным держать все, что эта посторонняя рука на него ни повесит». Оттого, обращаясь к полурухнувшей старине, он бросает ей с ненавистью от имени разночинца:

«Что тут любить? Что тут было человеческого, справедливого, красивого, приятного?»

И в другом месте язвительно дополняет: «...Из прошлого нельзя, и не надо, и невозможно оставить в себе даже самонаименьшего воспоминания».

Таковыми едкими замечаниями переполнены все его многочисленные очерки. Успенский краток. Успенскому некогда предаваться лирическому раздумью. Вся его энергия тратится на раздумье иного сорта: как устроиться так, чтобы «поставить душу человеческую в невозможность быть проданной из-за куска хлеба». Поденщик, «мыслящий пролетарий», он вечно бьется в тисках нужды и безденежья, вечно мечется в поисках аванса. Интересные подробности на этот счет находим мы в воспоминаниях П. Боборыкина:

«Необычайно поразительна была его фигура, — вспоминает П. Боборыкин, — в дни приема в квартире Некрасова, на Литейной, в доме Краевского. Успенский в приемной комнате (где стоял одно время и биллиард) ходил в сторонке, сильно озабоченный, со складкой на лбу и усиленным подергиванием бородки, и тревожно заглядывал на дверь во внутренние комнаты, откуда должен был появиться Некрасов.

В следующей комнате (где в ящик-подзеркальник Некрасов имел привычку класть свой крупный выигрыш) бедный Глеб Иванович подолгу ходил в ногу с Некрасовым и, разумеется, просил новый аванс.

И долг редакции все рос, а по смерти Некрасова было все труднее раздобываться такими ссудами. Такой даровитый писатель, как Успенский, до самой своей смерти не мог сводить концов с концами и несколько раз хватался за другие виды заработка — за службу по земству и учительство, и с каждым годом все сильнее изнывал под бременем подневольного спешного писания, с невозможностью вынашивать подолгу свои образы и замыслы».

Отсюда основной пружиной всех затаеннейших желаний и побуждений Успенского является потребность избавиться, «уйти от всякого рода наемной, поденной работы». Эту потребность Успенский считает всеобщей, свойственной каждому разночинцу, во всяком случае, и выражается она в тяготении к собственному хозяйству, или, сказать точнее, в том, что «жажда земли и желание жить земледельческим трудом, то есть желание уйти от всякого рода наемной, подневольной работы, до чрезвычайности развиты во всех классах служебного сословия». Успенский сам объясняет это стремление прилепиться к «земле» экономической неустойчивостью разночинца; но основною, побудительною причиною, по его мнению, является не экономическая беспочвенность, а крушение старой дворянской идеологии. С раскрепощением мужика рухнули твердыни, составлявшие нравственные устои

государства, и в «нравственном мире русского человека образовалось пустое место». Пустота эта ощущалась давно самим дворянином. Уже Чаадаев в своем знаменитом «философическом письме» жалуется на духовное убожество и беспочвенность своего поколения: «Мы все как будто странники. Нет ни у кого сферы определенного существования, нет ничего, что бы привязало, что бы побуждало наши сочувствия, расположения, нет ничего постоянного, неизменного: все проходит, все протекает, не оставляя следов ни на внешности ни на нас самих. Дома мы будто на постое, а в семействах как чужие, в городах как будто кочуем... Наши воспоминания не долее вчерашнего дня, мы, так сказать, чужды самим себе».

Следующее поколение устами Герцена еще решительнее, еще горше осуждает и плачется на свою духовную нищету:

«Наша жизнь — постоянное бегство от себя, точно угрызения совести преследуют, пугают нас. Как только человек становится на свои ноги, он начинает кричать, чтобы не слышать речей, раздающихся внутри: ему грустно — он бежит рассеяться, ему нечего делать — он выдумывает себе занятия; от ненависти к одиночеству он дружится со всеми, все читает, интересуется чужими делами, наконец женится на скорую руку... Кому и эта жизнь не удалась, тот напивается всем на свете: вином, картами, сказками, женщинами, благодеяниями, ударяется в мистицизм, идет в иезуиты, налагает на себя чудовищные труды, и они ему, все-таки, легче кажутся, чем угрожающая истина, дремлющая внутри его...»

Так было раньше. Дворянин плакал и радовался, оставаясь по-прежнему «идеалом и центром жизни». Падение крепостного права ребром поставило все вопросы; оно, говорит Успенский, обрушилось на всех как светопреставление, как «всемирный потоп». Тут уж ничего другого не оставалось, как строить спасательный ковчег и искать то вещее слово, которое отделило бы воды от суши и зажглось путеводным маяком. Другими словами, вопросы идеологии стали для разночинца вопросом социального бытия. Бесповоротно и беспощадно отказавшись от старого мира, пустив на слом всю барскую кирсановщину, надо было начинать всю жизнь сначала. Так и сделал Успенский.

«Начало моей жизни, — рассказывает он в своей автобиографии, — началось только после забвения моей собственной биографии, а затем и личная жизнь и жизнь литературная стали созидаться во мне одновременно собственными средствами».

Тут устами Успенского говорят и Решетников, и Помяловский, и все те, которым, по словам Решетникова, «со дня рождения выпадают одни колотушки, попреки за каждый кусок хлеба, нещадное битье розгами при обучении грамоте, среди окружающего пьянства и невежества». Тут исповедуется вся разночинная интеллигенция, давно вместе с Успенским осознавших, что «ничем от этого прошлого нельзя было и думать руководиться в том новом, которое будет, но которое еще решительно неизвестно». Тут в лице Успенского целое поколение во всеуслышанье заявляет об отказе от наследия старой культуры и о своем титаническом решении создать «собственными средствами» свою правду, свою истину, свою справедливость, совесть, честь, красоту и гармонию.

Художественно-публицистическая деятельность Глеба Успенского и представляет собою литературную летопись этих напряженных, мучительных и безысходных исканий. Глеб Успенский не был «ни кающимся дворянином», ни учеником и последователем «субъективной социологии» Михайловского, ни марксистом. Это был глубоко правдивый, вдумчивый и наблюдательный художник, доверявший только тому, что «подтверждается документами». Его творчество насквозь документально. Литературные приемы Глеба Успенского и процесс его творческой

работы мало исследованы. Но всем известна его любовь к фактическим материалам.

«В писаниях Глеба Успенского, — говорит новейший исследователь его архивов В. Буш³, — только то, за что он ручается, только то, что он лицезрел сам... А если не видел, то читал, проверял кропотливым собиранием вырезок из газетных и журнальных статей. В архиве Успенских сохранились целые пачки таких материалов. И тончайшими цитатами обставлены не только публицистические его статьи. Для характеристики «скучающей публики» у Успенского под рукой двадцать шесть полных комплектов газет за 1886 год».

Успенский не был кающимся дворянином, но народничество во многом предопределило характер его исканий. А это, разумеется, ставило абстрактные теории Успенского в противоречие с его экспериментальной правдой и приводило к беспощадной душевной ломке. Н. К. Михайловский, как и все критики-народники, старался не замечать ни этих внутренних противоречий, ни надрыва в душе Успенского, объясняя все это особенностями его литературного стиля.

«Успенский, — писал он, — склонен ставить поднимающиеся в нем под напором жизни вопросы ребром, бесстрашно и без соображения с какими бы то ни было доктринерскими мерками доводя известную мысль до самого крайнего ее логического конца, чтобы вслед за тем также бесстрашно произвести эту самую операцию над другою, может быть прямо противоположною, мыслью».

* * *

<...>

«Лганье, вздор, призрак, выдумка, самообман... Вот какие феи стояли у нашей колыбели, — говорит Успенский, характеризуя разночинскую семью. — Сколько тут было взаимной ненависти, притворства, низкопоклонства, соединенного с полным презрением... Тут все, с седьмого колена, шло против личных чувств, против личных желаний, убеждений и покорялось какой-то тягостной необходимости»...

Ни свободным человеческим отношениям, ни свободным чувствам здесь не было места. Каждый сидел угрюмо и неподвижно, как крепко-накрепко вколоченный гвоздь.

«О, гляди на этот гвоздь, — желчно иронизирует Успенский, — как он продолжает крепко сидеть там, где его вбили! Негодование, боль, скорбь, гнев и слезы задушили бы, замучили бы сразу человека, рожденного вне случайностей нашей жизни; но мы, рожденные тут, не умеем ни плакать ни негодовать».

Чтобы уйти от этой страшной и тупой неподвижности, бежать от голода, унижений и пьяных побоев, оставалось единственное средство — искать опоры в народе.

«Более решительная часть, — говорит Плеханов, — искала в народе опоры и поддержки своим оппозиционным и революционным стремлениям; другая, мирная, часть, просто смотрела на народ как на такую среду, в которой могла бы жить и работать, не поступаясь своим человеческим достоинством».

Вопросы идеологии (а следовательно, вопросы народничества) стали для разночинца вопросом социального бытия. И вот, жадно присматриваясь к деревне, беседа, странствуя, изучая, Успенский приходит к заключению, что мужик не только количественно преобладает в нашей стране («сила на стороне миллионов, а не сотен тысяч»), не только экономический хозяин в России («кто же наш поилец и кормилец, как не он?»), не только фактически питает собою все сословия и все учреждения в государстве («и в войске, и в духовенстве, и в мещанстве преобладает

тот же крестьянский элемент, более или менее переодетый»), но что в стране, которая живет и держится земледелием, все сверху и донизу неминуемо должно быть спаяно с мужичьей правдой и мужичьими идеалами («мой карман, мой ум, мой душевный мир находятся в самой тесной связи с карманом, умом и душой деревни»). Так сложилась своеобразная, яркая эстетико-философская теория земледельческого труда, разработанная Успенским в ряде очерков под общим заглавием «Власть земли». По форме — это художественные притчи с обширными публицистическими комментариями, которые могут быть сведены к трем основным положениям:

Положение первое: «В условиях земледельческого труда почерпает мужик философские взгляды; в условиях этого труда работает его мысль, творчество; в этом же труде обретает он освежающие душу поэтические впечатления; на основаниях этого труда строит свою семью, строит свои общественные, частные отношения; и из условий всего этого составляется взгляд на общую государственную жизнь».

Положение второе: «Только земледельческий труд ставит душу человеческую в невозможность быть проданной из-за куска хлеба».

Положение третье: «Оторвите крестьянина от земли, от тех работ, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, — добейтесь, чтобы он забыл „крестьянство“ — и нет этого народа, нет народного мирозерцания, нет тепла, которое идет от него».

Доколе мужик не отрывается от крестьянского хозяйства, не выпадает за категории «тружеников земли», он представляет собою «совершеннейший тип человека»... Да и оторвавшись от земли, мужик продолжает оставаться под ее властью, и тяга в деревню сохраняется всюду, куда бы судьба ни забросила мужика. Таков Иван Ермолаевич в очерках «Крестьянин и крестьянский труд».

Чем же обусловлена эта «стройность сельскохозяйственных идеалов» и гармония сельскохозяйственного духа? Тем, что мужик «сам хозяин и сам работник». Да и вообще, «во всем себе сам». «Сам добывает хлеб, сам добывает кожу на сапоги, овчину на тулуп, он сам шьет себе рубашки, словом он все сам. <...> Тут уж не может быть никакой неискренности, — говорит Успенский. Человек сразу «обретает и свое достоинство и свое присутствие духа». Ибо душа его не может быть продана из-за копейки, и он чувствует, что он работает, трудится, а не «вылыгает⁴ себе хлеб». Оттого нравственная обязанность интеллигента стать тружеником земли; и если он сам не может стать земледельцем, то служение земледельческому труду должно сделаться задачей и целью его жизни.

Само собою очевидно, что все эти рассуждения целиком вытекают из народничества. И след этой догмы хранят на себе и многие рассказы, написанные для того, чтобы «показать значение земли, земледельческого труда и земледельческой морали». Но народничество Успенского носило совершенно своеобразный характер. Успенского ничуть не занимали ни борьба с капитализмом, ни вопрос о сохранении общины и артели. И общину, и артель, и капитализм он считал бессильными словесными измышлениями, засоряющими и затемняющими главное — моральное — требование: человек должен жить «трудами рук своих», радостно повинуюсь голосам и велениям земли. Нравственно, справедливо и разумно только то, что ни в чем никогда не противоречит «власти земли». Безнравственно, вредно и неразумно все, что идет вразрез с красотой и гармонией первобытного земледельческого труда. И когда фабричный пролетарий Михайло, давно оторвавшийся от деревни, вдруг начинает «копить копейку» и после невероятных усилий покупает какой-то жалкий сруб и гонит его на плотках в родную деревню («Избушка на курьих ножках»), то не в том его подвиг, что он борется с путами капитализма, а в том, что

он подчинился голосу великой мужицкой правды и признал над собою единственную справедливую власть — «власть земли». Безнравственно, несправедливо и вредно все, что наносит ущерб крестьянскому хозяйству, отчего бы этот ущерб ни происходил: от службы ли в ресторане («Развеселили господ»), от необходимости «идти по свету копейку добывать» («Из деревенского дневника», «Крестьянский труд»), от парового плуга, керосиновой лампы, железной дороги или еще какой-нибудь «язвы цивилизации». Ибо и паровая машина, и городской ресторан, и фабрика для изготовления ситца подкапываются под «совершеннейший тип человека и человеческого труда» и ведут к «опустошению, истреблению и смерти» того, что называется «властью земли». Это Успенский отлично видит и понимает: «Стройность сельскохозяйственных земледельческих идеалов беспощадно разрушается так называемой цивилизацией». И вот, во имя «власти земли», а не во имя борьбы с капитализмом, для сохранения «стройности сельскохозяйственного труда», а не ради истребления заводов и фабрик, «не надо разводить пролетариата», который «мешает мужику быть земледельцем».

«Для сохранения русского земледельческого типа, — собирает воедино Успенский все свои скупы и осторожно разбросанные славянофильские мысли, — для сохранения русских земледельческих порядков и стройности, основанной на условиях земледельческого труда, всех народных, частных и общественных отношений, необходимо всячески противодействовать разрушающим эту стройность влияниям; для этого необходимо уничтожить все, что носит мало-мальски чуждый земледельческому порядку признак: керосиновые лампы, фабрики, выделяющие ситец, железные дороги... Все это необходимо смести с лица земли для того, чтобы Иван Ермолаевич (воплощение «стройности сельскохозяйственных земледельческих идеалов». — Л. В.), воспитавшийся в условиях земледельческого труда, на них построивший все свои взгляды, все отношения, на них основавший целый, особый от всякой цивилизации, своеобразный „крестьянский“ мир, мог свободно и беспрепятственно культивировать эти своеобразные начала».

Но тут же протестующий голос западника, голос сторонника «цивилизации» горячо ополчается против этого воскурения фимиамов сохе, лучине и церковному ладану. С горькой насмешкой над собой и над своими мракобесными рассуждениями Успенский пишет:

«Я валю к ногам мужика всю цивилизацию всех веков и народов и изображаю ее так, что иначе, как „паршивую“, наименовать ее невозможно... Под цивилизацией поименованы кабаки, извозчики, пьянство, наклонность к разрушению семейных порядков, показано, что от „цивилизации“ Алексей бьет жену и т. д. Словом, взято множество свинств, и все они наименованы цивилизацией, которая поэтому сама собой уже оказывается свинством... И, однако, ведь говоря по совести, я знаю же, что и цивилизация выдумала массу добра для человечества, ведь по сущей совести я знаю, что моя личная жизнь значительно облегчена, услаждена благодаря этой настоящей цивилизации...»

Да и стоит ли швырять под ноги Ивану Ермолаевичу («Крестьянин и крестьянский труд») «всю цивилизацию всех веков и народов?» Так ли уж благолепен и иконописен этот «совершеннейший тип человека?» — задает «по сущей совести» вопрос самому себе Успенский. И перо из рук публициста, ратоборствующего в полусвете народничества, переходит в руки неослепленного художника:

«Всякий раз, когда я заведу речь о коллективной обороне деревни, — кается перед читателями Успенский, — заговорю в том или в другом виде, Иван Ермолаевич немедленно найдет предлог улизнуть от меня: то ему захочется спать, то болит нога, то надо поглядеть, отчего лают собаки...»

Изучая, присматриваясь и знакомясь с подлинной жизнью мужика, Успенский-художник начинает многое видеть по-иному. Он видит, что дело не в одних словесных преградах, не дающих Успенскому довести до конца беседу о коллективной работе деревни; что имеются сотни других непролазных и непроездных преград на пути ко «всеобщему благу», и из них самая непреодолимая преграда — хваленая «власть земли», обрекающая крестьянина на вечный, без передышки, без малейшего отдыха, бесплодный труд:

«Летом с утра до ночи без передышки бьются с косьбой, со жнивом, а зимой скотина съест сено, а люди хлеб; весну и осень идут хлопоты приготовить пашню для людей и животных, летом соберут, что даст пашня, а зимой съедят. Труд постоянный, и никакого результата, кроме навоза, да и того не остается, ибо и он идет в землю, земля есть навоз, люди и скот едят, что даст земля... Меня и поражает бесплодность труда, бесплодность по отношению к человеку, к его слезам, радостям и к зубовному его скрежету. Именно в человеческом-то смысле бесплодность неустанного труда оказывается поразительной. Как бы пристально ни вглядывался в него, как бы ни ужасался его размеров, я решительно не вижу, чтобы в глубине этого труда и в его конечном результате лежала мысль и забота о человеке, в размерах, достойных этого неустанного труда».

Итак, от лганья, унижений и пьяных побоев «Растеряевой улицы» к тупому и беспросветному труду, приравнивающему человека к навозу — вот чем закончились искания разночинца. Значит, отрывайся от крестьянского хозяйства или не отрывайся, а в результате «остается один пустой аппарат пустого человеческого организма; настает душевная пустота, неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное — иди куда хочешь...». Надо ли удивляться, что если человеку с таким багажом в душе вздумается осчастливить деревню в роли советчика и наставника жизни, то ничего он не услышит от мужика, кроме презрительно-равнодушного: «Не суйся!»

* * *

А между тем пореформенная Россия все больше и больше впадала в «грех капитализма». От стихийной деревенской морали давно остались одни лоскутья. Мужичок «сам себе все» превратился в плательщика городских налогов Ивана Босых, он же Иван Горюнов, он же Иван Алифанов («Взбрело в башку»), он же и коллективный Мишенька («Мишеньки»). «Власть земли» и в крестьянском хозяйстве, и в крестьянском сердце сменилась откровенной и жадной тягой к рублю. Это, разумеется, не могло не отразиться и на темах Успенского. В центре его внимания по-прежнему остаются мужик и разночинец, но уже омраченные тенью новых забот («Новые времена — новые заботы») И написаны эти очерки языком более нервным и торопливым, пересыпанным множеством городских словечек. Потому что люди этих очерков впитывают в себя вместе с новыми словечками какую-то непомерную живучесть и расторопность. Таков, например, Иван Кузьмич Мясников, насаждающий капитализм в деревне и обязанный всеми сторонами своей души не «власти земли», а власти денег, не ржаному полю, а чековой книжке. Рассказ так и называется «Книжка чеков». Иван Кузьмич — кипучая и очень многосторонняя натура. Он рубит, свозит, вывозит: за лесом камень, за камнем железо. Мертвую природу, птицу, зверей, пушнину — он все хватает, уносит, двигает. «Рыл, вывозил и продавал, а деньги возил в банк и получал книжки чеков». Слова у него короткие, бойкие, и правила простые и ясные: «Человек-полтина». Появится Иван Кузьмич в глухой, дотла разоренной деревушке и только скажет: «Кто хочет по

этой цене (человек-полтина) идти на станцию принять оттуда паровик — иди». И мигом все приходит в движение.

«Словно сказочный богатырь, наделенный непомерной силой денег, Иван Кузьмич начинает буквально двигать горами. Прикоснется он со своим капиталом к дремучему темному бору, грозно шумевшему тучами и грозами: „Вороти назад, держи около“, и с материнскою заботливостью дававшему приют тысячам зверей и птиц, и — глядишь в две-три недели после появления в этом лесу Ивана Кузьмича — лес исчез и уже больше нет этого дремучего богатыря».

Иван Кузьмич долго не засиживается на одном месте. Завтра мы уже видим его орудующим в городе, строящим железную дорогу, которая сделала возможным вторжение в маленький уездный городишко потоков всяческой гнили, смешав гнилые заборы и стоячие лужи с оперетками Оффенбаха и заезжим цыганским хором и превратив всю местную жизнь в «досадную путаницу».

Мало-помалу Иван Кузьмич из «сказочного богатыря» превращается под пером Успенского в неотразимую заразу, которая под именем «греховодника купона» забирает в свои руки власть над всеми умами и делами в России.

Едва только «греховодник купон» прикоснется своей антихристовой печатью к тихой степной станице или к тихому черноземному селу на тихой реке и запечатлеет это прикосновение, бросив на тихом берегу пароходную пристань, а в привольной степи станцию или вокзал железной дороги, — так с той же минуты и в станице и в селе начинает твориться что-то никогда небывалое и никому неизвестное и, главное, нечто такое, чему никак нельзя не повиноваться. Какая-то неведомая сила разламывает беленькие уютные домики, утопавшие в зелени тополей, и строит огромнейшие столичного фасона дома; строит одно здание вслед за другим и, без отдыха и остановки, наполняет эти здания гостиницами, огромными невиданными прежде магазинами, из которых как бы сами собой лезут и сами собой надеваются на всех, попросту одетых обывателей, новые, небывалые костюмы, пиджаки, визитки, всякие необыкновенные шляпы, турнюры. Неведомая сила, не говоря ни слова, не приказывая через полицию, начинает выгонять мирных жителей, проводивших тихие летние вечера за игрой в дурачки, в кафе-шантаны, в загородные сады, заставляет слушать шансонетки на непонятном языке... гипнотизирует массы скромных и совершенно невинных девушек, дочерей местных обывателей, выгоняя их на новый промысел на новом тротуаре.

В целом ряде очерков: «Как рукой сняло», «Непривычное положение», «Петькина карьера», «Джутовый мешок» и др. Успенский с громадной художественной выразительностью вскрывает дух и природу «купонного строя» и «купонной морали». Посмеиваясь над марксистами, он иногда называет еще «купонный строй» «железными законами». Не отрицая этих законов, Успенский неизменно заканчивает свои очерки какими-то смутными упованиями на какие-то спасительные силы, которые положат предел царству «купонного человека».

«Цивилизация приходит к вам не та, которая бы заступалась за Каратаевых: она не облегчает их труда, не заполняет досуга работой мысли и пробуждением духовных сил, а помогает хищнику, облегчая его хищничество помощью европейских „оборотов“, с которыми деревенский хищник начинает знакомиться и к которым получает огромный аппетит. Всё для него и ничего для Платона. Не удивляйтесь же, что человек сердца и правды, очутившись между этими двумя типами, из которых личность одного доведена до ничтожества, а другого раздута до невозможных размеров, теряет голову. Не гоните же из народной среды потребность в Божьей правде между людьми. Она нужна народу так же, как и земля. Не забывайте, что хоть и не скоро, но Бог непременно скажет правду».

Ужас перед неизбежностью и неотвратимостью «железных законов» так велик, что иногда заставляет Успенского писать о «господине купоне» с чувством мистического трепета. Некоторые из этих статей даже не вошли в собрание сочинений, так как при появлении их в печати они дали повод психиатрам говорить о душевном заболевании автора. Вот один из таких отрывков, взятый мною из книги об Успенском В. Буша:

«Порядок, надвигающийся между прочими народами и на нас, не знает различия между какими бы то ни было нациями. Не имеет он никакого отношения к идеалу этих наций и вообще не желает оказывать ни малейшего внимания к нравственной, духовной жизни человечества. Человек, живущий на экваторе или на полюсе, русский ли мужик, или индеец, китаец, папуас, араб, туркмен, — все эти человеческие разновидности и особенности их самобытной духовной жизни ничего не значат для грозного порядка, который идет на всех с одинаковым желанием переломать весь строй этой разнообразной самобытности на свой однообразный и бездушный образец... Это идет капитализм, меркантилизм или просто-напросто „господин купон“ а по мужицкому разумению — прямо антихрист».

По словам В. Буша Успенский все время носился с планом грандиозной работы «Власть капитала», задуманной им в параллель к очерку «Власть земли». От этого плана дошли до нас две строчки, найденные в архиве Успенских: «Капитал. Очерки современной жизни. Оживающее железо и умирающий человек».

«Последние слова, — поясняет В. Буш, — взяты Успенским из разговора с раскольником, на Волге в 87 году. «Этот раскольник говорил: „Железо-то оживает от прикосновения капитала. Железу от него хорошо. До прихода капитала оно лежит мертвое под землей. А вот человек-то, который жил на свете своим домом и сам себе был слуга и хозяин, с появлением капитала начинает превращаться из существа мыслящего в существо механически действующее, в рабочие руки“».

Задуманное произведение должно было состоять — как это мы узнаем из письма к Соболевскому — из трех частей:

«Первая часть займется вопросом, „что будет“ («не „что делать“, не „как жить на свете“, — этому уже не время», — прибавляет Успенский). Вторая часть будет называться „что будет с фабрикой“. Третья— „что будет с бабой“. Во второй будут собраны обещания марксистов о тех превосходнейших временах, до которых должна дожить фабрика, В третьей будут представлены доказательства, что баба есть человек, которая никоим образом не пропадет без мужика и все сделает и просуществует на белом свете одна и с детьми».

Трудно сказать, конечно, в какие художественные формы могла бы отлиться задуманная работа Успенского, но эмоционально-идеологические предпосылки этой работы, в болезненно-искаженном виде, без сомнения, дают себя чувствовать в непротивленчески-бредовых теориях больного писателя.

* * *

Есть люди, воображающие, что они отлично знают птицу, если видели яйцо, из которого она вылупилась.

Это арабское изречение вполне приложимо к тем критикам, которые издавна стараются утвердить за Глебом Успенским звание «кающегося дворянина» на том основании, что он всегда был близок с семидесятникам и до конца дней оставался соратником Н. К. Михайловского⁶. Такое стремление связать воедино гласные действия художника с негласным сочувствием «кающемуся дворянину» (в лице его виднейшего идеолога Михайловского) создало невообразимую путаницу в

истолковании и характера творчества, и психологического облика Глеба Успенского.

Глеб Успенский — типичнейший разночинец, созданный «Растеряевой улицей» уездной России. Прямой потомок разночинской эстетики Решетникова и законный наследник разночинской идеологии Добролюбова и Чернышевского. Подобно Базарову и Марку Волохову Глеб Успенский ворвался вне очереди в литературу и уже самый факт его появления прозвучал как призыв к порядку обнаглевшего дворянина. Напрасно Глебу Успенскому навязывают какие-то покаянческие тенденции. Ему решительно не в чем было «каяться». Наоборот, он смотрел на дворянина как на худосочного и ненужного комедианта, слишком много берущего от жизни, и, не задумываясь, вышвырнул его вон из литературы. На страницах его рассказов фигурируют только мещане, рабочие, мужики, купцы, разночинцы-интеллигенты, чиновники, нищие, ремесленники и совершенно отсутствуют помещики и кающиеся дворяне»

В этом смысле Успенский почти не знает предшественников. Он возник вне плана и очереди в литературе и в противоположность дворянским эпигонам лишен был возможности писать по готовым шаблонам. Успенский как бы заново изучает всю Россию. Мечется с севера на юг и с юга на север, странствует по Сибири, по Волге, по Кавказу, переходит с парохода на пароход, с палубы на палубу, непрерывно вступает в беседы с мастеровыми, приказчиками, ходоками, торговцами. Зорким глазом писателя-разночинца жадно присматривается к гуще народной. Содержание своих рассказов он заимствует непосредственно у жизни. В его художественных приемах и в языке всегда есть нечто исследовательское. Он может обходиться без гроз, без фантазии и даже без всякой сюжетной инструментовки. Но ему необходимы наглядные факты, документальные материалы.

Глеб Успенский — писатель насквозь документальный. Почти в такой же мере документальный, каким является в наше время Демьян Бедный. То, что не проверено его собственным глазом, он кропотливо и медленно проверяет цифрой. По горделивому заявлению самого Успенского все его творчество «подтверждается документами». Архивы, статистические отчеты, газетные вырезки — вот прямые источники его вдохновения, вполне заменяющие ему элегические плакучие ивы дворянского романа. Такими ивами усажены многие потрясающие рассказы Успенского: «Петькина карьера», «Четверть лошади» и др., где «живые цифры» сильнее слов внушают выводы автора.

* * *

В 1866 году начали печататься в «Современнике» первые значительные очерки Глеба Успенского — «Нравы Растеряевой улицы». А несколькими годами раньше на страницах того же «Современника» была напечатана прославленная статья Н. Г. Чернышевского «Русский человек на rendez vous», где он желчно высмеивает сантиментальную манеру дворянской литературы рисовать мужичка раскрашенным в розовые цвета и сладеньким, как вяземский пряник. По словам Чернышевского вся дворянская литература поступала с мужиком, как Гоголь с глуповатым Акакием Акакиевичем:

«Акакий Акакиевич был смешной идиот. Но говорить всю правду об Акакиеве бесполезно и бессовестно... Сам для себя он ничего не может сделать, будем же склонять других в его пользу. Но если говорить о нем другим все, что можно бы сказать, их сострадание к нему будет ослабляться знанием его недостатков. Будем же молчать о его недостатках... Читайте повести из народного быта Гри-

горовича и Тургенева со всеми их подражателями — все это насквозь пропитано запахом „шинели“ Акакия Акакиевича».

Разночинца — в лице Чернышевского — глубоко оскорбляло это полупрезрительное желание барской литературы, и Чернышевский призывал писателей-разночинцев смотреть на мужика нелицеприятно и трезво и не утаивать перед самим собою истину ради мужицкого звания.

Именно так и сделал Успенский. Он рассказал жестокую правду о тульском мастеровом, о том, как люди «обглоданного класса» с «Растеряевой улицы» весь век живут в нищете, по воскресеньям напиваются до зеленого змия и, пропившись до последнего алтына, назавтра валяются в ногах у кабатчика, спускают рваную одежду, трясущимися руками разламывают бабьи сундуки и бегом тащат уворованные платки и сорочки к целовальнику, к скупщику, к кулаку.

Перекочевав после закрытия «Современника» в «Отечественные записки», в течение шестнадцати лет остававшиеся литературною штаб-квартирой «кающегося дворянина» (Некрасов — Салтыков — Михайловский), Глеб Успенский во все эти годы продолжает верно служить литературным заветам Чернышевского. Сидя за одним столом с Михайловским и Салтыковым, питая глубокое уважение к революционной деятельности лавристов, Глеб Успенский во многом чувствовал себя среди них «как чуждый пришелец» и шел своим особым — разночинским — путем в литературе. Это давало ему возможность безошибочно судить о жизни и о своих соратниках по журналу. Его глубоко увлекали социально-этические формулы Михайловского. Он без возражения готов был принять его утверждение, что для оценки социальных явлений нужен прежде всего критический идеал, моральная норма, дающая право оценивать все исторические события с точки зрения справедливости. Пусть яркие индивидуальности работают над созданием подобного идеала и изо всех сил стремятся к слиянию правды-истины с правдой-справедливостью. Пусть трижды прав Михайловский в своей благородно-романтической вере: «Я никогда не мог поверить и теперь не верю, чтобы нельзя было найти такую точку зрения, с которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука об руку, одна другую пополняя». Но подлинная жизнь, которую с разночинским упрямством и беззастенчивостью продолжал сурово разоблачать Успенский, голосами всех своих Тянушкиных, Черемухиных, Мясниковых, Таракановых, Птицыных, Печкиных, Кузьмичевых, кричала совсем другое. Она кричала о том, что «кающиеся дворяне» и прекраснородные народники держатся в сфере великолепного церковного догмата, за пределами которого ужас и растерянность овладевают даже самыми сильными умами; что отважные борцы за справедливость, отрицающие пришествие капитала, похожи на азиатских колдунов и шаманов, не смеющих переступить за черту нарисованного круга, в который они добровольно заключили себя и где, по теориям «кающегося дворянина», им не грозила никакая опасность.

А опасность, меж тем, давно нахлынула в лице «греховодника купона». И в то время, как все добродетельные души продолжают с усердием уповать на господина общинного землевладения, Глеб Успенский на страницах тех же «Отечественных записок» с поразительной социальной четкостью вскрывает пласт за пластом «купонные» наслоения жизни. «Власть земли» сменяется властью рубля и чистогана. Мелкие скупщики, целовальники и паучки уступают место «опустошителям» крупного калибра. Любители «положить копейку в карман» заслоняют собой одиноких мечтателей и благообразных простачков, и над разоренной патриархальной деревней, над пьяной «Растеряевой улицей», над «освобожденными» мужиками и снедаемым жаждой «мгновенного обогащения» городом властно водружаются «новые времена — новые заботы». В очерках «Чековая книжка», «Больная со-

весть», «Джутовый мешок», «Как рукой сняло», «Петькина карьера» и др. «греховодник купон» постепенно превращается в «железные законы затраченного капитала», которые искусно захватывают в свои цепкие лапы патриархальную старину и подчиняют и людей, и нравы, и мысли «какой-то неведомой силе».

«Какая-то неведомая сила разламывает беленькие, уютные домики, утопавшие в зелени тополей, и строит огромнейшие столичного фасона дома; строит одно здание за другим и без отдыха и остановки наполняет эти здания гостиницами, огромными магазинами, из которых как бы сами собой лезут и сами собой надеваются на всех, попросту одетых обывателей, новые, небывалые костюмы, пиджаки, визитки, всякие необыкновенные шляпы, турнюры. Неведомая сила, не говоря ни слова, не приказывая через полицию, начинает выгонять мирных жителей, проводивших тихие, летние вечера за игрою в дурачки, в кафе-шантаны, в загородные сады, заставляет слушать шансонетки на непонятном языке... и скромных, совершенно невинных девушек, дочерей местных обывателей, выгоняет на новый промысел на новом тротуаре».

С чисто марксистской последовательностью вскрывает Успенский законы купли-продажи и показывает, как с приходом капитала сползают с людей, как кора с деревьев, старые понятия и нравы, как «оживает железо, а человек, который жил на свете своим домом и сам себе был слуга и хозяин, начинает превращаться из существа мыслящего в рабочие руки».

Можно ли утверждать, однако, что Успенский был близок к марксистскому пониманию жизни? Конечно, нет. Но он не был также чистым народником-идеалистом, как это утверждают все критики, не исключая В. Буша, написавшего интересное исследование о Глебе Успенском: «В мастерской художника слова». Свое философское мировоззрение, как и свои эстетические взгляды Глеб Успенский усвоил от Чернышевского. Как известно, последний в своем истолковании исторических явлений во многом удивительно близко подходит к доктрине Маркса. Вместе с французским экономистом Барнавом, это два ума во всей мировой литературе, которые могли бы считаться прямыми единомышленниками Маркса. Исходя из положения Фейербаха о примате бытия над сознанием, и Барнав, и Чернышевский неоднократно прилагают эти воззрения в истолковании исторических фактов. Мало того, оба подчеркивают значение классово-борьбы в истории внутреннего развития общества. К этому следует добавить, что Чернышевский тотчас же отказался от своей крестьянской утопии и славянофильских тенденций, как только обнаружилось, что и России не избежать «купонного строя». В этом отношении Чернышевский оказался гораздо проницательнее народников.

Надо ли удивляться поэтому, что взгляды, с такою смелостью высказанные впервые Чернышевским, нашли себе яркое и первое по времени выражение в художественных произведениях его страстного сторонника и приверженца, перенесшего на страницы художественной литературы всю энергию, все боевые приемы и лозунги творца и создателя разночинской идеологии.

Публикуется (с сокращениями) по: Войтоловский Л. Трагедия Глеба Успенского // Звезда. 1927. № 9. С. 127–149. Подзаголовок к статье: «К 25-летию со дня смерти Глеба Успенского».

Лев Наумович Войтоловский (1875–1941) — российский врач, журналист, публицист и литературный критик. После Октябрьской революции занимался публицистикой и литературной критикой. Написал книгу «По следам войны» (новое издание «Вставал кровавый Марс»). Посвятил несколько статей и книг задачам популяризации достижений психологии и психиатрии в России. Был одним из активных сторонников развития военной психиатрии. Умер во время ленинградской блокады.

- ¹ Бьёрнстjerne Мартинус Бьёрнсон (1832–1910) — норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1903 года.
- ² Сергей Яковлевич Елпатьевский (1854–1933) — народоволец, русский, советский писатель, врач.
- ³ Владимир Владимирович Буш (1888–1934) — российский литературовед, этнограф, краевед, фольклорист, библиограф.
- ⁴ Вылыгать — добыть неправдой, ложью, воровски; выпросить обманом (*Вл. Даль*).
- ⁵ В. Буш. Грехи тяжкие. Русская мысль. 1888. Кн. 12. С. 140. (Ссылка дана по оригиналу публикуемой статьи. — *М. Р.*)
- ⁶ Николай Константинович Михайловский (1842–1904) — русский публицист, социолог, литературный критик, литературовед, переводчик; теоретик народничества. С 1868 года участвовал в журнале «Отечественные записки». После смерти Н. А. Некрасова — один из редакторов журнала (вместе с М. Е. Салтыковым-Щедриным и Г. З. Елисеевым). После закрытия «Отечественных записок» сотрудничал в журнале «Северный вестник» и «Русская мысль». С 1892 года один из редакторов журнала «Русское богатство» (совместно с В. Г. Короленко).

Публикация подготовлена
Маргаритой РАЙЦИНОЙ

П И Л И Г Р И М

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

ГОЛЛАНДИЯ — СТРАНА ТЮЛЬПАНОВ

Тюльпанная лихорадка

Вплоть до 1615 года бесспорной королевой цветов в Европе была роза, однако затем она уступила свое место тюльпану, завоевавшему сердца любителей лепестков и тычинок. Завезенный в Германию из Турции в 1559 году тюльпан в 1593-м был признан в Нидерландах «образцом экзотической флоры» благодаря натуралисту Клузиусу. Спустя немного времени чашечки тюльпанов стали все чаще встречаться в садах горожан. Однако чтобы привлечь к цветку тот невероятный интерес публики, который прибавил славы Голландии, потребовалась парижская мода на тюльпаны в начале правления Людовика XIII. В один миг тюльпан

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

был возведен в ранг элегантного цветка, придающего всему оттенок светской утонченности. По счастливому совпадению в это же время в голландских садах распространился вирус, вызывавший различные отклонения чашечки тюльпана. Цветоводы воспользовались этим обстоятельством, чтобы вывести целый ряд любопытных видов и поддержать ажиотаж¹.

Французская мода на тюльпаны облетела всю Европу, и нидерландцы превратились в их главных поставщиков. С 1625 года луковицы «Semper Augustus» (SA)², пользовавшиеся особым спросом, ценились буквально на вес золота. (SA — большая белоснежная чашка, чуть голубоватая у основания и рассеченная вертикальными полосками огненно-красного цвета). Тюльпаны выращивались розовые, лиловые, коричневые, желтые или представлявшие собой немыслимую комбинацию всевозможных оттенков, как «Лапрок», напоминающий пестрый шутовской наряд. Было выведено тридцать, а в скором времени целых сто разновидностей. Бальи³ из Кеннемерландена назвал собственноручно созданный вид «Адмиралом». Вскоре полсотни других любителей-цветоводов подхватили его идею. В результате на свет явилась серия видов в одной цветовой гамме — «Адмирал ван Энкхёйзен», «Адмирал Поттебакер»... Образовалась и группа «генералов» — «Генерал ван Эйк» и др. Один садовник из Гауды назвал свой вид «Генералом из генералов». За неимением лучших идей сорта цветов называли и попроще — «Красный и Желтый Католейны». Насчитывалось пять видов «Чуда», четыре — «Морийона», семь — «Турне», тридцать — «Парагонов»... Настоящий поток, который было кому направить в нужное русло, — луковицы стоили баснословные суммы, а вырастить их не составляло труда даже в самом крошечном садике. Во многих добропорядочных горожанах и осторожных лавочниках неожиданно проснулась тяга к рискованному затеям⁴.

Началась тюльпановая лихорадка. Тюльпаномания достигла своего апогея зимой 1636 года и завершилась грандиозным крахом несколько месяцев спустя. Это всеобщее безумие приняло размеры эпидемии, охватившей все население поголовно: мясников, привратников, комиссионеров, трактирщиков, студентов, цирюльников, трубочистов, сборщиков налогов и торфянщиков. Ни одна социальная группа не устояла перед этим бедствием. Жажда наживы объединила армениан и католиков, лютеран и меннонитов. Сильнее других она затронула районы Амстердама, Харлема, Алкмара, Хорна, Энкхёйзена, Утрехта и Роттердама. Редкие граждане, сохранившие хладнокровие, называли новоиспеченных цветоводов «околпаченными» (kappisten), намекая на колпак, что носили шуты. Они издавали памфлеты, распевали сатирические песенки, высмеивавшие «околпаченных» с каждым днем все более едко. В Хорне за три луковицы покупали дом. «Адмирал Лифкенс» стоил четыре тысячи четыреста гульденов, а цена «Semper Augustus» колебалась от четырех тысяч до пяти тысяч пятисот⁵.

Князь Алексей Мещерский, побывавший в Голландии в 1839 году, еще мог застать последствия тюльпанной лихорадки. «Трудно поверить, как далеко здесь простирается пристрастие к цветам: теперь уже нет тех высоких цен; однако и по сие время можно найти луковицы в триста франков и более, — пишет он. — Голландцы говорят, что в то время, когда тюльпан под названием *Адмирал Лефкен* был редкостью, его цена доходила до девяти тысячи франков за каждый; semper augustus, когда их было только два, один в Амстердаме, другой в Гарлеме, ценился более десяти тысяч. Нашелся такой человек, который за луковицу предложил свой загородный дом, со значительным количеством земли. Я не ручаюсь за достоверность рассказов, но довольно и того, что правительство нашло необходимым вмешаться в такие торги и благоразумными мерами положить им конец»⁶.

Когда луковицу оспаривало сразу несколько покупателей, они могли попытаться

ся настроить продавца в свою пользу, добавив сверх платы повозку и пару отличных лошадей. Таким образом, в Амстердаме сад приносил владельцу до шестидесяти тысяч гульденов за четыре месяца. Известно, что с появлением денег пропадает сон. Цветочник прикреплял к своей кровати сигнальный колокольчик, от которого вдоль сада тянулась веревка, окружая золотосные клумбы. Покупатели и продавцы встречались по вечерам в тавернах два-три раза в неделю и торговались до глубокой ночи. От детей «правду жизни» не только не скрывали, но, напротив, поощряли их участие в торгах, чтобы они с младых ногтей узнавали, как делать деньги. Даже проповедники влились в толпу торгашей и менял, из которой утром выходили миллионеры, чтобы вечером, возможно, оказаться нищими без гроша в кармане. Одна и та же луковица продавалась и перепродавалась раз десять на дню⁷.

В последние десятилетия «тюльпанная лихорадка» в Голландии поутихла, но зато она перекинулась на многие страны мира. Цветы срезанные, цветочные семена, луковицы — вот что поставляет эта отрасль сельского хозяйства, ежегодно приносящая Голландии доход в двадцать миллионов долларов только от экспорта продукции в более чем сто сорок стран. «Утром цветы срезают в Нидерландах, а вечером их продают почти во всех столицах мира» — так говорят о выработанной веками и хорошо отлаженной системе поставки голландских цветов на экспорт⁸.

Как известно, самые крупные цветочные аукционы проходят в Голландии. Приехав в апреле–мае, можно не только полюбоваться изумительными тюльпанами в многочисленных садах Голландии, но и купить несколько луковиц, чтобы потом воссоздать эту красоту у себя на даче. В Голландии вы сможете увидеть километры цветочных полей. В апреле и мае в Нидерландах распускаются сотни тысяч красных, желтых, розовых и фиолетовых тюльпанов. Цветущие поля тюльпанов — незабываемое зрелище.

Во Флеволанде, к примеру, самая крупная плантация цветов общей площадью двести гектаров. В апреле и мае здесь проходит фестиваль тюльпанов. Каждый год также разрабатывается специальный цветочный маршрут, следуя которому вы сможете увидеть самые красивые поля Голландии. На побережье, в районе Vollenstreek, тоже проходят специальные маршруты. Насладиться видом тысяч распутившихся цветов можно как пешком, так и на велосипеде, автомобиле или роликовых коньках.

Цветочный рынок на канале Зингель — одна из самых ярких и благоухающих достопримечательностей Амстердама в течение всего года. Уникальность этого рынка заключается в том, что товар продается на плавучих баржах. Это дань традиции, поскольку раньше цветы и растения привозили сюда из садов и оранжерей на баржах. Сегодня живые цветы доставляются на рынок ежедневно, но в мини-грузовиках, а не по воде. Здесь продаются самые разнообразные цветы и растения: от традиционных голландских тюльпанов и герани до кипарисов и экзотических представителей флоры острова Пасхи. В продаже также имеются традиционные голландские сувениры.

Эти операции выполняются на ежедневных цветочных аукционах в шестнадцать разных местах страны. Крупнейший и известнейший из них — аукцион в Алсмере, небольшом городке неподалеку от Амстердама, куда обычно привозят всех иностранных туристов, посещающих Нидерланды⁹.

Алсмер — цветочная Мекка

«Когда наступит весна, принесу я тебе тюльпаны из Амстердама», — поется в известной голландской песенке. Но тюльпаны из Амстердама приходят из района

разведения цветочных лукович, и цветы и растения — с аукциона в Алсмере. Уже с 1850 года здесь выращивают цветы, сначала на открытых полях, а теперь в теплицах.

В голландском городке Алсмере проживают всего двадцать тысяч жителей, но, несмотря на это, он известен во всей Западной Европе. Алсмер — место, где проводится крупнейший в мире аукцион цветов. Голландские садоводы ежегодно продают своей продукции почти на миллиард долларов. Примерно треть всего оборота приходится на фирму, расположенную в Алсмере. Хотя за пределами страны прежде всего известны голландские тюльпаны, основная статья экспорта — розы, которых каждый год продается до одного миллиарда трехсот миллионов штук.

На аукционе можно приобрести гвоздики, хризантемы и другие цветы. Большим спросом пользуются также и растения в горшках. О масштабах предприятия в Алсмере можно судить хотя бы по тому, что каталог аукциона представляет собой книгу объемом в двести девяносто страниц.

В Алсмере, что в пятнадцати километрах от Амстердама, ежегодно молоток распорядителя возвещает о продаже почти двух миллиардов срезанных цветов и ста пятидесяти миллионов горшечных растений. Алсмер является законодателем в области цен для цветочных рынков всей Западной Европы. Цены на первосортные розы и гвоздики, которыми открывается торговля, немедленно передаются по факсу в другие западноевропейские города.

Гигантское, без окон здание аукциона, имеющее пять залов, вытянулось на километр и занимает огромное помещение, равное по площади тридцати футбольным полям. В 1986 году после очередного расширения его площадь превысила тридцать шесть гектаров. В Книге рекордов Гиннеса оно значится как самое крупное в мире сооружение, предназначенное для коммерческих целей. Здание аукциона принадлежит кооперативу, созданному Объединением голландских цветоводов. Ежедневно через аукцион реализуются семь миллионов срезанных цветов¹⁰. Обслуживают его четыре тысячи восемьсот человек. Начинается аукцион в семь часов утра, а грузовики подвозят нежный товар в течение всей ночи. Цветы, доставленные до половины седьмого, продаются в тот же день.

На аукцион, начинающий работать рано утром, допускаются только те цветы, которые были срезаны не ранее четырех часов утра того же дня, когда они предъявляются для продажи. Цветы, срезанные накануне вечером или ранее четырех часов утра, к продаже на аукционе не допускаются. Причем правило это строго исполняется, и за его соблюдением следит специальный штаб экспертов. Каждый цветок, предназначенный для продажи, проходит через один из аукционных залов, где экспортеры, оптовики и цветочники делают ставку на приглянувшийся товар.

Для решения споров, возникающих во время заключения торговых сделок, существует специальный суд. Если, например, экспортер считает, что он получил луковичы не той величины, которая оговорена в контракте, он обращается в суд, где заседают два юриста, три эксперта и три садовода, которые производят обмер лукович и выносят решение¹¹.

Интересно то, что на голландских цветочных аукционах покупатели не набавляют цену, а сбивают ее. Единственный указатель на табло с большой скоростью движется против хода часовой стрелки — от ста до нуля. Покупатель, первым останавливающий бег стрелки, становится обладателем партии или той ее части, которая ему необходима. После этого указатель снова возвращается к ста, и торговля продолжается. Подобная система разработана специально для аукционов, имеющих дело со скоропортящейся продукцией, чтобы максимально ускорить весь процесс.

Однако у голландских садоводов есть и трудности. Одна из них состоит в том,

что все больше растений постепенно исчезает с рынка и становится редкостью. Так, знаменитая «роза мира», выведенная в 1945 году, ныне существует в единицах экземпляров. Основная причина вырождения некоторых цветов состоит в недостатке энергии, необходимой для создания благоприятного микроклимата в теплицах. В Алсмере говорят, что если раньше цветоводы стремились выращивать прежде всего красивые цветы, то теперь их волнует рентабельность производства. Специалисты пришли к выводу, что снижение температуры воздуха в теплице всего на один градус сберегает десять процентов энергии. Имитируя природные условия, цветоводы могут заставить цвести тюльпаны и в разгар зимы. Для этого луковицы собирают и выдерживают на лотках при температуре, которая бывает в конце лета. Когда зачаток цветка, заключенный в луковице, разовьется до определенной степени, температуру понижают до уровня, необходимого тюльпанам для периода покоя, а затем снова повышают, чтобы они зацвели¹².

Но, несмотря на эти проблемы, дела голландских цветоводов обстоят неплохо. Сегодня Нидерланды экспортируют тридцать процентов всех цветов, выращиваемых в стране. Алсмер доказывает свою значимость ежегодной организацией знаменитого цветочного парада, где длинная процессия низких платформ и машин, украшенных тысячами цветов, является впечатляющим зрелищем. В честь цветов голландцы устраивают красочные ежегодные праздники. Такого в мире больше нигде нет.

К празднику цветов готовятся заранее. Фантазии и изобретательности голландцев нет предела. Из цветочных лепестков они делают макеты мельниц и фигуры сказочных персонажей, красочные орнаменты и затейливые узоры. И вся эта процессия в течение трех-четырех часов проплывает мимо зрителей под приглушенные звуки музыки.

Технология изготовления фигур для участия в празднике весьма трудоемка. Поскольку значительная часть цветоводческих хозяйств ориентируется на производство луковиц, цветоводы, стимулируя их рост, распускающийся цветок срезают. Цветки же и лепестки накалывают на макеты, которые устанавливают на платформах автомашин. И все это за короткий срок, чтобы цветы не успели завянуть до начала парада.

Кроме этой «манifestации», в Алсмере каждый год проходит Национальная цветочная торговая выставка. Цветоводы и торговцы со всего мира съезжаются сюда узнать о новых сортах цветов и о новых методах выращивания. В стране действуют шестнадцать цветочных аукционов, на которых сбывают свою продукцию около восьми тысяч производителей — как крупные фирмы, так и мелкие семейные предприятия. Разведением цветов здесь занимаются, как и в прежние времена, мелкие — в основном семейные — хозяйства, размер обрабатываемых площадей которых не превышает пять гектаров. На долю таких «малюток» приходится свыше восьмидесяти процентов всех цветоводческих хозяйств. Кроме тюльпанов, выращивают розы, гвоздики, хризантемы, нарциссы и другие цветы. Одних тюльпанных луковиц производят около двух миллиардов штук в год¹³. Но аукцион в Алсмере остается уникальным.

Сегодняшние тюльпаны ведут свою родословную от менее ярких, но более неприхотливых и жизнестойких сортов. Например, «Императорская корона», один из старейших сортов, культивируемый наиболее широко, был выведен еще в 1750 году. Пятьсот сортов тюльпанов, пользующихся спросом на рынке, были получены путем гибридизации уже в XX столетии. Когда цветоводы предлагают новый сорт тюльпана, лишь немногие знают, что на его выведение ушло по, крайней мере, двадцать лет.

Начиная с 1967 года селекционеры получили возможность регистрировать свои права на выведенные ими сорта тюльпанов, что в Нидерландах аналогично получению авторского патента. Теперь, когда они, например, заключают торговую сделку с другими цветоводами, те обязаны выплачивать им определенные проценты за выращивание на продажу запатентованного сорта¹⁴.

Большим преимуществом для аукциона в Алсмере является близость аэропорта Схипхол. Цветы — недолговечный продукт, поэтому время между аукционом и продажей покупателям должно быть как можно короче. Благодаря близости аэропорта Схипхол стало возможно купить букет цветов из Нидерландов на Бродвее в Нью-Йорке (основанном голландцами под названием Новый Амстердам).

Это сегодня, в век скоростей. А в середине прошлого, XX столетия цветочным базарам в Голландии в меньшей степени была присуща проза, а в большей — поэзия. Это нашло свое отражение в стихотворении голландского поэта Яна Принса под названием «Жемчужина Голландии».

На заре, когда смутно темнеют дома
на фоне невзрачного неба
и деревья на набережных
не в силах поднять свои ветки,
нагруженные утренней мглой,
на самой ранней заре
на базаре
все начинается.

Взволновались кроны платанов,
приглашая окрестных птиц
на спектакль «Открытие рынка».
Над водою гортанно кричат
недовольные чайки,
на крышах уселись скворцы,
а в самых первых рядах
суетятся, пищат и ликуют
восхищенные воробьи.

Понемногу светает. Подул
легкий утренний бриз-ветерок.
Споры стихли. Уселись зрители.
Представление начинается!

<...>

Торжественно поднимаются
большие ворота шлюза,
и по каналу проносится
что-то ошеломляющее,
пестрое и прекрасное.
Все оживает вокруг,
как будто бы вдруг зацвели
серые камни набережной.
Это цветы. Цветы!
Жаркой волной

затопляют они базар.
Вы слышите, шелест повсюду:
«Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!»
Это цветы встречаются
и тихо друг друга приветствуют,
это торжественный миг!
Это вдруг засветилось во тьме
трепетное мерцанье
жемчужины нашей Голландии.
Теперь никого не удержишь!
Беснуются воробьи,
и каркает с ветки ворона:
«Кр-расиво, кр-расиво, кр-расиво!»

Покупатели выбирают,
торгуются и уходят,
совсем ничего не купив.
Но они возвращаются снова.
Нельзя же уйти без тюльпанов!
И в какой-то неведомый миг
просияет на лицах у них
отблеск большой красоты.
Даже самые бедные люди
уносят с собой частицу
этой большой красоты¹⁵.

История свидетельствует о том, что голландцы — самые искусные торговцы в мире. И действительно, остров Манхэттен они купили у индейцев за двадцать пять гульденов, а редкий экземпляр тюльпана продали за цену в пятьсот раз больше. О том, как в Голландии возникла «цветочная лихорадка», повествуют российские литераторы XIX столетия.

Приложение 1. Вернер Михаил. Страна плотин. Очерки современной Голландии. М., 1884. С. 106–109.

В Амстердаме неподалеку от Зоологического помещается Ботанический сад. Не стану описывать его, так как ничего нового там не найдется, но воспользуюсь случаем, чтобы *по* поводу его *Тюльпанной галереи* рассказать вам то, что слышал сам о «луковичном безумии» голландцев, как сострил Вольтер, говоря об их былой страсти к тюльпанам.

Это было действительно какое-то безумие. Платили по десять тысяч флоринов за хорошую луковицу. Самыми знаменитыми породами считались: луковицы *Адмирала Ликенса* и *Semper Augustus*. Большие экземпляры этих цветов были так редки, что в один прекрасный день остались только две луковицы, оберегавшиеся как зеница ока.

Рассказывают, что один глуповатый матрос пришел к богатому арматуру и, дожидаясь его, присел у входа в оранжерею. Он был очень голоден, и его сильно соблазнял кусок хлеба, лежащий на подоконнике. После долгих колебаний он стащил хлеб, а так как подле него росли свежие луковицы, то он повытаскал и их.

Первая оказалась горькой, матрос бросил ее и закусил вторую, затем третью и

так все восемь штук. Когда хозяин пришел, то увидел, что матрос позавтракал и даже не позавтракал, а только попортил все его тюльпанные луковицы, стоившие около *пятнадцати тысяч* флоринов. Поистине лукулловское блюдо.

Эта страсть началась в Голландии в половине семнадцатого столетия. В это время страна достигла верха благосостояния и могущества. Богатые дома превратились в маленькие дворцы; бархат, шелка, жемчуг, фарфор изгнали прежнюю патриархальность и простоту. Голландцы сделались изысканны в деле роскоши и даже расточительны.

Наполнив дома картинами, бронзой, дорогими коврами, они стали обращать большое внимание на свои сады. Тюльпан почему-то привлек их особенное внимание; на него явился спрос, который вызвал тщательный уход и заботливую культуру этого цветка. По мере увеличения цены на него старались улучшить его породу, цвет, форму листьев.

Каждый новый удачный отток, оригинальная форма лепестков заставляли говорить о себе весь город. Удачная комбинация, и изобретатель делался богатым человеком. Цены луковицам возрастали; они приобрели различную стоимость, их обменивали, на них спекулировали; их давали часто в приданое дочерям или оценивали ими имущества.

Насколько были велики обороты с тюльпанами, видно из того, что город Амстердам в одно лето совершал *тюльпановые* операции на сумму около двадцати миллионов флоринов, а на пожертвованные городом полтораста тюльпанов был выстроен приют для детей.

Тюльпанный ажиотаж кончился очень просто: правительство, видя постоянные беспорядки и множество жалоб и судебных тяжб по поводу тюльпанов, издало указ, коим в судах тюльпаны должны рассматриваться как простые цветы. Очевидно, что это постановление сбilo сумасшедшие цены, и через несколько лет тюльпаны стали не дороже других цветов.

Говоря о *тюльпанном ажиотаже*, я сказал что центром разводки этих цветов был Гарлем. Он остался и до сих пор главной оранжереей Голландии. Гиацинты, камелии, розы и все-таки роскошные тюльпаны культивируются и теперь. Хотя цветочный ажиотаж давно прошел, но страсть к видоизменению формы и оттенка осталась до сих пор. Один тюльпан представляет до *шестисот* разновидностей.

Приложение 2. Немирович-Данченко В. И. По Германии и Голландии. СПб., 1892. С. 468–470.

Очаровательны в высшей степени каналы Гарлема, обсаженные густыми аллеями, хороши его сады и цветники, находящиеся в различных местах. Это едва ли не главнейшее занятие гарлемцев; около города есть целые поля, засеянные гиацинтами, тюльпанами, крокусами, ранункулами, анемонами, нарциссами, лилиями. В конце апреля и начале мая благоуханием их наполнен воздух вокруг Гарлема, и пестрые ковры их раскидываются кругом на большое расстояние. Семенами, луковицами и отростками этих растений Гарлем ведет торговлю с целой Европой, причем только сады *Крелага и сына* имеют оборот, равняющийся двум миллионам флоринов ежегодно.

По преданию, гарлемцы должны быть страстными любителями тюльпанов, но эта пассия в настоящее время почти совсем исчезла, и таких оригиналов, которые бы платили десятки и сотни тысяч за какую-нибудь разновидность этого цветка или отдавали бы за это дочерей своих замуж плюс, разумеется, громадное приданое, теперь не отыскать здесь и со свечой. Эта страсть была здесь особенно развита в XVII столетии. Вся Голландия была помешана на разведении и усовершенствовании

вании тюльпанов. Не было цены на особенно выдающиеся экземпляры. В официальном списке тюльпанов, проданных в Алкмаре 5 февраля 1637 года, значатся следующие цифры: луковица «вице-короля» (белая с фиолетовыми крапинками), весящая 658 гран, пошла за 4200 флоринов, другая, в 410 гран, за 3000 флоринов; луковица «адмирала Лифкенса» в 59 гран пошла за 1015, «Беллаарт» в 399 гран за 1520 флоринов, «Шери Кателин» в 619 гран за 2610 флоринов.

Обороты тюльпанными луковицами совершались на бирже, цены на них устанавливались там, и они обращались как нынче процентные бумаги. Луковица «Семпер-Августуса» раз пошла за 13 000 флоринов, 200 гран того же в другой раз за 4200, «адмирал Энкгуйзена» — за 5000 флоринов. В течение двух лет, за 1636–1637 годы, один из городов голландских продал тюльпанных луковиц на 10 000 000 флоринов. Летописи упоминают имя амстердамского купца, который добыл этой торговлей в четыре месяца более 68 000 флоринов чистого барыша. Наконец дошло до того, что покупатели стали отказываться платить невозможные цены, и Штаты в 1673 году объявили все заключенные по этому предмету договоры незаконными. Цены упали тотчас же, и явилась возможность иметь того же «Семпер Августуса» за 50 флоринов.

Одно столетие прошло — и та же история началась с гиацинтами, к которым голландцы вдруг почувствовали какую-то страсть. Разумеется, цены сейчас же дошли до невозможности — в 1734 году один «Bleu Passe non plus ultra» был продан за 1600 флоринов. У Крелага собрана целая библиотека сочинений, летописей и архивных документов по этому предмету. Тюльпаны и гиацинты воспевались поэтами; насчитывается более 85 000 стихотворений, написанных по этому предмету; писались романы и повести, содержанием которых служила эта мания. Частная жизнь в Голландии была до такой степени переполнена заботами и хлопотами о создании какой-нибудь разновидности, что в 1636–1650 годах девушки богатых семей не выходили замуж иначе, как после преподнесения им женихом букета тюльпанов еще неизвестной окраски и рисунка, выращенных им. Но когда несколько из этих любительниц цветов остались старыми девами, готовыми выйти замуж даже после букета из простой крапивы, — дело изменилось, и гарлемские девицы стали менее требовательны. Теперь разведение цветов здесь, не имея характера мании, поставлено на рациональную ногу.

¹ Зюмтор Поль. Повседневная жизнь Голландии во времена Рембрандта. М., 2001. С. 79.

² Постоянный (неизменный) Август (*лат.*).

³ Бальи (*bailli*) — в дореволюционной Франции — представитель короля с судебными и военными полномочиями.

⁴ Зюмтор Поль. Указ. соч. С. 80.

⁵ Там же. С. 81.

⁶ Мещерский Алексей, князь. Записки русского путешественника. Голландия, Бельгия и Нижний Рейн. М., 1842. С. 84–86.

⁷ Зюмтор Поль. Указ. соч. С. 81.

⁸ Бусыгин А. В. Побеждающие море. О Голландии и голландцах. М., 1990. С. 146.

⁹ Там же. С. 146.

¹⁰ Там же. С. 146.

¹¹ Там же. С. 146–147.

¹² Там же. С. 148.

¹³ Там же. С. 147.

¹⁴ Там же. С. 146.

¹⁵ Принс Ян. Жемчужина Голландии // Ладонь поэта. Стихи. М., 1964. С. 85–87.

Елена Крюкова. Царские врата: роман. М.: Эксмо, 2013. — 352 с. — (Судьба в зените. Проза Елены Крюковой).

Она, героиня романа, ненавидит войну. И себя за то, что ей приходится убивать — убивать молодых русских солдат, ибо она снайпер и воюет на чеченской стороне. Понимая: это не ее война и не война русского народа. Алена, юная провинциальная девчонка, хорошая девочка, попала на нее случайно: одна страстная ночь с заезжим морячком, беременность, аборт, отчаяние. Ее, наделенную редким талантом — без промаха попадать в цель — «приглядели» понимающие люди. Она прошла специальную подготовку, за время «учебы» наконец получила возможность роскошно кормить своих родителей и бабушек, татар и русских, самым вкусным, самым дорогим. А потом — была война, где надо «работать», надо убивать. Здесь смерть — такое же искусство, как другие искусства, такой же товар, как другие. А она очень боится смерти. Но после того, как была вынуждена расстрелять чеченскую семью, в том числе и совсем кроху, лежащую на руках матери, она пыталась покончить жизнь самоубийством. Не удалось. Это первая часть романа, «Снайпер»: морок и хаос войны, кошмар, из которого нет выхода. Рельефно прописанные сцены, эпизоды — и погружение во внутренние переживания девушки, которая, вопреки всему, пытается спасти тех, кого может — детей и взрослых. Вторая часть, «Святая», это уже жизнь Алены в родном городе, жизнь после не ее войны. Вернулась она домой с ребенком — сына родила в полуразрушенной сакле, под взрывы снарядов. И начинается другой путь — воцерковление невоцерковленного человека, мало знавшего о Боге, не умевшего молиться, не желавшего знать, что делала ее душа. Это путь любви, путь служения слабым, обездоленным, беззащитным: уборщицей в больнице, санитаркой в родильном доме, заботливой помощницей престарелым и сирым соседям, провожающей их и в последнюю дорогу. Она полюбила людей. «Мать. Я — мать. Мать не только моему сыну. Я просто мать, я мать всех живых и живущих. А может, всех рожденных и нерожденных. А может, и всех мертвых, не знаю. Такое чувство, как любовь. С ним ничего не сделаешь». Со словом любви Алена придет и в мечеть, и в синагогу, и к кришнаитам, ибо обретенный Бог-любовь для нее нечто большее, чем православный храм. Обретя веру в Бога, она сама совершит чудеса, и чудеса будут свершаться вокруг нее. Грехи — а среди них аборт, убийства, принятие мусульманства, — будут прощены, пред ней откроются Царские врата, ведущие к престолу Господню. Вторая часть — фактически «житие» Алены, где насыщенная внутренняя жизнь героини точно сопряжена с жизнью прозаической и реальной: безденежье, рост цен и квартплаты, ежедневная борьба за выживание, вторжение в, казалось бы, мирную жизнь криминала. При всей своей внешней простоте — преображение грешницы в праведницу, своеобразная яркая иллюстрация к речению: «Претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24. 13), — роман сложен, прекрасно сложен. Наверное, общим местом станет такая характеристика творчества Елены Крюковой, как проза, в которой сливаются вместе слово, звук, цвет. Музыкант по образованию, арт-критик, куратор и автор ряда художественных проектов, пребывающий в среде художников, она действительно синтезирует три вида искусства. Музыкант — в построении композиции, в звучании и переходах тем, в изменении ритмики повествования. Художник — в изображении сцен и даже внутренней жизни героев яркими мазками, короткими, обрывающимися фразами. Даже главы в романе — не главы, а фрески, названия

которых — изображения на Царских вратах: белый голубь, льющееся из кувшина красное вино, играющая серебряная рыба... И так до изображения золотой чаши на вратах. Осмысленные символы, увязанные с содержанием глав. Если что и прева-лирует в этом синтезе искусств, то все-таки Слово и Мысль. Это необычайно эмо-ционально напряженное повествование. Оно ведется от лица самой Алены: преры-вистый поток сознания; беседы с нерожденным сыном и неизгладимое чувство вины за это первое в ее жизни убийство — аборт. Повествование ведется и от ав-торского лица: выразительные эпизоды из жизни Алены, ее сны и видения, в ко-торых к ней приходят и нерожденный сын, и расстрелянный ею младенец, и Бого-родица, и Христос. В повествование включены и монолог ребенка, которому не суждено было родиться, но суждено испытать ужас преждевременной своей гибели, и монолог ребенка, на свет являющегося, и поток сознания Ивана, сына Алены, чью жизнь она отмолила у Бога. О себе Алене рассказывают Руслан, глава отряда боевиков, который хорошо поставил ей руку, научил отлично прицеливаться и привез в Чечню; и Ренат — возлюбленный Алены и отец ее ребенка. Полифония — еще одна характеристика, утвердившаяся за прозой Елены Крюковой. Алену Бог простил, ибо «Я пришел не к праведникам, а к грешникам. Разве войну развязыва-ют праведники? Разве друг в друга праведники стреляют?» Простит ли Алену чита-тель? Это тяжело. Собственно, книга — о сосуществовании в душе одного человека и Божьей благодати и демонической ярости, Добра и Зла, о покаянии, о прозрении души, мечущейся в потемках, о жизни и смерти, в конце концов, о нравственном законе, едином для всех людей, в независимости от их вероисповедания: не убий.

Антон Бакунцев. И. А. Бунин в Прибалтике. Литературное турне 1938 года.

М.: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2012. — 156 с.: ил.

Весной 1938 года русский писатель-эмигрант, лауреат Нобелевской премии Иван Алексеевич Бунин совершил трехнедельное литературное турне по странам Балтии. В Каунасе, Риге, Даугавпилсе, Тарту, Таллине писатель выступал перед местной мно-гонациональной публикой с чтением своих воспоминаний и рассказов. Имя его было хорошо известно всем интеллигентным жителям Прибалтики вне зависимо-сти от национальности. Не обходили писателя вниманием и критики. На протяжении всей поездки русская и «туземная» общественность Литвы, Латвии, Эстонии выка-зывала Бунину разнообразные знаки внимания, устраивала в его честь банкеты, при-емы, знакомила его со своей культурой. Пресса неустанно вела летопись пребывания нобелевского лауреата на прибалтийской земле: тон газет (особенно русских) был неизменно благожелателен, а иногда и восторжен. Однако это была лишь внешняя, парадная сторона бунинского визита. Не все прибалтийцы радовались прибытию нобелевского лауреата. Местные шовинисты и «прогрессисты», многие представи-тели русских колоний испытывали неприязнь к «белоэмигранту» Бунину. Часть рус-ских прибалтийцев надеялась, что в Бунине они найдут «общерусского вожака» для тех, кто живет на чужбине. Самого Бунина, уставшего от вечного безденежья, сборы с творческих вечеров интересовали больше, чем внутривосточная ситуация в прибалтийских странах и проблемы русских диаспор. Мемуаристы оставили проти-воречивые отзывы о приезде лауреата: «пренеприятный человек», «грязный ста-рикашка», «холодный, замкнутый, недоступный», умный и остроумный собеседник, «превосходный чтец». Противоположны оценки его выступлений: от полного про-вала до несомненного успеха, от пустых аудиторий до переполненных залов. У каж-дого из мемуаристов были свои личные причины выносить «исторические» вер-дикты. Изменчивы были и настроения, и поведение самого писателя: ему было уже семьдесят семь лет, он уставал, неумеренные похвалы — такие, как сравнения с

Шекспиром, — заставляли его замыкаться. Бунин впервые посещал Прибалтику, но связи с местными русскими периодическими изданиями поддерживал, переписывался с некоторыми русскими литераторами, художниками, общественными деятелями, осевшими в Прибалтике после 1917 года. Прибалтика его интересовала давно, он был уверен, что «по крайней мере один из моих далеких предков был еще при Василии Темном выходцем не то из Литвы, не то из Польши, и фамилия наша была не Бунины, а Бунковичи или Буйновские. И только Иван Грозный переименовал нас — не знаю уже, за какие грехи — в Бунины». Вопрос о происхождении Буниных остается открытым. Самые интересные встречи ждали Бунина в Эстонии: он впервые увиделся с двумя молодыми женщинами: с В. Шмидт и М. Карамзиной, с которыми состоял в переписке — они посылали ему на суд свои стихи. В поезде, направлявшемся из Тарту в Таллин, он встретился с Игорем Северяниным — так произошло их очное знакомство. Неожиданной оказалась встреча с девушкой, в которую Бунин был влюблен в юности. Литературное турне 1938-го — отнюдь не белое пятно в личной и творческой биографии Бунина. Но до сих пор публикации носили фрагментарный характер, в них допускались фактические неточности и разночтения. Антон Бакунцев не только воссоздает во всех подробностях обстоятельства бунинского визита в Прибалтику, но и развенчает мифы, годами создававшиеся вокруг него. Книга основана на документальных материалах, как уже опубликованных ранее, так и доселе неизвестных: публикации в русской и национальной прессе довоенной Прибалтики, мемуары, письма, дневники очевидцев событий, документы из фондов государственных архивов России, Литвы, Латвии и Эстонии. Среди ранее не входящих в научный оборот — официальные документы, напрямую связанные с организацией турне и обнаруженные автором в национальных хранилищах Литвы, Латвии, Эстонии. Скрупулезно воссозданы хроника и атмосфера бунинского турне, дан экскурс в историю русских диаспор Прибалтики 1920–1930 годов: положение русских эмигрантов, не получивших гражданства страны пребывания, языковые притеснения, разная степень лояльности по отношению к русским беженцам в странах Балтии. Книга дополнена стихотворениями русских поэтов Прибалтики, посвященными Бунину.

Владимир Туниманов. Лабиринт сцеплений. Избранные статьи / Ответ. ред. С. Н. Гуськов; составители Н. Л. Сухачев, С. Н. Гуськов; вступительная статья Н. Л. Сухачева и М. В. Отрадина. СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2013. — 592 с.

Владимир Артемович Туниманов (1937–2006) почти сорок лет проработал в ИРЛИ (Пушкинский Дом). Главный научный сотрудник института, доктор филологических наук, президент Российского и вице-президент Международного общества Достоевского, он оставил более двухсот научных трудов. Он принимал участие в подготовке и редактировании академических собраний сочинений Ф. Достоевского и И. Гончарова. Его комментарии к собраниям сочинений являются классикой жанра. Ф. Достоевскому, Н. Лескову, И. Гончарову исследователь отдал большую часть жизни. Сегодня без обращения к трудам В. Туниманова вряд ли возможно изучение творчества этих писателей, так же, как и творчества Замятина, которому ученый также уделял пристальное внимание. В сфере научных интересов В. Туниманова находились и такие участники «брани умов» в литературной и общественно-политической жизни России, как Герцен и Л. Толстой, не говоря о многих других, хорошо известных или почти забытых. Интеллектуальная смелость и академическая точность, безграничная эрудиция, тонкая ирония — черты, которые сформировали неповторимую творческую манеру ученого. Предметом изучения для него являлась не толь-

ко совокупность текстов, но также (и прежде всего) осмысление реалий конкретной эпохи, стоящих за текстом. В центре читательского (и исследовательского) внимания В. Туниманова всегда оставались отношения автора со своим окружением, человеческие переживания писателя и его «круг чтения», идеологические и эстетические установки, влияющие на построение текста. Он умел видеть писателя в большом пространстве русской и мировой литературы, осмыслять историческую преемственность, продолжение традиций и их устремленность в будущее. В. Туниманов исследовал творческие переключки писателей, «лабиринт сцеплений» во взаимосвязях — Достоевский и Глеб Успенский, Достоевский и Салтыков-Щедрин, отголоски девятого тома «Истории государства Российского» в творчестве Ф. Достоевского, Аполлон Григорьев в письмах и «Дневнике писателя» Достоевского. «Лабиринты сцеплений» усложнялись, возникали комбинации, ожидаемые и неожиданные: Достоевский, Л. Толстой, Рюноске Акутагава; Достоевский, Страхов, Л. Толстой; Лесков и Л. Толстой; Лесков и Замятин; Гончаров и Лесков; шекспировские мотивы в романе И. Гончарова «Обломов». Особый взгляд, особое отношение у исследователя было к кавказским повестям Л. Толстого — «Казак», «Хаджи-Мурат» — детство и юность В. Туниманова прошли в Грозном. Об основных вехах творческого и жизненного пути В. Туниманова подробно рассказано во вступительной статье. Сборник подготовлен друзьями и коллегами Владимира Артемовича Туниманова к его 75-летию, в нем собраны не переиздававшиеся ранее статьи из отечественных и зарубежных научных изданий, опубликованные в период с 1965-го по 2006 годы. Конечно, в книгу вошли не все работы выдающегося петербургского ученого, но представленные статьи в достаточной мере отражают широту и разнообразие его научных интересов, дают возможность оценить вклад В. Туниманова в изучение русской литературы XIX–XX веков и ее международных связей. «Злоба дня» все дальше уводит нас от изящной словесности. Ученый, посвятивший изучению русской классики всю жизнь, еще в 1995 году с горечью констатировал: «Но Толстого давно нет, и в его произведения все реже и реже заглядывают граждане бывшего СССР... Возможно потому, что очень уж низко пал нравственный уровень общества и так смешались все понятия, что не отличить добра от зла, хорошее от плохого. Почти всегда строгий и нравоучительный Толстой вызывает у современных нуворишей лишь досаду, а то и кривую пренебрежительную ухмылку. А иногда кажется, что в моей стране просто разучились читать настоящую литературу, особенно старую, отношение к которой стало предельно равнодушным». Работы В. Туниманова позволяют осознать глубину, вневременной смысл русской классической прозы, ее непреходящую ценность.

Михаил Жирохов. Семена распада: войны и конфликты на территории бывшего СССР. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 688 с. — (Окно в историю)

В 1991 году распался Советский Союз, громадная страна, занимавшая одну шестую часть суши. Произошла переоценка ценностей у бывших «подчиненных», ставших «независимыми субъектами» международных отношений. Вспомнились старые обиды, появились претензии к соседям. Это вылилось в шесть крупных войн, двадцать военных столкновений и сотню конфликтов на межгосударственной, межэтнической, межконфессиональной, межклановой почве, сопровождавшихся жертвами среди населения и огромным количеством беженцев (особенно среди русского населения). В книге представлен ясно изложенный и очищенный от идеологических наслоений обзор сведений, необходимых для понимания сути постсоветских конфликтов. Михаил Жирохов предлагает системный и целостный подход к изложению известного материала, тем более важный, что под напором новой реаль-

ности события быстро стираются. По сути — это фундаментальная работа для будущих историков, хотя автор не сомневается, что время принесет новые факты и свидетельства, которые прольют дополнительный свет на события, охватившие постсоветское пространство, или детали, находящиеся сейчас за семью печатями. В сфере внимания исследователя, военного историка, находятся Крым — сталинское наследие и возвращение депортированных народов, кровавый передел в Приднестровье; Узбекистан — события в Фергане 1989 года, Кыргызстан — события в Оше, гражданская война в Таджикистане, конфликт вокруг Нагорного Карабаха, три войны в Грузии, осетино-ингушский конфликт, Чечня как незаживающая рана России. А также три «цветные» революции: «революция роз» в Грузии, «оранжевая революция» на Украине и «революция тюльпанов» в Кыргызстане. Автор использовал исключительно открытые источники: газетные и журнальные публикации, воспоминания очевидцев (как опубликованные, так и не предназначенные по тем или иным причинам для печати), обобщающие работы историков и политологов по различным аспектам конфликтов. М. Жирохов включил в работу максимально возможное количество документов и источников, чтобы каждый читатель мог сделать свой собственный вывод о том или ином событии. Некоторые главы снабжены списком литературы. Общий взгляд на происходящее изложен в первой части книги, посвященной конфликтам и их роли в истории. М. Жирохов делает экскурс в прошлое и обращается к итогам Первой мировой войны, когда распад многонациональных империй — Австро-Венгерской, Российской, Османской, Германской — привел к возникновению малых многонациональных государств, имевших друг к другу политические и территориальные претензии. Перекраивание национальных, экономических, этнических границ вызвало взрывной рост нестабильности. Кроме того, практика показала, что этнически чистые национальные государства создать невозможно. Пока все нации живут в одной империи, они вроде бы равны в своем беспорядке, а вот когда одни становятся вдруг независимой нацией относительно своего государства, а другие остаются несамостоятельными — у них прибавляются и обиды, и готовность бороться за независимость. М. Жирохов не первый и не единственный исследователь, который высказывается в защиту империй. Версальская система мирового порядка создала прецедент перекраивания Европы по этническому признаку и положила начало непрекращающейся битве между двумя принципами: «правом наций на самоопределение» и неприкосновенностью границ суверенных государств. Россия также во внутренней своей политике столкнулась с неразрешимой дилеммой между правом национального меньшинства на самоопределение или (и) сохранением территориальной целостности государства. История показала, пишет М. Жирохов, что мировому сообществу нельзя безоговорочно поддерживать сепаратизм, ибо это лишь усиливает эскалацию насилия и нарастание количества беженцев. Анализируя общие факторы для всех этнических и этнотерриториальных конфликтов, автор останавливается на особенностях, усугубляющих обстоятельства распада Советского Союза. Большинство республик, входящих в состав СССР, являлись административными, а не этнополитическими образованиями и практически не имели исторических корней и параллелей. Границы республик намеренно проводились так, чтобы разделить крупные этнические группы между двумя или большим количеством республик. Частые и произвольные изменения административных границ за советский период способствовали эскалации территориальных требований и возгоранию межэтнических конфликтов, особенно после распада СССР. В скрытой форме многие этнотерриториальные споры существовали в Советском Союзе и даже в царской России, но выплеснулись наружу в период ослабления центральной власти. Фактически распад СССР явился не причиной большинства ЭТК в

постсоветском пространстве, а катализатором их обострения. И если в бытность СССР любые проявления национализма подавлялись, то с распадом империи, они запылали открыто. Отличительная черта большинства конфликтов на постсоветской территории — роль местных коррумпированных кругов, которые умело использовали провалы в сфере национальной политики для разжигания межнациональной розни. На конкретном материале, детально рассматривая индивидуальные особенности конкретных конфликтов на постсоветском пространстве, автор приходит к выводу, что их возникновение и развитие подчиняются общей логике, а также часто характеризуются схожими «сценариями». И все-таки, от классики не уйти: все семьи счастливы одинаково, каждая — несчастна по-своему.

Михаил Ломоносов. Древняя Российская история от начала Российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года. СПб.: Гиперион, 2012. — 344 с.

В книгу вошли основные исторические труды М. В. Ломоносова: «Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года...», «Краткий Российский летописец с родословием», «Описание стрелецких бунтов и правление царевны Софии», а также героическая поэма «Петр Великий», «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию», письма и записки разных лет. Как истинный энциклопедист, М. Ломоносов проводил изыскания в самых разных сферах научного знания: астрономия, приборостроение, география, химия, геология, литература. Как истинный сын Отечества, он не мог не принять участия в острой борьбе против норманнской теории, отрицавшей самостоятельное развитие русского народа, — история отнюдь не сегодня стала полем битвы. Отсутствие серьезных исторических трудов по истории земли русской, по истории России, наносило заметный ущерб репутации страны, столь мощно заявившей о себе в XVIII веке, являлось почвой для исторических инсинуаций. И Ломоносов ответил, ответил серьезным исследованием, опирающимся на солидную, как мы сказали бы сегодня, источниковедческую базу: Прокопий Кесарийский, Плиний, Курций, Солин, Катон, Птолемей, Страбон, Нестор... Ломоносов проработал Законы Ярослава, большой Летописец, первый том работы Татищева, книги Крамера, Вейселя, Гелмонда, Арнольда и другие, читал российские академические летописи. Он со знанием дела писал о величии словенского народа, о чуди, о варягах вообще и варягах-россах, о происхождении и о древности россов, об их переселениях и делах, об этногенезе русских и истинной истории формирования русской государственности, где отнюдь не варяги-скандинавы играли главенствующую роль. Выдвинутая Ломоносовым теория славяно-чудского происхождения Древней Руси была принята позднейшей историографией. Ломоносов опроверг мнение ряда иностранных историков об отсталости древнерусского народа, сделав вывод: «Возрастая до толикого величества Россия и восходя чрез сильные и многообразные препятства, коль многие деяния и приключения дать могла писателям, о том удобно рассудить можно. Из великого их множества немало по общей судьбине во мраке забвения покрыто. Однако, противу мнения и чаяния многих, толь довольно предки наши оставили на память, что, применясь к летописателям других народов, на своих жаловаться не найдем причины. Немало имеем свидетельств, что в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели». Ломоносов не изолировал отечественную историю от истории европейской, выявлял сходства и различия в исторической жизни разных народов, обращая особое внимание на роль славян на междуна-

родной (как мы сказали бы теперь) арене. Как гражданин страны, находящейся на подъеме своего развития, Ломоносов не испытывал ни комплексов исторической неполноценности, ни чувства вины за дела минувших лет. Его исторические работы имели целевое назначение — они должны были служить формированию национального самосознания, воспитанию патриотизма, экономической, политической независимости России, культурному росту народа. Он и не скрывал этого: «Велико есть дело смертными и преходящими трудами дать бессмертие множеству народа, соблюсти похвальных дел должную славу и, преноса минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность, соединить тех, которых натура долготою времени разделила. Когда вымышленные повествования производят движения в сердцах человеческих, то правдивая ли история побуждать к похвальным делам не имеет силы, особливо ж та, которая изображает дела праотцев наших?» Отрабатывая отдельные разделы «Российской истории», Ломоносов составляет «Краткий российский летописец с родословием», где в сжатой форме излагались все основные события русской истории с 862-го по 1725 год. Книга облегчала пользование летописями и другими историческими документами, давала краткий, но содержательный свод исторических фактов. Можно сказать, по свежим следам составлял Ломоносов описание стрелецких бунтов и правление царевны Софии. В своей поэме, Петру I посвященной, он возвеличивал Петра, его заслуги во имя России. Труды историков века XIX — Карамзина, Соловьева, Ключевского — потеснили исторические работы Ломоносова: не тот язык, масштаб, концепция. Не очень-то востребованы оказались они и в XX веке, фактически доступ к ним имели только специалисты. В 2011 году мировая общественность отметила трехсотлетие со дня рождения великого русского ученого-энциклопедиста, в честь этого события отечественные издательства выпустили не одно издание исторических трудов Ломоносова. В контексте современных исторических споров обратиться к трудам Ломоносова полезно, они несут так недостающий нынешнему общественному сознанию заряд оптимизма: «Народ российский от времен, глубокою древности сокровенных, до нынешнего веку толь многие видел в счастии своем перемены, что ежели кто междуособные и отвне нанесенные войны рассудит, в великое удивление придет, что по толь многих разделениях, утеснениях и нестроениях не токмо не расточился, но и на высочайший степень величества, могущества и славы достигнул. Извне угры, печенеги, половцы, татарские орды, поляки, шведы, турки, извнутри домашние несогласия не могли так утомить России, чтобы сил своих не возобновила. Каждому несчастью последовало благополучие большее прежнего, каждому упадку — высшее восстановление; и к ободрению утомленного народа некоторым Божественным Промыслом воздвигнуты были бодрые государи».

Сергей Кузнецов. Строгоновский сад. О почти исчезнувшем памятнике.

СПб.: Коло, 2012. — 304 с.: ил.

Ушаковский мост, долгожданная Ушаковская развязка, станция метро «Черная речка», старинный особнячок рядом с ней, — такой знакомый городской пейзаж. И мало кто знает, что когда-то здесь, на берегах Большой Невки и Черной речки располагалась строгоновская дача, великолепный памятник русской культуры XVIII–XIX веков, памятник российского Просвещения. Этому практически утраченному, а потому забытому уникальному памятнику садового искусства с многочисленными постройками Андрея Воронихина и других архитекторов и посвящена данная книга. Расцвет дача пережила в 1790–1800-е годы при Александре Сергеевиче Строгонове, богатом вельможе, покровителе искусств, президенте Академии художеств. Мызу на Черной речке в елизаветинские времена приобрел еще его

отец, архитектор Ринальди выстроил дом. Перестраивал дом уже Андрей Воронихин, взяв за образец Камеронову галерею Царского Села — новые времена, новые веяния. При активном участии Воронихина была создана парковая сюита, своего рода греко-римская рапсодия: стилистическое разнообразие павильонов строгоновского сада, по мнению автора, соответствовало маршруту Одиссея. Смыслообразующим памятником являлся античный саркофаг, украшенный рельефами на тему «опознание переодетого женщиной Ахилла на острове Скирос» и прославшего в России «гробницей Гомера». Судьба монумента, приобретенного А. Строгоновым в 1770 году после победы русских кораблей при Чесме, занимала исследователей античности всей Европы еще в XVIII веке. Пока никому не удавалось представить полную картину нахождения, доставки в Россию и последующего изучения памятника. Не претендуя на окончательное исполнение подобной задачи, автор суммирует известные факты и излагает все имеющиеся версии. Сергей Кузнецов, более двадцати лет возглавляющий научный сектор «Строгоновский дворец» Русского музея, подробно рассказывает о каждом строении Строгоновского сада, о каждом павильоне и каждой скульптуре: дачи Александра Сергеевича и его сына, саркофаг Гомера, грот, скульптуры «Текстильщик» и «Нептун», Руинный мост... Затем графа, масона, бывавшего за границей, вписывались в общую эстетику садов эпохи Просвещения, романтический парк нес философское послание: наслаждение жизни должно сопровождаться памятью о бренности существования. Строгоновский сад привлекал к себе и художников, и поэтов. Здесь бывали Пушкин и Гнедич, Некрасов и Блок. Серии видов строгоновской дачи создали художники С. Галлактионов, Е. Есаков, А. Мартынов, и, конечно А. Воронихин. При А. С. Строгонове сложилась традиция массовых гуляний в саду: по широкой дорожке вокруг большого круглого луга совершала променада самая разнообразная, лишь бы прилично одетая публика. Устраивались и особые праздники. Увеселения на Черной речке, прекратившись ненадолго после смерти российского мецената (1811), вновь возобновились и уже беспрерывно продолжались более века, прежде чем революция начала XX века не остановила их окончательно. С. Кузнецов подробно рассказывает обо всех трансформациях Строгоновской дачи, затронувших и строения, и сам парк, обо всех этапах ее существования. Сгорали, уходили в небытие одни строения, появлялись новые. Дачу предков потомки стали рассматривать как источник дохода, неделимые земли сдавали в аренду. В середине XIX века на территории парка появилось «Заведение искусственных минеральных вод», его взял в аренду обрусевший швейцарец И. Излер, перенеся на российскую землю блестящий опыт европейских курортов, сам Николай I пользовался водами заведения. Позднее на территории сада расположились увеселительные заведения «Аркадия», «Ливадия», «Каскад». В 1908 году в бывшей даче А. П. Строгоновой отставной полковник, ресторатор Родэ открыл ресторан — «Вилла Родэ», ставший для россиян символом разврата. Тогда же граф С. А. Строгонов решил расстаться с изрядно обветшавшей дачей предков. Поднялся протестный хор — в прессе, среди любителей памятников старины и архитектуры: С. А. Строгонова обвиняли в небрежении семейным памятником, памятником прекрасного зодчества екатерининской эпохи. Но Строгонов согласился не на слом главной дачи, а лишь на перестройку, которую и осуществил архитектор Д. Шагин. Удивительно, но в таком виде дача просуществовала до 1969 года, пока на ее месте не возвели здание Военно-морской академии. После революции в Строгоновском парке росло до 800 деревьев ценных пород, но вырубали даже столетние дубы неопишуемой красоты. В 1953–1955 годы Строгоновский мост (а история дачи — это и история переправ, в старом Петербурге водные артерии Петербурга использовали более активно, чем теперь, и неже-

ли обычные дороги) заменен другим, названным Ушаковским. У устья выросли жилые дома. Что уцелело? Незначительный участок парка площадью 4,64 гектара с прудом, на берегу которого некогда стояла гробница. Фрагмент сада у метро «Черная речка», между улицей Академика Крылова и Приморским проспектом, — еще 2,55 гектара. Дача Салтыковой, урожденной Строгоновой, выдержанная в готическом стиле. «Саркофаг Гомера», поступивший в 1930 году в Эрмитаж. Скульптуры, перенесенные во двор Строгоновского дворца, что на Невском. Подробно изложенная история создания, бытования и увядания «райского уголка», каковым была строгоновская дача для многих поколений петербуржцев, дополнена иллюстрациями: панорамные и внешние виды дачи, виды внутренние, интерьерные, планы и акварели, зарисовки, гравюры, фотографии старинные и современные. Список иллюстраций занимает почти десять страниц.

Публикация подготовлена
Еленой Зиновьевой

*Редакция благодарит за предоставленные книги
Санкт-Петербургский Дом книги (Дом Зингера)
(Санкт-Петербург, Невский пр., 28, т. 448-23-55, www.spbdk.ru)*

Contents

PROSE AND POETRY

Valery Dudarev. Poems • 3

Igor Shumeiko. The Substance of the Faith. *Federal Novel (journal version)* • 9

Nickolai Godina. Poems • 125

Yuri Konkov. Poems • 128

PUBLICISTIC WRITING

Vyacheslav Rybakov. Utopias and Managers • 132

EXISTENTIAL JOURNEY

Vladislav Bachinin. Tolstoyevsky-trip. Essays on Comparative Theology of Literature. The Ninth Essay. Nastasia Philipovna and Anna Arkadyevna, or Theology of Evil • 169

PETERSBURG BOOKMAN

Truth of Art and Truth of History. Elena Aizenshtein. «King David's Valuable Gift...» *The Psalmist David: Russian XIX–XX Centuries Poetry*. **The Road to the Reader.** Konstantin Frumkin. Writers' Victory over Powerful Enemy. *Divine Omnipotence as a Problem of Literary Scene*. **Pro et contra.** Irina Tchaikovskaya. Looking for a Man. «Culture» Channel Viewers' Notes. **Forgotten Book.** Lev Voitolovsky. Gleb Uspensky's Tragedy. *Margarita Rayczina's publication*. **Pilgrim.** Archimandrite Augustine (Nikitin). Holland — the Country of Tulips. **The Singer's House.** *Elena Zinovyeva's publication* • 180–254

Издатель: закрытое акционерное общество «Журнал „Нева”». Адрес редакции:
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18. Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург,
а/я 9

Телефон: (812) 314-50-52; e-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaeditor@gmail.com;
nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva/>
Ресурс в сети Интернет: www.nevajournal.ru

*Проект «Современники будущего»
реализуется на средства гранта Санкт-Петербурга*

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276 и ИД «Экономическая газета» по объединенному каталогу «Пресса России», подписной индекс 42414.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в магазинах: «Книжный клуб на Австрийской» (Каменноостровский пр., 13/2 (Австрийская пл.), тел. 232-3307); Центр современной литературы (наб. Адмирала Макарова, 10, тел. 328-6708), Книжная лавка «Исткнига» (Васильевский остров, Кадетская линия, 27/5, литер А, тел. 986-8251), также в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923).

В Москве: в редакции журнала «Знамя» (ул. Большая Садовая, 2/46, тел. (495) 699-4264)

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-2117, 238-4634)

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург: ЗАО «Журнал „Нева”», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства www.nevajournal.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г. выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева”»

Подписано в печать 25.07.2013. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 1/16. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 2800 экз. Заказ № 09.45
Издательство «Журнал „Нева”»

Отпечатано по технологии StP
в ООО «СЗПД-ПРИНТ»
188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, 45 Б